КРАСНАЯ НОВЬ

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И НАУЧНО-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ

ЖУРНАЛ

1931

КНИГА
ВТОРАЯ

ФЕВРАЛЬ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

СОДЕРЖАНИЕ

ОТ ЗЕМЛИ И ГОРОДОВ

ЛИТЕРАТУРНЫЕ КРАЯ

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

КРАСНАЯ НОВЬ

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И НАУЧНО-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

№ 2

ФЕВРАЛЬ



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
МОСКВА 1931 ЛЕНИНГРАД

14 тип. «Мосполиграф»,
Варгунихина гора, д. 8.
Главлит Б 2315. 11 л.
Т и р а ж 15 000 экз.
Ст. ф. $Б_5$ 176×250. Зак. 47.

Вход с Арбата

Роман

В. Дмитриев и Я. Новак

Утрата

1

— Саша,— сказала она,— я не буду мыть посуду. Я ухожу совсем, Саша.— Потом она взглянула на него и добавила еще тише:— Мне двадцать восемь лет. Из них я десять за тобою замужем.

— Ну, десять,— сказал он, злобясь и недоумевая.

— Эти десять лет...

Ударение было сделано на слове «эти». Она еще раз повторила:

— Эти десять лет...

Больше она ничего не сказала. Она оделась.

— Я ухожу, Александр... совсем...

Гамбаров недоумевал. Он глядел на нее так, точно она сумасшедшая.

— Ты сумасшедшая! — сказал он.

— Нет,— ответила Люба,— я десять лет...

Он не взял ее руки. Она повернулась, пошла к двери. У дверей обернулась.

— Как же об'яснить,— настойчиво сказала Люба,— а?

И ушла.

2

Ему вдруг осталось мало слов. Эти слова можно было переставлять, чуть изменять. Ими нужно было выразить все, что его сейчас угнетало. Они — эти несколько слов — должны были все об'яснить ему, упорядочить. Что она сказала?.. «Двадцать восемь лет, и я из них десять замужем...»

Но ведь это не об'яснение. В чем дело? Он даже не понимал, что угнетает его,— самый уход или нелепость, бессмысленность ее об'яснений...

Гамбаров смотрел вокруг. Волнение лишило устойчивости не только его самого, но и все окружающее. Славянский шкап, огромный диван были одновременно и тяжкими и склонными колебаться. Кружевная дорожка на буфете приспустилась. Металлический круглый маятник раскачивался, утишая ход, как брошенные качели, и свет располагался в нем концентрическими кругами. В клетке сидел щур — красноватая серьезная птица.

Щур склонял голову поочередно то на левый, то на правый бок.

— Ах, смиренник,— сказал Гамбаров.

Но сразу же и то, что он сказал и, главное, то, что самый звук его голоса был посторонним, фальшивым,— все это подавило его особой бесполезностью. Он даже подумал: «Из пустого в порожнее...»

Да, он толок воду в ступе. Немедля возникла ступа. Александр Николаевич Гамбаров — инженер, директор кожзавода № 9, член ВКП(б), толок воду в ступе. Нечто бессмысленное и жалкое носилось вокруг него, в нем, губило несложную постройку из образов и представлений, только что готовых предстать в каком-то успокоительном, ясном, правомерном порядке.

Извне являлась фраза. Она была лишней. Она мешала ему. Он прилагал усилия, чтобы отделаться от нее, сбросить с себя,— и борьба эта была лишена какого бы то ни было интереса. Она была утомительной. Она лишала его сил и спокойствия.

3

Да, спокойствия ему не хватало. Покоя и трезвости. Волнение мешало ему. Оно затрудняло течение его мыслей. Оно давило его мысли, подбрасывало, кидало одну мысль на другую. Все, что отдаленно походило на об'яснение, уступало вовсе ненужной, вовсе не идущей к делу мысли.

Он мог сейчас сказать: «Я растерян, я подавлен...»

И это не помогло бы ему. Это перевело бы его мысли в другую сторону. Он весь бы отдался жалкому сознанию своей обиды. «Как я растерян,— подумал бы он,— как я подавлен! Какой стыд! Ведь ты говорил: нет вещи, способной сбить меня с ног. Я готов ко всему. Все решено! Где же твоя уверенность, твоя стойкость?»

И он даже не хотел ни искать об'яснений, ни бросаться вперед, чтобы схватить Любу за руку и вернуть ее. Все это требовало бы напряжения, на которое он сейчас не был способен. Не очень старательно боролся он с желанием осесть, оплыть и погрузиться в разряженную тишину и круженье, порожденное отсутствием мыслей, болезненным ощущением собственной текучести.

Но он, однако, не сел. Он хотел бороться. Слишком недавним было несчастье.

— Я скажу ей,— сказал Гамбаров с трудом,— я догоню ее...

И в нем с неиз'яснимой твердостью появилось желание тотчас же, сию минуту, доказать Любе всю вздорность и нелепость ее поступка. Нужно было лишь опереться на стол крепче, овладеть голосом и толково об'яснить ей..

— Ты ошибаешься, Люба... Ты...

Но здесь он вспоминал, что причины ее ухода он ведь не знает. Отчего она ушла? И, чувствуя, что не найти ему об'яснений, он очень устало, точно жалуясь, подумал: «Ну ушла и ушла... Тысячи женщин уходят»...

И уже безнадежные, совсем безнадежные окружили его чувства. Они обволакивали Гамбарова гнетущей и удлиненной обреченностью. Люба не только ушла. Она оскорбила его. Чем? Она не сказала, куда она уходит. К кому?..

— Ах, вот оно что! — тихо и как будто предостерегающе сказал Гамбаров. — Вот оно что! К кому?.. И эта фраза: «двадцать восемь лет, а из них десять замужем...» — Это фокус! Фокус-покус.. Вот оно что... Просто она сбежала к хахалю.

Гамбаров озлобился. Теперь все ему было ясно. Фокус-покус!

«Нет, ты не уйдешь,— уже с очевидной злобой подумал Гамбаров,— этак ты никуда не уйдешь!»

Если бы она честно призналась ему. Честно! Я люблю Ивана Ивановича, Петра Петровича. Я ухожу к нему. Он бы не возражал. Иди. Пожалуйста. Раз ты любишь Ивана Ивановича, иди к нему. Пожалуйста!

Гамбаров озлоблялся все больше и больше.

Все ему было понятно... Он постоял так недолго и бросился в коридор.

4

Злоба не утихала, покуда он бежал по коридору, бежал по лестнице и наконец вышел на улицу. Моросило. Шел снег и таял на его лице, на мокрых мостовых.

«А куда же итти? — подумал Гамбаров,— я и сам совсем с ума сошел!»

Он вошел обратно в дом. За столиком сидел усатый угрюмый швейцар, положив руки на стол, как школьник.

— Скажите,— сказал Гамбаров,— вы мою жену знаете?

— Как же с,— ответил швейцар,— Любовь Андреевну знаю...

— Она давно проходила?

— Туда? — спросил швейцар и показал рукой на улицу.

— Ну да. Из дому.

— Не проходили,— сказал швейцар.

— Вы наверное знаете?

— Как же! — усмехаясь сказал швейцар,— я для того к делу приставлен...

— Но вы могли проглядеть...

— Я не могу проглядеть... Допустим, как же я могу проглядывать? А если кто с узлом выйдет? Я не должен незнакомую личность с узлом выпускать...

«Какой дурак!» — подумал Гамбаров и спросил:

— Вы давно сидите?

— Три часа сижу... С четырех я заступил, и все сижу. Если она, конечно, до четырех вышла, то я, конечное дело...

— Хорошо,— сказал Гамбаров.

Он пошел по лестнице вверх. Потом вернулся.

— Послушайте,— тихо сказал он,— если вы увидите, что идет моя жена, то... У вас есть карандашик?

— Имеется,— отвечал швейцар и дал ему карандаш.

Гамбаров вырвал листок из блокнота, висевшего над телефоном, и написал: «Люба, все это нелепо».

Последнюю фразу он зачеркнул, потом измял листок и бросил.

«Люба, я жду тебя. Мне нужно говорить с тобой».— Подумав, он дописал:— «обязательно» и «ради бога»...

— Вот что, товарищ швейцар. Если вы увидите жену, отдайте записку. Будьте любезны...

— Можно,— сказал швейцар.

Гамбаров пошел наверх.

5

Он опять сидел в той же комнате. «А как же с вещами,— подумал он,— собрала ли она свои вещи?» Он подошел к шкапу, взглянул на себя в зеркало.

С небольшим удивлением он увидел, что не изменился в лице.

«Посторонний ничего не заметит»,— подумал Гамбаров с удовлетворением. Это принесло ему облегчение. Он открыл шкап. Ее вещей не было.

— Унесла. Ах ты, боже мой! Все унесла.

Теперь он уже был уверен, что она ушла к другому. К кому же?.. Он пошел в спальню, зажег свет. На ее кровати, отгороженной ширмой, не было ни одеяла, ни подушки.

— Как же я не заметил, дурак! Все вещи подобрала!

Ему не было жалко вещей,— притом это ее вещи,— но нестерпимо обидным оказывалось то, что вещи были унесены без его ведома. И кроме того это так мало изменяло в комнате, точно одеяло и все, чего не хватало на кровати, вынесли на балкон проветрить, выбить пыль.

Гамбаров отошел от кровати, и вдруг из-под зеленой ширмы он увидел выставленный домашний туфель. У Любы нога была несколько неправильной формы, слишком расширявшаяся у пальцев, и туфель сохранял эту неправильность так выпукло и естественно, что Гамбарову стало уж очень тоскливо. Он толкнул туфель под ширму и вышел из спальни, загасив свет.

Зазвонил телефон. Он не сдвинулся с места. «Может быть, она» — подумал Гамбаров, и, боясь, что сейчас он ринется к телефону, стуча сердцем, он постоял еще мгновенье. Выдержка представлялась ему необходимой. Неспеша он подошел к телефону.

— Алло! — сказал он.— У телефона!

Спрашивали Любу. Женский голос.

— Ее нет,— резко сказал он. — Да! — и повесил трубку.

— Вот ее нет,— тихо сказал он, оглядываясь:— ушла. И ругаться не к чему. Ушла к другому. Романс! Десять лет замужем. Да, десять лет... Ни больше, ни меньше. Десять лет обоюдных несчастий, обоюдных... Какие же несчастья? Ну, не было особых несчастий, но десять лет рядом. Каждая радость была общей — моей и твоей. И так жестоко, так возмутительно! Какие письма ты посылала мне! Я уезжал на месяц, только на месяц.

И, чтобы доказать скорее ей, чем себе (хотя ее в комнате не было), он пошел к столу. Открыл ящик. Но не полез в него, а, откинувшись, помедлил, нащупал языком во рту какую-то крошку, сжевал ее и проглотил. Все отвратительнее, все горше становилось у него на душе. И это несчастье, обида, оскорбления требовали словесного выражения. Будь она, Люба, здесь,— он бы ей сказал. Уж он бы ей выложил все! Он бы доказал ей, что ее уход, такой уход, гадок. Да, гадок, мерзок! «Ты дрянь, Люба,— тихо сказал бы он ей,— ты противная, скользкая дрянь: такая ты мне не нужна. Уходи пожалуйста».

Но ее не было. Ушла. Забрала все свои вещи. Уж теперь-то она не вернется. Зачем ей?.. Прочтет его записку? Но едва ли это побудит ее вернуться... Едва ли...

Прочтет записку, бросит и уйдет...

Он бы задушил ее. Попадись она ему сейчас, он задавил бы ее. «Не кричи, дрянь!»

«Ты никуда не уйдешь,— подумал он:— я тебя достану...»

Он вспомнил, как какой-то мужчина,— это было очень давно,— бежал за женщиной, должно быть, своей женой и кричал: «Я из тебя кишки вымотаю».— «Отчепись,— отвечала женщина,— будь ты проклят!..»

6

Гамбаров был так стиснут горькими чувствами, что — просиди он так еще полчаса — они бы свалили его. Все его движения, самые незначительные, отягощались и, главное, как бы открывались. Он чувствовал, что каждой частью своего тела ему нужно двигать; чувство, подобное тому, какое испытывают долго проболевшие люди.

«Это недомогание»,— подумал Гамбаров. Он вскочил. Легкость, с ка-

кой он это сделал, изумила его. Отягощенность, оказывается, была придуманной.

Гамбаров заходил по комнате, отставляя по пути стулья.

— К хахалю! — сказал он.

Он нарочно растравлял в себе злобу. Бессознательно он защищался Право, попадись она ему сейчас,— он бы показал ей, где раки зимуют.

— Я покажу тебе! — сказал он.

Только бы найти ее. Ах, дурак, он выпустил ее из комнаты. Надо было запереть дверь, погрубее ее толкнуть и сказать: «Садись, потолкуем». И надавать ей пощечин...

— К хахалю! — повторял он время от времени.

Сейчас же надо найти, сейчас же. Он медлил, повторяя: «Сейчас же, сию минуту!»

Можно побежать вниз, стать у дверей и дождаться ее. Вот она идет. Одна или с ним. «Можно вас на минуточку?» — презрительно говорит Гамбаров. Она подходит. «Пойдем наверх»,— строго говорит он, и Люба идет за ним. Они идут по коридору двое. Коридор нескончаем, как во сне.

— Ты дрянь, Люба...

Но она может не выйти, и он может прождать ее два часа бесполезно, как дурак.

«Как дурак!» Он ухмыляется. «Вот уж поистине дурак, обманутый дурак. Так дал себя провести. Десять лет. Эти десять лет! Какие десять лет?... Чего тебе не хватало? Ты недоедала, недопивала? Была перегружена работой? Ты готовила обед. Но ведь я говорил тебе: «Возьми прислугу». Ты сама отказывалась. Ты говорила: «Что ж я тогда буду делать?» Чего тебе не хватало? А?..

— Как дурак!..— повторяет Гамбаров.— Как идиот!..

И он решается. Решение точно обозначено в нем. Сейчас же. Да, нужно итти искать ее. Она где-то здесь. В доме. Выход один. Швейцар стоит у дверей. Он бы видел. Он заступил с четырех. Он бы увидел ее. Довольно!

Гамбаров поглядел еще раз на себя в зеркало, пригладил волосы и повернулся к дверям... Он не знал, что он с ней сделает, встретив. Может быть, ударит или убьет. Или он его — того — ударит. Все это он решит потом, после...

Он прошел по коридору один и другой раз. Он проходил здесь каждый день — вот уже полгода. Многих из людей, живших за этими дверьми, он знал по заводу.

Вот здесь, например, живет Довгелло — механик-монтер, фантастический человек. Только сегодня утром Гамбарову пришлось сообщить Довгелло такую новость, что его самого мороз подирал по коже...

«Будь я на его месте, я бы удавился»,— подумал тогда Гамбаров, а сейчас чужое несчастье, несчастье Довгелло, казалось ему пустяковым в сравнении с тем, что обрушилось на него.

Он пропускал мимо двери. Он знал, что за каждой из них все вещи расставлены по-своему, иначе, люди там говорят разными голосами. Разные царства, отделенные друг от друга кирпичными стенками. Страны, со своими порядками управления.

И в одной из таких стран сидит его жена — Люба.

«Если она с хахалем, я убью ее!— подумал Гамбаров.— Под ряд — я буду заходить под ряд...»

Он подошел к двери Довгелло и стукнул туда. Но тотчас Гамбаров отбежал от двери с такой поспешностью, словно школьник, позвонивший

в чужое парадное. Он прислушался и, услышав шаги, бросился к себе в квартиру и захлопнул за собой дверь.

Он стоял у своих дверей, слушая, что делается в коридоре и как стучит его сердце.

Где-то в коридоре, может быть, у Довгелло,— вернее всего у Довгелло,— заскрипела дверь.

Тишина...

Чего он испугался? Гамбаров отошел от двери. Отчего он испугался? Ну, вышел бы Довгелло. «Простите, Довгелло, вам не попадалась моя жена?» Какая нелепость! Довгелло будет прав, если ответить: «А пойдите к чортовой матери! Я родного бы отца не заметил, воскресни он и попадись мне на дороге. А вы жену! На чорта мне ваша жена?..»

Может быть, она у него? Может это быть или нет? Конечно, нет! Вздор! Люба пойдет к Довгелло! Что у них общего? Она интеллигентная женщина... Вздор! Просто глупо заходить к Довгелло! Он знаком с Любой?.. Знаком... Сам Гамбаров рассказывал ей о Довгелло. «Такой, понимаешь, крепкий, удивительный фантаст... Изобретатель... Нет, понимаешь, не случайный, а, как бы сказать, весь он, как струна, то есть всем существом. Понимаешь...»

Любо спросила: «Это — напротив, черный?»

Нет, она не могла пойти к нему. И это было бы просто ужасно. Уйти напротив! Встречаться каждый день. Но они могут обменять квартиру. И это делается. Очень просто...

Неужели, к нему?

Как же узнать это, вызвать ее как? Сейчас же, потому что до завтра он, Гамбаров, остынет, раскиснет. А сейчас он бы поговорил с ней!

Вот сюда он заведет ее и задушит, как собаку.

Гамбаров вышел в коридор.

Прежде чем постучать к Довгелло, он поправил галстук. «А надо сначала вниз»,— озабоченно подумал Гамбаров. И торопясь, видимо боясь раздумать, пошел он по коридору. Он не дошел до швейцара и, перегнувшись через перила во втором этаже, спросил швейцара:

— Ну как, проходила?..

— Никак нет,— ответил швейцар.

Гамбаров кивнул головой, и этот кивок, должно быть, обозначал: «Хорошо, очень хорошо, что не проходила».

Мимо него, вверх по лестнице, прошел секретарь партячейки завода Смирнов, слишком высоко подняв подбородок.

Гамбаров поднялся наверх, неспеша приблизился к двери Довгелло и постучал туда.

Поиски

ГЛАВА ПЕРВАЯ

1

— Войдите,— сказал Довгелло.

Никто, однако, не откликнулся. Стук не повторился. Довгелло, приоткрыв дверь, выглянул в коридор. Там не было никого, кроме бродячей полутьмы и ветра, проникающего в распахнутое окно. В окне этом стояла большая ясная звезда.

«Ошибка,— подумал Довгелло.— И здесь ошибка. Дурак!»

Он хлопнул дверью, отчего заколебался воздух в комнате.

Посреди комнаты Довгелло остановился. Он был так зол и встревожен, что рассмеялся.

— Ерунда! — с неожиданной твердостью сказал вдруг Довгелло и замолчал.— Чушь!

Он был опустошен, сбит с толку. Час тому назад, когда он поднимался по лестнице домой, зажимая подмышкой ненужные чертежи, его кто-то окликнул. Довгелло не обернулся и даже не различил, чей голос. Вслед ему сказали: «Как чумной».

— Очумеешь,— пробормотал тогда Довгелло и чересчур твердым шагом, точно пьяный, пошел по коридору.

И вот сейчас, стоя посреди комнаты, глядя на пикейное, рубчатое в розовых цветах одеяло, он подавлял в себе досадную и глупую мысль: «А ведь это он и есть».

Он смеялся над собой, он потешался... И в то же время ему все-таки было ясно, что тот, окликнувший его на лестнице человек, это и есть самый обидчик, враг, ненавистник, тот, кто сгубил его работу... И он же подходил сейчас к дверям. Это он постучался и потом спрятался за угол. Довгелло не рассердился. Только против воли он спросил себя:

— Каков он?

И тогда откуда-то, из-под откинутого угла одеяла, из пятна на синеватых обоях вырос знакомый, затверженный образ. Он был похож на всех врагов и обидчиков Довгелло. Одинаковый облик одновременно и пугал своим неотразимым подобием, страшной своей неподвижностью, неизменяемостью, полный того самого ужаса, которым подчас веет от добродушнейшей святочной хари, и успокаивал уловимым сходством.

Это был широкоплечий, рыжий человек, с крупным веснущатым носом, с прозрачными глазами, с такими редкими и прозрачными ресницами, что они не отбрасывали тени. Этот образ, как маску, Довгелло невольно надевал на всякого своего недруга. Тот мог быть каким угодно: ну пусть хоть черным, как смоль, с уродливо вздутой грудью, с бараньими очами на выкате, подобно фельдфебелю учебной команды Певунову. Все равно, стоило Довгелло отвернуться, и Певунов представлялся ему рыжим, отвратительно спокойным.

Таким же был и сегодняшний враг. Довгелло видел его. Улыбка его плавала по комнате. Довгелло лег на кровать, не разуваясь. Он ткнул носком сапога висящую на спинке кровати белую занавеску. Злорадствуя, он топтал и сминал безмятежное одеяло. Ему хотелось растоптать, расшвырять весь этот бережный, аккуратный уют, разбить, смять прозрачную тщательную чистоту, совершить что-нибудь резкое, несправедливое, нарушающее и ломающее весь его трудовой и легкий трезвенный уклад, противоречащее всем его выработанным, усвоенным, воспитанным в себе привычкам. Он отрекался от всей этой подобранности, безукоризненности, подтянутости окружающего, от всего, что с таким прилежанием и заботой налаживал, чем наполнял свою жизнь, что считал в ней первым и необходимым. Все, что окружало его, что он долгие годы приспосабливал к себе, на чем лежал его отпечаток, что было точным уподоблением его, но его вчерашнего, все это сегодня пришло в противоречие с ним, сегодняшним, со смятенностью его мыслей и всхлипываньем, с его желаниями и чувствами. Он жаждал мести. Он хотел отомстить вещам, отплатить им за то, что они слишком на него похожи, слишком по его вкусу и нраву. Они вводили в комнату вчерашний, позавчерашний, третий, пятый дни. По их вине он стоял рядом со своим прошлым и хотел разгромить одновременно и их, и прошлое: для этого нужно было облить чернилами сияющий паркет, изодрать новые

обои. А самое главное, ударить, укусить, исцарапать, сбить с ног и растоптать того, похожего на отца...

— Свинья,— сказал Довгелло.— Ах, свинья паршивая! Рыжая свинья!

2

Довгелло работал монтером на кожевенном заводе. Он бывал во всех отделениях и множество раз видел, как закраивается товар. Было это очень похоже на то, как холодные сапожники на рынке подравнивают подметку. Однажды, оглядев длинный ряд столов, за которыми стоя работали закройщики, Довгелло так и подумал: «Сапожники».

Он подумал это беззлобно, скорей с огорчением, чем с насмешкой. Перед ним на особых столах лежали связанные в пачки голенища. Вырезанные кожи были совершенно одинаковы, края их точно совпадали, и эта точность остановила внимание Довгелло. Мысль, вначале неясная, оформилась и окрепла.

Он тогда ушел из закройного отделения, мучимый досадным беспокойством. Утомительное волнение долго не оставляло его, и, подталкиваемый им, Довгелло несколько раз, уже без надобности, приходил в закройное отделение и без надобности задерживался там.

Наконец беспокойство его определилось, приобрело точные границы и размеры. Он знал теперь, что толкает его.

Он подумал о машине. Она держит нож, вот так же, как этот маленький сосредоточенный человек в синем халате. Но только железо надежней человеческих рук, оно держит крепче, оно жмет сильней. С силой поводит она по пачке кожи отточенным ножем. Машина вдесятеро сильней, и пачка, которую она кромсает, вдесятеро толще.

На мгновение представился ему черный по краям, слегка мерцающий нож, затем неясный блеск кожи и наконец недолгий режущий звук.

Картина эта замедлилась и, пошатнувшись, установилась прочно. Довгелло теперь ясно видел нож. Нож сверкал. В нем отражалась электрическая лампочка. Желтое и острое сияние двигалось вместе с ним. Воображение поспешно создавало всю машину. Вот металлическая рука, в которую ввинчен нож. Движение этой руки неопровержимо точно нажимает рычаг, и с тихим, едва уловимым звоном железо отправляется в путь.

Место скрепления, нож, все это вырисовывалось отчетливо. Два широких винта представлялись Довгелло столь же ясно, как и два черных зажима. Но самую руку он видел только у скрепления, там, где она переходила в нож. Дальше же она из черной становилась серой, светлела, серела все больше и наконец совершенно расплывалась у основания, там, где регулировалось и начиналось ее движение...

Довгелло сопротивлялся.

— Чистая фантазия!— говорил он.— Какая рука...

Однажды машина приснилась ему. Она была похожа на ту, что мерещилась ему наяву, но еще чудней и страшней.

Ему снилось закройное отделение. Вдоль длинных столов выстроились черные металлические люди, похожие на человека-автомата, виденного им в каком-то журнале. Черный блеск исходит от них. В их руках ножи. Металлические люди одновременно, бесшумно и беспрерывно ударяют этими ножами. Пачки кож выходят связанными из-под ножей и медленно, слегка покачиваясь в воздухе, подымаются сами собой вверх.

— Наверху склад,— с удовольствием думает Довгелло.— Там должен быть механический приемщик.

Проснувшись, Довгелло еще в постели пробормотал:

— Ах, дурак!

Он оставил мысль о механической руке, потому что, сколько ни ломал голову, не мог придумать механизма, способного руководить движением ножа.

Но однажды он подумал о раме. В самом деле, что если сделать раму, формой похожею на голенище? Рукоятка ножа идет вдоль рамы. Она скользит по желобу. Движение таким образом точно, ограничено.

Довгелло забыл сразу о механической руке. Теперь, вспоминая свою прежнюю выдумку, он мог где-нибудь на ходу, на улице остановиться и, снисходительно улыбаясь, пробормотать: «Эх, и дурень!»

Попрежнему Довгелло был аккуратен. Но аккуратность эта была внешней и даже затрудняла ему жизнь. Она пришла в противоречие с движениями его души, сумбурными и хаотическими. Однако и хаотичность эта как бы устремлялась к организации, к порядку, взывала о нем, жаждала его. Но только порядок этот был не мелкий порядок его комнаты и постели. Он тосковал о чем-то большем, о некой точке, по точке, состоящей из множества элементов, из систем. А сейчас элементы эти метались в нем, ища своего места, порываясь слиться, составиться в точку, в единицу.

Довгелло был сбит с толку. Он был неестественно напряжен, неправильно остановлен в движении, точно сошедший с рельс трамвай. И чем больше проходило дней в поисках решения, тем горше становилась его жизнь...

Довгелло стал чересчур быстро утомляться. Будь он в прошлом пьяницей и забиякой, он бы, пожалуй, запил, но, может быть, стал бы глупо и крикливо скандалить. Но Довгелло водки не пил, и даже легкое вино всегда вызывало в нем тошноту. Он зеленел от вина, и Андрей Спиридонович Голонин, старший монтер, длинно и утомительно об'яснял ему:

— Если человек от водки краснеет, то, значит, кровь в нем бурлит, полируется, и пить такому человеку — без вреда, а на пользу. Которого же в зеленую краску вгоняет, то ему лучше до вина не прикасаться... У такого желудок не принимает водки, по телу подымается желчь, и в общем — швах...

Довгелло даже на товарищеских вечеринках никогда не пил, даже уходил сразу, потому что известно издавна: трезвый пьяному — не товарищ, и эту истину лучше Довгелло знали его подвыпившие друзья. Но в эти дни неослабной и неотступной тяжести в мыслях Довгелло купил бутылку телли, сладкого виноградного вина. Впрочем, отпил он с четверть бутылки, и то насильно, давясь и отплевываясь, остальное же поставил под кровать и больше о вине не вспоминал.

Решение пришло к нему внезапно.

Он шел вечером с работы. Вечер был прохладен и прозрачен. Той осенней прохладой и прозрачностью, которая, наполнив собой тело, делает его звонким и устойчивым.

Началось с того, что на фабричном дворе, обставленном четырьмя пятиэтажными корпусами, он почувствовал себя на дне глубокой шахты. А небо над ним — дневное небо, и только отсюда, из глубины, оно черно, и края шахты ограничивают его. Квадратный кусок черного неба полон звезд, больших и малых. Угол принадлежащей ему части неба распилен пополам млечным путем...

Выйдя на улицу, он попытался найти и отгородить воображением, очертить границей ту часть неба, что висит над фабричным двором, что отведена ему, Довгелло, в полное и безвозмездное владение. Но попытка оказалась невозможной.

«И не нужно,— подумал он.— И вовсе не нужно!»

Довгелло тихо засмеялся. Он пошел вдоль улицы, весь подхваченный необ'яснимой бодростью. Кровь билась в нем, задерживаясь в сердце.

Он подождал трамвая. Но решительно он не мог сейчас стоять на месте. «Пойду пешком»,— сказал он себе.

Он шел переулками. Он улыбался, и ему было стыдно того, что он улыбается один на улице, что он открывает встречным свою улыбку и сердце, и одновременно он гордился этим. Он знал, что его лицо преображено этой улыбкой, что он вызывает зависть.

Довгелло вышел к центру. «Зайти в кино, что ли?» — подумал он.

Он остановился у входа в кинематограф, рассматривая фотографии. Рядом с ним стоял парень в пальто, с поднятым воротником и громко кричал.

Слова его не сразу дошли до Довгелло, и он сперва удивился, как этот человек так громко орет на улице. Но тотчас же, обгоняя эту первую мысль и не давая ей выразиться, появилась другая, настоящая и механическая. Довгелло понял, что парень чем-то торгует.

— Оригинальный, новый, забавный подарок детям! — кричал парень.

Он продавал картинки — пестро раскрашенные попугаи и львы сидели у него на руках.

— Оригинальный, новый подарок детям. На гривенник пара!

Довгелло пристально всмотрелся в картинки, и внезапно, стремглав огромная невозможная радость кинулась к нему.

«Как же я раньше не подумал»,— готов был закричать Довгелло.

Он даже был чуть разочарован: таким простым и легким оказывалось решение, пришедшее от этих детских картинок. Простота его как будто даже немного обесценивала все эти месяцы раздумий.

Довгелло шагнул к парню.

— А ну, отпусти мне,— сказал он,— на гривенник!

3

Это походило на взрыв. Десятки лет стоит дом или мост. И вдруг, в один миг он весь выворачивается наизнанку, обнажаются сотни новых, неожиданных соотношений между его частями. Выказываются новые углы, пересечения и переплеты. Довгелло десятки раз видел эти картинки. На листах матовой бумаги были выбиты с помощью штампа разные изображения (по краям рисунка еще сохранились узкие пунктирные линии): попугаи с еврейским лицом, похожие на Карла Маркса львы... Но раньше все эти картинки пробуждали в Довгелло только один ряд ассоциаций — картинки детства. Попугай, клетка, тонкие гнутые прутья, нахохлившаяся зеленая птица под дождем хрипло вскрикивает, пророчит несбывающееся счастье. Цыганенок, стоя на голове, размахивал черными прямыми ногами, на зависть ему, Сене. Играет шарманка. Затем канарейки — и тут удары клювиком по прутьям, запах семян и лампадного масла. Самовар криво и покровительственно улыбается во весь рот... За львом он видел цирк: опилки и резкий свет, великолепные кони с крутыми боками и горделивыми шеями. Настороженная, предваряющая дробь барабана, ржанье, желтое вращение под куполом, усыпанное блестками и мишурой, недосягаемое и манящее...

Теперь он видел картинки с другого угла. Ему больше неважно было, что на них нарисовано. Но штамп, штамп, чорт возьми!

Целый вечер Довгелло просидел над большим листом бумаги. Он пробовал чертить, припоминая уроки в электрошколе. Но у него ничего не получалось. Он вскакивал, хотел пройти по комнате, но не ходил, а снова садился на место и опять начинал чертить.

Ему ничего не снилось в эту ночь. Наутро он бросился в кружок изобретателей — был такой при заводе.

— Вот что, ребята,— сказал он,— дело в следующем...— Он помялся немного, но его слушали внимательно, и это его подбодрило.— В том дело,— сказал он,— что для закройного отделения нам требуется и желателен штамп. Я над этой штукой уже третий месяц ломаю голову. И так и не так, и два и полтора. А вчера вдруг — бац! — и готово!

— Ты поясни подробнее,— сказал Смирнов, председатель кружка.— Что-то я не совсем разбираю.

— Эх, ты, боже мой! Ну, говорю, штамп нам требуется. Чтобы он кожи выбивал, голенищи там, понятно? Ну, одним словом, все, что хочешь. Вот! Видишь!.. Вот тут я в виде чертежа написал.

— Ну — да... Чертеж твой неразборчивый. Но я тебя понимать, кажется, понимаю. Это, стало быть, здесь вот нажмешь, да?..

— Ну да.

— Нажмешь... А здесь тюк! — и пожалуйте! Так.

— Вот! Мне бы только инженера, чтобы мою планировку оформил.

— Это можно! Это отчего же! И инженера и техника. Только вот что. Нынче ты приходи к нам на собрание. Доложи, значит. В десять. Ладно?

Два месяца весь изобретательско-технический кружок разрабатывал изобретение Довгелло. «Оно сулит значительные выгоды — поднятие производства, сокращение рабочего процесса. Оно устраняет нужду и зависимость производства от опытных мастеров-закройщиков. Оно устраняет из массового производства последние элементы кустарщины». Так, по крайней мере, сообщил в своей речи директор фабрики, инженер Гамбаров. О штампе Довгелло писали статьи в стенной газете, разговаривали на собрании коммунистической ячейки... Были и враги: закройщики утверждали, что все равно никакая машина против них не выстоит, что верная человеческая рука — вот единственная возможная в кожевенной промышленности машина. И что наконец штампы будут слишком дороги. И вместо удешевления вчетверо удорожат обувь. А посреди всех этих толков, разглагольствований, разговоров Довгелло ходил из цеха в цех со своей паяльной лампой, в кожаной куртке, высокий, неуклюжий и строгий. Часто, входя, он слыхал, как разговаривающие замолкали, произнося его имя, и довольная улыбка тогда пробегала по его лицу.

Через два месяца были закончены не только чертежи и модели, но в механической мастерской при заводе изготовили первый штамп. В субботу вечером Довгелло вместе со Смирновым и прочими ребятами из кружка установили штамп в закройном. Он стоял на четырех чугунных лапах, готовый кинуться вперед. К ним зашел Гамбаров. Он обошел вокруг машины, похлопал ее по крутой шее, отошел, еще раз заглянул и сказал Довгелло, который сидел на корточках перед машиной и, пыхтя, дотягивал какую-то плохо пригнанную гайку.

— Ну вот, Семен Иванович, все сделали! Как бы нам с вами завтра не осрамиться.

— Товарищ Гамбаров! — Довгелло вскочил.— Мне вот говорят — человек надежный — ничего не выйдет... Знаете, все эти разговоры наших закройщиков. Но, честное слово, я ни разу ни одному из них не ответил и не вступил в спор.

— Уверены?

— Да не уверен, товарищ Гамбаров, а знаю я, представляете ли себе. Все мне ясно! Ну вот закрою глаза и вижу... Ну... Эх!

Довгелло от недостатка слов даже стукнул себя кулаком по колену.

— Понимаю, товарищ Довгелло. Это я понимаю. Да ведь я и не сомневаюсь. Я просто, чтобы вас подбодрить...

В воскресенье утром все закройное отделение вышло на работу, как в будни. Однако никто не начинал работать. Закройщики сидели на столах, на табуретках. Руки их лежали у них на коленях. Довгелло стоял около своей машины. Он был спокоен и только по временам проводил рукой по обшлагу, как бы стряхивая невидимую нитку. Напротив него, за отдельным расчищенным столом встал старейший и лучший из закройщиков Никита Андреич Ключарев. Все его движения были тщательным и мелки. Он завязал шнурки на своем синем халате, затянул их, потер руки, попробовал нож на палец.

Гамбаров вынул хронометр. За спиной инженера стояли члены завкома, секретарь ячейки. Нечаянно вышло так, что посреди мастерской как бы прошла невидимая черта. По одну сторону остались закройщики и Никита Ключарев, стоящий впереди них, по другую — инженер, активисты и Довгелло со своим штампом.

Довгелло был спокоен, но спокойствие это было не от равнодушия, а от уверенности. Оно начиналось где-то в руках и распространялось по телу. Довгелло чувствовал себя большим и устойчивым.

Инженер поднял руку и взглянул на хронометр. Это походило на старт, который дают бегунам.

— Начали,— сказал он очень тихо.

Довгелло нажал рычаг.

Они работали час. Старик Ключарев дышал тяжело, хотя и старался показать, что работает с легкостью, даже играя. Нож его пробегал по заготовке, оставляя за собой блеск, опережая свой собственный шум. Движения Ключарева были округлы, изогнуты, точны. Они были близки к пляске. Он работал как бы под невидимую музыку. Музыку эту составляли для него его дыхание, вскрипывание кожи, весь сложный и заученный ритм работы, и он весь отдавался ей, этой музыке, устремляясь за полетом своего ножа. Седые волосы его блестели, как смоченные водой.

Довгелло, наоборот, стоял неуклюже и неподвижно. Ходили только его руки, но ходили тоже тяжко, несоразмерно. В их движении была сковывающая грузность, медлительность. Штамп хлопал громко, с сопением, со скрежетом. Единоборство человека с машиной продолжалось час. Ровно через час Гамбаров опять махнул рукой. Но за весь час ни один из закройщиков не проронил ни слова. И только когда Довгелло остановил штамп, а Ключарев вздохнул и отложил в сторону нож, они заговорили все разом, впопад и невпопад, шумно и горестно:

— Не пустяк,— говорил кто-то.— Да, брат, оказывается, машина! Она это... может, одним словом.

— Товарищи,— перебил их Смирнов,— вот что: чтобы не было сомнений и каких там нареканий,— просчитайте сами.

— Нечего! Чего там пересчитывать! Так, что ли, не видать?

— Нет, попрошу. Просчитайте, будьте любезны.

— Да ладно, признаем.

— Я пойду, товарищ Довгелло,— сказал Гамбаров, когда закройщики, все-таки пересчитав готовый товар, убедились, что штамп сделал чуть ли не вдесятеро больше.— А приходите завтра ко мне — мы вместе поедем в трест. Ладно?

Довгелло шел по двору и не шел, а плыл по голубым волнам. Встречные, сдавалось ему, здороваются с ним особенно почтительно. И даже высокий день снимает шапку и низко кланяется ему.

На пороге заводоуправления он еще раз оглянулся. Он стоял на крыл

це, господствуя над всем расположением фабричного двора. Секунда эта длилась недолго, но была ослепительна.

Гамбаров встретил Довгелло с чрезмерной вежливостью и предупредительностью. Довгелло сперва отнес эту вежливость за счет своей вчерашней удачи. Но в ней было нечто тревожное, какое-то беспокойство, и у него захолонуло сердце.

Инженер долго здоровался с ним, усаживал его в кресло, позвонил и велел подать чай.

«Как за больным,— подумал Довгелло.— Даже чудно, ей-богу».

— В трест поедем? — спросил он.

— В трест?.. Вот что, товарищ Довгелло,— сказал Гамбаров,— странная получается история. Вот ознакомьтесь с этой бумажкой.

Довгелло взял бумагу. Он медленно поворачивал ее, отстраняя. Потом он закурил, все еще не решаясь прочесть. Гамбаров не смотрел на него, перебирая какие-то чертежи, и только время от времени вскидывался и бросал на Довгелло быстрый и внимательный взгляд.

Бумажка была отстукана на машинке, украшена лихими завитушками и длинным номером. Довгелло перечел ее трижды. Сперва он старался не понимать. Он нарочно путался в витиеватостях и двусмысленностях канцелярского слога. «Сей,— подумал он,— чего там сеять». Но она была назойлива. Она догоняла его, хотя он и старался уйти от нее как можно дальше.

— Видите какая штука, товарищ Довгелло,— сказал Гамбаров.— Вы поняли?

— Понял.

— Они там изобрели точно такой же штамп, как мы с вами. Но весь вопрос в том, что патент уже взят ими неделю назад и штамп этот уже работает на каком-то провинциальном заводе. А теперь трест рекомендует нам его. Так что нам свой нечего и заявлять. Тем более, что производительности выше.

— Выше?

Довгелло сел и в рассеянности взял со стола спички.

Гамбаров нарочно говорил «мы», «наш штамп». Он словно бы хотел ослабить удар, приняв часть на себя. «Бедный парень,— думал он,— бедняга! Это не так весело, потерять мечту. Все равно, что потерять женщину».

Между тем Довгелло не замечал и не оценивал его деликатности, его подбадривающего участия. Он погрузился в свои мысли так глубоко, что ни один луч или звук с поверхности не достигали до его сознания. Собственно даже и не в мысли он был погружен, потому что он ни о чем не думал. Он просто сидел. Какое-то тугое вращение, скрежет вздносили его и вновь пригибали к земле.

— Ах, чорт! — только и повторял он.— Ах, ты, чорт меня забери!

И сейчас, лежа на кровати, Довгелло повторял то же бессмысленное и даже не облегчающее его ругательство:

—Чорт! Чорт!

Впрочем, сейчас он нашел предмет для своей злобы. Горе его выпрямилось и отчасти переплавилось в гнев. «Свинья! — говорил он.— Ах ты, рыжая свинья!» Он знал, кто виноват. Это рыжий изобрел штамп и опередил его на неделю. Стоило придумывать механического человека, стоило отдавать всего себя вместе со снами, с комнатой, с сапогами этой навязчивой, единственной и неотступной мысли. И ради чего он старался? Чего он хотел?

Довгелло увидел, что у него не хватает слов. «Я огорчен. Я горюю. Меня посетило несчастье». Он вспомнил традиционную фразу траурных

об'явлений: «Убитые горем». Он убит горем? Он понимал, что все это не то. Он не убит горем. Он не огорчен. Нет! Он утратил самого себя. Три или четыре месяца он весь был устремлен, подобран, сжат, весь обращен к одному, к одной мысли, одной цели. Три месяца, говорят, ничтожный срок. И как это много в одинокой человеческой жизни. Три месяца он не разлучался с ней, со своей мечтой. Три месяца они стояли рядом. Нет, не рядом даже, она вошла в него, слилась с ним, разлилась по его телу, как вино. Она стала им, а он ею. Они были одним телом, одной мыслью, одним сердцем. Утратив ее, он утрачивал себя. И кончено — каюк,— нет больше Довгелло.

И, пожалуй, еще не мучительней, нет, но досадней, заметней, ближе и потому больней было это проклятое неуменье, невозможность высказаться, определить, обозначить все одним каким-то заветным словом, точным и всеоб'емлющим. Теперь ему уже сдавалось, что все и дело в этом слове. Найди он его, и все уладится. Но слова навертывались другие, песенные: тоска, кручина, неудача... Или еще попадались ругательства. Но то, что он испытывал, не было ни тоской, ни кручиной.

«Хоть ложись и подыхай!» — вдруг подумал он. Эта фраза принесла ему облегчение. Так бывает, встретишь на улице человека. Страшно знакомым кажется его обличье. И долго потом идешь медленной походкой, понуря голову: «Где же я видал этого человека? На кого он похож?» И никакая удача не может утешить: ни письмо от любимой женщины, ни получение денег. Все же я должен знать: «Кто он? Где он?» И вот вечером, ложась, вспомнишь: «В Киеве, в девятнадцатом году». И все. И разом легко станет и в постели уютно. А что, собственно, произошло? Ни человек этот ничем не примечателен и нисколько не нужен, и вообще вздор! А все-таки радость и облегченность не оставляют даже во сне.

Вот так же и Довгелло, найдя свою формулу, сразу ощутил, что чувства разлетаются, испаряются. Они оставляли его, одно за другим, как птицы клетку Он заметил, что дышит, услышал тиканье будильника...

В дверь снова постучали...

«Опять шутишь»,— подумал Довгелло. Он, не откликаясь, встал с кровати и, осторожно ступая, подобрался к двери, а потом сразмаху распахнул ее. Он хотел было шагнуть в коридор, чтобы поймать за шиворот невидимого и ускользающего посетителя, но в изумлении отступил, увидев на пороге Смирнова.

4

— Здоров? — сказал Смирнов.

— Жив! — отвечал Довгелло.

Смирнов постоял напротив него, потом прошептал что-то, вроде: «Гм... Дела!» — и сел.

— Да,— сказал, он, не глядя на Довгелло.

Ах ты, друг ситцевый,— подумал Довгелло,— пришел, поди, поддёржать. Сроду ведь не бывал». Так он и подумал «поддёржать». Исковеркал он слово от озлобления. «Ну пришел. А какой дьявол его занес!»

— Я слышал это дело,— сказал Смирнов.— Грустный факт. Но ты, товарищ, не имей в мыслях. Понял?

Смирнов встал, пошел на Довгелло подняв руку и, не дойдя, остановился и резко опустил руку.

Довгелло отвернулся.

— Чего ж,— уныло сказал он,— я, Смирнов, не очень...

— Ты другое имей в мыслях! — сказал Смирнов.— Ты должен понимать пользу дела.

— Я знаю, Смирнов,— досадуя сказал Довгелло.

Он все понимает. Штамп будет работать. Не его, не Довелло. Но работать штамп будет. Он и сам это повторял себе не раз. Не славы же он хотел. Да и какая там слава? Что он — Уатт или Эдиссон? Штамп! Не в этом дело!

Смирнов подошел к Довгелло поближе и вдруг неестественно мягко сказал:

— Ты не предавайся, товарищ...

И Довгелло отошел от него как-то боком.

— Что же...— сказал, Довгелло...— Против этого трудно, брат, сразу бороться. А меня перехватило, чего уж говорить... Перехватило, дай бог счастья...

Ему было слегка стыдно, но этот стыд был приятным и легким. Он, разговаривая со Смирновым, как бы освобождался от грузного бремени. Но говорил он иносказательно, не прямо, потому что говорить прямо не хватало решимости.

— Прижало, Смирнов, и не вздохнуть. Ведь я, Смирнов, три месяца, как один день. Ведь я думал — все до горы ногами поставлю, и вдруг тебе большая дуля, мол, не желаете?

— Это не дуля,— сказал Смирнов,— какая это дуля? Все равно польза дела есть. Так надо смотреть.

— А три месяца пропали?

— Не пропали,— сказал Смирнов,— ты над вещью работал. Развитие имел. Ты это в другой раз принюровишь. В другом конкретном случае.

— Да,— ответил Довгелло,— а ты собственно зачем ко мне?..

— Я к тебе по делу пришел. У нас обрезок тебе известно куда пойдет. К чортовой матери! Ты изобретением увлекся — тебя не трогали. Работай. Но теперь с ним покончено. Есть текущее дело. Относительно обрезка у меня с тобой разговор будет.

5

Гамбаров стоял около полуоткрытой двери. Два голоса раздавались в комнате. Один он узнал: это говорил Довгелло. Другой был ему знаком, но неузнаваем.

«А Люба?— подумал он.— Любы нет? Или молчит...

Против воли он прислушался.

— Ты другое имей в мыслях,— услышал он.— Ты должен понимать пользу дела. Потом — «Понимаю». И вздох. И еще вздох.

«Утешает?— спросил себя Гамбаров.— Но, позвольте, какое же это утешение? «Польза дела»... Скучные слова у этих людей! И жизнь их сера, скучна, как слепо напечатанное ресторанное меню...»

Гамбаров хотел презирать. Он так и думал: я их презираю. Но откуда-то вместе с презрением совсем некстати просачивалось отчуждение и стыд. Он не понимал откуда, почему. Стыд этот стоял рядом с сознанием своего превосходства, силы, хорошести. Странное противоречие ощущал он в себе.

Гамбаров прошелся по коридору, все не решаясь войти. «Польза дела,— говорил он себе. Ну и польза, и что же?»

6

Александр Николаевич Гамбаров вошел в комнату, стараясь глядеть вперед.

— Добрый вечер,— сказал он.

Смирнов не поднял головы, а, лишь повернув ее набок,

— А, товарищ Гамбаров...

— Я самый,— ответил Гамбаров и поглядел вокруг. Любы здесь не было. «И не могло быть!» — подумал Гамбаров.

— Вот,— сказал Смирнов,— задарма пошла его работа. Вот, товарищ Гамбаров, какое действительно неприятное дело.

«Зачем он разговаривает?» — со злобой подумал Гамбаров.

— Но ты скажи ему, товарищ Гамбаров,— продолжал Смирнов,— скажи ему, разве такое сейчас дело, чтобы заниматься упадочничеством? Скажи.

— Н-да,— растерянно сказал Гамбаров,— с точки зрения времени вашему несчастью небольшая цена... То есть я советую вам...

— Да бросьте вы,— сказал Довгелло.— Бросьте...

Александр Николаевич видел, что Довгелло уклоняется, проходит мимо, что он свое несчастье скрыл. Если бы Довгелло разговаривал громко, подмигнул ему или, притворяясь, что сегодняшний случай пустяки, спросил бы: «вы о чем это? А, об изобретении!» — тогда Гамбаров успокоился бы. Так всегда утешает страдание чужая боль, уменьшает свое несчастье чужая беда. Но Довгелло не бравировал и не был подавлен.

Тон, каким он ответил Гамбарову, был невеселым, даже печальным. Но Довгелло не был похож на человека, которого подкосили, сбили. Да он и не мог быть похож, потому что, в то время как Гамбаров говорил свои унылые слова, такие скучные, что от них у него самого пересыхало в горле, Довгелло думал так:

«Смирнов прав. Дело не во мне. И даже не в штампе. Все это эпизод. Это тоже задача, и вот как она решается. Кожу удобней и выгодней резать машиной.

На двух, а может, еще на десяти заводах начинают сочинять такую машину. Самую лучшую сочиняют на заводе в городе Ижевске. Вот она работает. Верха режутся вдвое быстрей и точней. Задача решена. Остальное?.. Остальное не входит в условие. Это кляксы на тетрадке».

Это было даже не только мыслями, то есть чем-то стоящим чуть-чуть поодаль. Нет, это было чувством, заполнившим его всего, без просветов.

— Кляксы не в счет, товарищ Гамбаров,— сказал он,— машина работает.

Гамбаров хотел бы не верить, он рад бы сказать: «это лицемерие»,— но он не мог соврать. Даже в своем горе он нашел место для удивления. Но это удивление лишь усугубило его горе. Оно подмешало в горе какую-то долю виноватости.

— Все ясно,— говорил между тем Довгелло.— Моя машина? А почему она должна быть моей? Я ли, другой? Разве в этом суть? В этом разве была моя мечта? Я ничего не утратил, потому что мы ничего не утратили. Я прав, товарищ Гамбаров! Вы понимаете меня? Утрат не бывает. У меня, у вас — только то, что утрачено всеми, или, что найдено всеми, может нас огорчать или радовать. Мое горе было глупым. Я беру все назад.

Он как бы обращался к Гамбарову за одобрением, но Гамбаров не находил в себе силы ответить. Сейчас он не мог притворяться. И ему стыдно было, что у него нет правды, и, даже знай он ее — эту правду, он не в праве ее высказать,— не он тот, кто может одобрять или не одобрять людей, подобных этому механику.

— Вы правы,— только и сказал он.

Но оказывалось, что Довгелло и не нуждался в его одобрении. Он, кажется, даже не услышал ничего. Александр Николаевич вдруг вспомнил, зачем он здесь. Уйти сразу,— нет, это было как будто неудобно, но и оставаться он не хотел. «Польза дела»,— опять подумал Гамбаров.

— Мы тут насчет обрезка совещаемся,— сказал Смирнов.— Я думаю, если пустить эти обрезки через хороший пресс... да...

— Да,— сказал Гамбаров,— но я спешу. Простите меня. Я зайду немного позже. У меня заседание. Я хотел с вами потолковать, товарищ Довгелло, но только сейчас сообразил, что эта история надолго... Я обязательно зайду...

Гамбаров покраснел, поклонился и вышел.

ГЛАВА ВТОРАЯ

I

Между двумя морскими камнями стояла зеленая пепельница. Забытье сосредоточивалось в белом пятне, растекаясь по зеленому глянцу, и, чтобы притти в себя, нужно было, очевидно, сдвинуть пепельницу или отвернуться.

Между тем ей не хотелось двинуть рукой. Она вздохнула. Тишина не утомляла ее, а делала как бы посторонней. Она была чужеродным телом в этом массиве вещей, воздуха и света. Границей массива было окно.

Наступал вечер, и все в этой закономерной обычной чистоте, в медлительной подвижности располагало к легкому бездумью и воспоминаиям, умилявшим ее сердце.

Она была слишком молода, чтобы в ее сердце была горечь или уныние.. Ее грусть была как будто вызвана печальной мелодией. Если бы эта грусть вызвала на глазах слезы, они бы лишь прояснили ее взгляд: комната предстала бы тогда просветленной, края вещей обозначенными.

Сейчас, положив локти на стол, подперев руками голову, она не пыталась сторваться от блика на зеленой пепельнице, хотя его втягивающая неопределенность очертаний и была ей как будто враждебна.

Пальцами она касалась кожи на горле, и это прикосновение тоже было частью абытья. Да, она растекалась. Неспеша она сама растекалась в этом блеске, становясь его частью. Она сидела слишком удобно, чтобы чувствовать тяжесть своего тела, какое бы то ни было напряжение.

Время сидело с ней рядом, может быть, также удобно расположившись, и так же медленно и неотвязно распространялось оно в блике.

Неспеша разбредались вещи по комнате. Началось с того, что стол раздвинулся и подавил большую часть комнаты. Стол был коричневой мерцающей пустыней, камни — двумя скалами, меж которыми лежала зеленая вода. Все в этой пустыне было тяжелым, неподвижным и одурманенным неплотным воздухом, блеском отраженного продолговатого солнца, и хозяйствовала здесь, как и во всех пустынях, тишина.

Отчасти это напоминало игру, тем более захватывающую, что в ней участвовал один человек. Воображение не создавало здесь ищущего — будь то мальчик с зажмуренными глазами, считающий до десяти, или настоящий усатый разбойник в шляпе с пером, хохочущий злодей, с устами полными проклятий... Но воображение воздвигло пространство, поглощенное до отказа тревогой, неизвестностью и, что самое главное, особой близостью.

Сейчас она находилась в незнакомом месте. Но все здесь,— пусть в иных сочетаниях,— было знакомо. Зеленая вода, ограниченная коричневым берегом. Был и ткой пруд, и зеленой была вода в нем. Но берег был ровный. На берегу кричали лягушки. Они высовывали головы из воды. Лягушки ловили мух, слишком низко пролетавших над водой, или водяных комаров.

И наконец — просто эта пепельница. Глиняная, покрытая зеленой глазурью. Рядом два камня, привезенные из Крыма. Наверху, над столом, лампа в тридцать две свечи. По накаленным белым нитям струится ток, — если поглядеть на счетчик, это течение станет очевидным.

Она вздохнула еще раз. Одна ее нога отяжелела, налилась беспокойной и звонкой дрожью. С трудом она опустила ногу.

«А я засидела ногу»,— подумала она. Глаза ее открылись шире. Она встала и, прихрамывая, прошла вокруг стола. Как только ее ступня касалась пола, вниз устремлялась звонкая боль. Тогда она села и вытянула ногу, чуть приподняв ее, чтобы отлила кровь.

— Не помогает! — очень тихо и огорченно сказала она.

Она встала вновь и прошлась по комнате, причем ступать ей было не больно, а как-то особенно чувствительно. Она ходила недолго, притаптывая левой затекшей ногой. Она маршировала по комнате:

— Ать! Два! Левой!— смеясь выкрикивала она, размахивая руками.— Левой!

Возбуждение, вызванное движением, придавало ей бодрости. Она остановилась — сияющая. Сердце ее стучало, кровь бежала по жилам, глаза видели. Она дышала. Она могла петь или говорить полным голосом. Все это было достаточным и живым. Это и была жизнь! Сейчас она сядет, двинется, заговорит. И это было не только жизнью... Молодость!

Так называлось это великолепное чувство. Она не очень хорошо понимала, что это молодость делает таким стремительным, таким легким и мелодическим ее тело.

Если бы она закружилась, запрыгала на месте, высоким голосом напевая: «тра-ля-ля!» — это было бы просто чудесно и весело.

«Ах ты дура! — укоризненно подумала она,— ах ты глупая, дурацкая дура! Ах ты сумасшедшая муха!»

Снисходительно она осматривала комнату. Стул. Другой. Стол. На столе пепельница. Два камня. Газета. Пачка книг. Пресс-папье. Пальто на крючке. Лампа...

Вещи лежат или стоят благонравно, там где их положили, поставили, повесили. Ей захотелось негромко запеть. Ни одна из слышанных песен ей не пришла на память, да она и не силилась их вспоминать. Она запела только что изобретенную песню: «У окна сидит девица, ветер ходит за окном!» Мелодия бродила в ней. Подталкиваемая веселым возбуждением, она прорывалась наружу. «Ветер ходит за окном!» И девушку уже раскачивало из стороны в сторону. В такт двигала она головой. «У окна сидит девица...» Внезапно она оборвала песню. Игра кончилась. Теперь оставалось в последний раз глубоко, как следует вздохнуть и развернуть книжку «Рабфак на дому», раздел «Алгебра», параграф 61 и крупным шрифтом: «Куб разности двух чисел равен кубу первого числа, минус утроенное произведение квадрата первого на второе, плюс утроенное...»

2

Ее звали Женей Астаповой. Е. А. Астапова. Отца у нее не было вообще никогда. Об отце она знала, что он призыва 1911 года. В 1911 году же она родилась. Отец отбывал службу в Новогеоргиевской крепости. В августе 1914 года он был уже убит. Звали его Алексеем — и все, что от него осталось, заключалось в его отчестве. Впрочем «Алексеевной» Женю именовали лишь в местах официальных — в милиции, когда она получала паспорт, в домоуправлении и, пожалуй, больше нигде.

Женя работала на кожевенном заводе и исправно ходила в стрелковый кружок. Но стреляла она плохо, и это очень ее огорчало. Она ходила к врачу, тот сказал: «Ноль целых два и ноль целых три близорукости. Зрачок расширен». Женя упорствовала. Она выбивала двадцать семь, двадцать восемь, двадцать девять очков из сорока возможных. Она перенимала

повадки хороших стрелков, манеру становиться, выбрасывать ружье. И по-прежнему было двадцать семь, двадцать восемь, двадцать девять очков.

— Я выбью тридцать восемь,— говорила она: — Должна же быть удача! Один раз!

Инструктор стрелкового кружка Иван Степанович сердился, двигал плечами. Он утверждал:

— Удачи нет! Не бывает! Удача?

Он брал в руки ружье, щурился, выключал дыхание, каменел. Выстрелы! Они считали очки: тридцать восемь.

— Я достреляюсь!— говорила Женя.

День, вечер были ограничены, сон слишком длинен. Женя любила спать лишний час. И вот уже второй год говорила:

— Нынче я высплюсь! Обязательно!

Выспаться, однако, не удавалось. Два или три не очень обязательных дела задерживали ее допоздна. Вставала она точно, за одну или две минуты до того, как должен был зазвонить будильник.

Она жила одна в комнате в двадцать квадратных метров вот уже полгода. До того она жила с матерью, женщиной разговорчивой, незлой и неприятной. Ее мать вышивала рубашки гладью и давала обеды. Женю она, должно быть, любила, но той тяжелой и подозрительной любовью, которая отталкивает нас, мучает и кирпич за кирпичом кладет высокую стену, перелезть через которую нам мешает молодость, а матерям старость.

И когда Женя впервые заперла за собой дверь, впервые же она почувствовала, что руки ее, движения и мысли полны блаженной свободы и легкости, и нет постыдного чувства отчуждения, которое подавляло готовое сорваться с уст слово, либо громкий смех. Женя не была молчаливой, но разговорчивость матери стала к тому времени, как Женя получила комнату, вовсе невыносимой.

Так, без сожаления оставила Женя угол, в котором прожила жизнь, и, пожалуй, печальным был ее уход из дому. Ей трудно было глядеть на мать. Когда вынесли Женину кровать, она прижала подушку и одеяло к себе и сказала:

— Вот, кажись, и все!

Мать заплакала:

— Доченька моя!

Мать рыдала, всхлипывала. Она подбежала к Жене, обняла ее, ними было одеяло с подушками.

— Ах, ты моя!

На улице Женя вытерла лицо,— это материнские слезы намочили его.

— Неприятно! — тихо сказала Женя.

Так они и расстались. Изредка Женя заходила к матери, но чем дальше, тем реже. И чем реже она приходила к матери, тем более ей было неприятно.

Женя медленно, но как будто навсегда, забывала о прежних годах, о матери. И то обстоятельство, что мысли о матери лишены были горечи и озлобления, радовало Женю. Освобождалась какая-то сторона ее души,— и туда можно будет устроить еще многое, чего в жизни еще не случилось, но о чем Женя догадывалась. И хотя она не ждала особых изменений в своей жизни, но знала о том, что они неминуемы, может быть, даже необходимы...

3

За окном оседала осень. За окном, за последней ступенькой, за продолжительным звуком захлопывающейся двери — асфальт, бордюр и брус-

чатка поблескивают, как поливная посуда. Ролики трамваев отмечают этапы скольжения синими клубами взрывающегося блеска.

— И гляжу я на вас, а вы — вроде одна...

Это проходят мимо Жени двое: мужчина и женщина. Свет фонаря упал на них. Женщина мала ростом, в шляпе с пестрыми цветами. Как пестры цветы, как бедны...

— Дай, думаю, подойду! — говорит мужчина,— одни вы...

— Да!— счастливо отвечает женщина.

Они проходят. Женя замедляет шаги. Она готова пойти за ними вслед... О чем они говорят? Где встретил он ее? Как подошел?..

«Ты любопытна!— говорит себе Женя;— это нехорошо!»

Увы, она понимает. Тотчас она каялась. Она переорганизуется. Да! Она подавит в себе мерзкое любопытство. Изредка она торгуется. Ну, краем уха! Разве нельзя, идя домой, на пути отдаваться воображению. Ей итти десять минут или двадцать. Это время погибло. Неужто нельзя оставить улицу и мечтательность...

«Мечтательность! — ужасается Женя.— Договорилась! Мечтательность! Как это противно! Надеюсь, вы не станете отрицать, что вы говорите вздорные и противные вещи... Надеюсь...»

Женя негодует. Увлекшись, она толкнула какого-то человека.

— Извините!— бормочет она, устыдясь.

Она покраснела.

4

Женя стоит у окна. Два коротких удара в дверь.

— Да-да!— говорит Женя.

Вошел Володя. Он разделся, поводил ладонью по бритой голове и сказал:

— Здравствуй, Женька!

Он сегодня выбрил голову и потому с таким удовольствием поводит рукой по темени.

— Удивительный случай,— говорит Володя:— я уезжаю!

— Куда?

— За тридевять земель, в тридесятое царство, в триодиннадцатое государство...

— Кроме шуток?

— Не шутить? Приготовился! Я мобилизован.

И он встает, вплотную подходит к Жене. Он глядит на нее в упор. Потом отходит от нее прочь и, не оборачиваясь к ней, говорит:

— Была бы гитара, сыграл бы я сейчас вальс...

— Ты играешь разве?

— Нет! — он вздыхает.— Дубовый слух! Ужас! Я уезжаю,— говорит Володя.— Что ты на это скажешь?

— Смотря, куда едешь! — говорит Женя.

— Я уезжаю работать. Мальчик попал за тысячу верст, тоска его ест, печаль гложет!..— он помолчал.— Тоску надо выливать, как помои. На гитаре я не умею... минимум год!

Что ему сказать? Женя встала, пошла прочь.

— Сейчас приду,— говорит она.

Она идет по длинному коридору одна.

— Надо возвращаться,— тихонько говорит Женя и вдруг чувствует, что сейчас заплачет.

Она останавливается, закрывает глаза.

— Это ерунда! — бормочет Женя,— это нюни... Ты понимаешь, как это отвратительно...

Она стоит, прислонившись плечом к стене. Две слезы потекли по ее лицу. Сейчас вздрогнут ее плечи, она носом сделает неприятный звук.

Тогда Женя делает странные, дурацкие движения лицевыми мускулами. Она открывает и закрывает глаза, чрезмерно притом напрягаясь. Она двигает губами, как контуженная.

Больше она не будет плакать.

— Ты понимаешь, как это отвратительно!

Твердо ступая, Женя идет назад. Перед дверью она останавливается. Она взялась за ручку и, прежде чем толкнуть дверь, подумала: «Володя не езжай!»

Она толкнула дверь. Вошла. Володя сидел на окне.

— Ты когда едешь?— спросила Женя.

— Сегодня в двенадцать пятьдесят минут. Вещи, одним словом, уже собраны... С друзьями, одним словом, попрощавшись... Все, одним словом, в лучшем виде...

Он перелистывает какую-то книгу, потом резко оборачивается Жене.

— Ты будешь писать письма,— утвердительно говорит он,— а я буду отвечать...

— Письма?— задумчиво повторяет Женя.

— Время дурацкое,— говорит Володя; — пятьдесят минут... Глубокая ночь! Хоть бы проводил кто, платочком помахал... Прощай Володя! Пиши! Живи! Приезжай когда-либо! И никто не спросит,— продолжает Володя,— никому не интересно — на сколько ты едешь. На день? На год? Никому это, одним словом, не интересно...

— Ты сказал — минимум год! Кстати, главное, на какую работу?

Володя молча достает бумажник. Он читает: «пред'явитель сего...»

— На сколько ты едешь?

— Год верный...

Они сидят друг напротив друга. Володя вздыхает.

— Ну, я пошел,— говорит Володя,— попрощался и пошел... Делов понимаешь...

— Всего лучшего!

— И никто слезу не обронит,— огорченно говорит он.

Здесь и он и Женя понимают, что за притворство, за шутку он держится обеими руками, что ему нестерпимо дышать.

— Прощай, Женя!

Теперь натянуть куртку, застегнуться неспеша.

Он подошел к ней, держа кепку в руках.

— Прощай, друг.

— Всего хорошего.

И все же хорошо бы сейчас сжать зубы плотно и молчать...

— Все вздыхаю,— говорит Володя.— До чего же недостойное поведение! Просто срам!

— Да!

Он искоса взглянул на нее.

— Поцелуемся, что ли,— нерешительно говорит он на прощанье...— Как никак такие друзья!

Володя глядит на нее. О них — о ней и Володе — ребята говорят, что они сошлись. «Переэжали бы друг к другу на квартиру...» Володя думает: «И надо бы!»

— Ты бы поехала... если бы?..

Женя понимает, о чем он говорит...

— Я работаю,— говорит она тихо:—учусь!

— Ну, да! Поцелуемся на прощанье! А?

— Ерунда!

— Оно, конечно... ерунда...

Так он ушел. В комнате пусто, душно. За окном отстаивается осень. Самый жалкий вид являет нам снегопад осенью, когда снег ложится на мокрые мостовые, в лужи. Внизу прошел трамвай... С дуги сыплются синие громкие клубы света.

5

Женя прочла: «Квадрат разности», и без всякой видимой связи с этим подумала: «не стоит благодарности». Она никак не могла сообразить, как возникла эта фраза, отчего она явилась в ее сознании.

«Определенно, я не могу заниаться!» — и подумав так, она встала и осторожно, держа руки за спиной, прогулялась до двери и оттуда до подоконника. На подоконник она положила руку. Звездная ночь проходила мимо ее мыслей, но как бы касалась их, сообщая течению мыслей высокую плавность и музыкальность.

И сейчас, глядя мимо ночи, как бы сквозь нее, Женя предалась размышлениям. Ее мысли не выражались определенными грамматически правильными фразами. Ей не приходила в голову, допустим, такая фраза:

«Воздух, реющий за окном, ночь, звезды и сияние фонарей,— все, что предстоит моим глазам, торжественно и прекрасно. Я стою, затаив дыхание или крича, и не могу нарушить ничего, что так светит, так стоит, так радует мое сердце...»

Либо:

«В каком прекрасном сочетании звездный мир с миром фонарей. Как хорошо отсюда, с четвертого этажа, смотреть на эту непрерывную сеть электрических ламп, расположенных вдоль трамвайных путей, бульваров, улиц и переулков».

Ни одной такой фразы готовой, которую можно было бы записать, не явилось перед ней, но тем не менее приблизительно таким ощущением было исполнено ее размышление.

Оно являлось, такое ощущение, к ней часто и не ложилось к ней на плечи, не пригибало к земле, не тревожило, а попросту на некоторое время лишало работоспособности. Это ощущение требовало внимания и забирало его. И тогда откуда-то появлялась боязнь нарушить это состояние, движения становились осторожными, дыхание — явным.

«Определенно не могу заниматься!» — в другой раз подумала Женя, и на этот раз почувствовала неясное, но становившееся все более очевидным сопротивление. Это сопротивление росло и укреплялось.

«Квадрат суммы...» Это не выходило! Надо было заняться чем-либо другим, таким, чтобы не требовалось сосредоточенности. Женя подошла к столу. Над столом, в стороне, под календарем, висела белая табличка «Росписание». Против сегодняшнего числа она увидела: «Санкомиссия 9 часов. (Сбор у меня.)»

Табличка послужила границей между тем ее чувством, что казалось ей недостойным, ненужным и утомительным, чувством раздражающе лишенным ясности, и чем-то таким, где все расположено в приличной и необходимой последовательности,— отчего жизнь ее текла сама по себе, и само течение ее становилось скрытым, и уж не тревожило ее ни сложностью, ни таинственностью своих процессов. А вокруг все оживало, и если было нерешенным, то во всяком случае было на самом деле существующим, простым и требовало лишь ясного желания и устойчивости,— тогда все открывалось, становилось в нужное положение...

6

«Рабфак на дому» лежал в стороне. Перед Женей — список жильцов по этажам. Этаж четвертый, квартира 110, А. Е. Довгелло. Против его фамилии — (ч). Что в скобках — означает: частота. Ни одного заявления от уборщиц. Сор выметается во-время. Квартира 112 — (ч). Как их много в комнате! Женя входила однажды к ним. Какая торжественная и настойчивая тишина. Говорит сам Дегтярный. Все остальные молчат. Но во всем, в их молчании,— сугубая настороженность.

Женя пишет: «Поговорить с культкомом, привлечь». Она отодвинула список. И она не смогла бы сказать, отчего так ей тоскливо даже при воспоминании, мимолетном, мгновенном, точно она заслышала чужое и неприятное дыхание. Она могла бы закрыть глаза и тихо сказать: «ух!» Рядом с Дегтярным — ее мать, в чем-то они близки друг другу. Как трудно, однако, сбросить с себя проклятое ярмо — отец, мать. Мы стоим напротив, друг против друга, и не понимаем друг друга. И не друг друга, а враг врага. Что сделало нас недругами? Как трудно, мать, снять твою руку с своего плеча.

Женя пишет: «Привлечь, обязательно!»

Квартира 113, Е. А. Астапова — (н. ч.) «Это неорганизованность,— думает она.— Ты просыпаешь, ты вскакиваешь с постели, как угорелая, и летишь на работу!» Женя не оправдывается. Да, она виновата, да, это позорно, председателю санкомиссии нужно бы вынести выговор, и не такой, как она выносит сейчас себе, потому что она и есть председатель санкомиссии, а как следует быть. Уборщицы выметают в девять, значит к девяти надо, чтобы весь сор был выметен. Потом Женя думает о ящиках. Вот это было бы здорово! Возле каждой двери ящик... Стандартный. Утром все ящики собирают, и все очень здорово! Женя уже ставила этот вопрос на повестку. Она пишет: «Настоять!»

7

— Входите, сказала Женя.

Александр Николаевич Гамбаров осторожно притворил за собой дверь:

— Вы меня извините, я хотел спросить вас...

Он замолчал. «Что он хотел спросить... Не входила ли к ней жена?...» Ему представилось, что по всему его облику сразу можно заключить — он, Гамбаров, чуть не в себе. Он наверно производит впечатление сумасшедшего. Он прячет глаза, он говорит, едва не заикаясь. Наконец он молчит. Сколько времени он стоит против этой девушки и молчит. Минута, пять минут?.. Нет, не больше минуты.

— Что вы хотели спросить?— сказала Женя и улыбнулась. «Как рассеянный парень,— подумала она:— он забыл зачем вошел».

— Хотел спросить...— сказал Гамбаров.

Он взглянул прямо в лицо девушки. «Но Любы не было... не могло быть... «Они даже наверно не знакомы». И Гамбаров с ней почти не знаком. То есть он видел ее где-то в ячейке, в клубе, в завкоме. Где-то он видел ее. И вдруг ввалился.

— Да здесь... понимаете...— пытаясь улыбнуться, проговорил Гамбаров и, услыхав стук в дверь, совершенно растерялся, вовсе по непонятной причине, потому что теперь ему легче было совладать со своим смущением.— К вам вот стучат,— сказал он.

8

— А я опять к тебе,— сказал Володя.— А, товарищ Гамбаров, привет!

Они пожали друг другу руки.

— Понимаешь, Женя, какое дело,— сказал Володя,— зашел к последнему человечку, а пришлось поцеловать замок!

Гамбаров глядел на Володю. «Агитпроп и хахаль»,— подумал он и улыбнулся уже с удовольствием.

— Так вот, товарищ Гамбаров,— сказал Володя,— уезжаю я из нашего большого города прочь.

— Надолго?— вежливо спросил Гамбаров.

— Приблизительно на год.

«Хахаль»,— еще раз подумал Гамбаров. Он теперь припомнил, что несколько раз встречал эту девушку с агитпропом заводской ячейки, тем самым, что стоит сейчас подле него и равнодушно говорит: «Приблизительно на год». Отчего и он и она так спокойны? Он уезжает на год. Целый год — триста шестьдесят пять утр и вечеров, дней и ночей — ляжет между ними. Ужасный срок! Однако, даже следа волнения не проступает в лице девушки, оставляемой на год. Она должна бы покраснеть, и слезы должны были дрожать на ее веках.

Гамбарову все ясно. Они притворяются. Или, может быть, они оба лишены страсти, даже о том, что существует печаль, они не знают. Вместо того, чтобы плечом к плечу просидеть все время до поезда, обнявшись и плача, он должен был зайти к человечку! Какие умные, какие трезвые, какие гордые молодые люди.

— У меня сейчас начнут собираться, Володя,— сказала Женя,— у меня санкомиссия.

— Действительно жалко,— сказал Володя.— Комиссия! Паршиво!

И она притворяется. Санитарная комиссия не позволит ей провожать возлюбленного! «Это не гигиенично!» — закричат они.

Гамбаров поддавался неестественной слабости, лишившей его устойчивости, не вдруг, а исподволь, медля. Он присел, закрыл глаза, и тогда ему стало так трудно бороться с этой слабостью, а ощущение было таким приятным и спасительным, что Гамбаров только пробормотал:

— Простите! И стал заваливаться на бок!

И он знал, что достаточно усилья, и все это минет. Но очень хорошо он понимал, что теперь это невозможно, что теперь надо изобразить легкое головокружение, что ли.

— Да что с вами?— крикнула Женя у него над ухом.

И Володя подхватил его и посадил покрепче на стул.

— Простите,— сказал Гамбаров, с трудом двигая языком.

Ему и в самом деле трудно было говорить, хотя все это он делал нарочно. Так, вероятно, шатается мир, вещи и люди перед актером, когда он изображает соответствующее место в пьесе.

Там за картонными или холщевыми декорациями ему не понадобится усилий, чтобы вновь стать человеком крепких шагов и ясных представлений. А сейчас ему трудно стоять, язык во рту тяжел, им неудобно двигать. Все, что он видит, окружено болезненным и утомительным сиянием. Все колеблется, готово рухнуть, и он, подавленный неопровержимой тяжестью, шатаясь, ищет слабой рукой, о что бы ему опереться.

— Простите,— сказал Гамбаров уже у двери и вышел.

Он слышал, как за его спиной агитпроп вполголоса сказал Жене:

— Заработался товарищ Гамбаров.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

I

После обеда Дегтярный отдыхал. Впрочем, для передачи того действия, которое производил Дегтярный, «отдыхал» — неподходящее слово. Тут нужен термин более эпический, размашистый. Он не отдыхал, как отдыхают обыкновенные люди. Он лежал никем не тревожимый, и самый сон не смел подступить к нему, возмутить его покой, нарушить его отдохновение. Он почивал. Он лежал на кровати, раскинув ноги в шерстяных, тщательно заштопанных носках. На живот он клал для пищеварения бутылку с горячей водой. Лицо его было прикрыто носовым платком с узелками на углах. Платок двигался, сквозь него прорывался могучий, сотрясающий храп. Кровать была обнесена ширмой. Розовые ситцевые цветы распускались и благоухали во все времена года. Дегтярный лежал на своей огромной кровати, за этой ширмой, как бы в капище. Вся остальная семья: жена, мать, двое детей Дегтярного — девятнадцатилетний Миша и Люба, семнадцатилетняя девушка — сидела в соседней комнате. Рядом с Любой сидел Николай Иванович Журавлев, застенчивый молодой человек, учитель математики в школе второй ступени. Он ухаживал за Любой и бесплатно занимался с Мишей, готовившимся в вуз. Притворить двери они не смели,— Дегтярный мог проснуться и окликнуть кого-нибудь из них. И они должны были держаться наготове. Поэтому они сидели молча, боясь обеспокоить Дегтярного. Михаил читал, но очень осторожно, стараясь не шелестеть страницами и не скрипеть стулом. Мать шила. Ножницами она двигала осторожно, чтобы как-нибудь невзначай не звякнуть. Люба просто сидела, положив локти на стол. Она нежно и неопределенно улыбалась. Улыбка бродила по ее лицу, перебрасываясь с места на место,— то тронет голубой глаз, то легко ступит на вздернутую губку, то, чуть притрагиваясь, коснется подбородка.

Михаил достал папиросу, но Антонина Степановна замахала на него рукой. У нее был такой вид, точно она силится прыгнуть или взлететь, но собственное тело гнет ее к земле. Она подняла очки на лоб. Михаил отрицательно покачал головой. Он на носках подошел к окну и открыл форточку. Жестами он показал, что дым пойдет в окно и не обеспокоит Дегтярного. Но мать опять замахала на него руками, и он, захлопнув форточку, отошел и положил папиросу в карман.

Люба смотрела мимо. Ее большие глаза были постоянно обращены к чему-то невидимому другим.

Дегтярный пошевелился во сне. Мать замерла посреди комнаты на полшаге. Она уже занесла ногу, но не решилась ее поставить, чтобы не наделать шума, не скрипнуть половицей. Она ухватилась рукой за стол и стояла так на одной ноге в своем черном негнущемся вдовьем платье, удерживая равновесие и дыхание. Дегтярный захрапел спокойно, и она опять пошла, стараясь ступать еще неслышней.

Хлопнув дверью и топоча, в комнату вбежал младший сын Дегтярного — Марсик. Он громко смеялся.

— Тише!— одновременно сказали ему мать, Люба и Миша, но было уже поздно: Дегтярный проснулся.

— Антонина Степановна,— позвал он жалобно и гневно.— Антонина Степановна, пойди сюда!

Антонина Степановна торопливо отложила шитье и подошла к ширмам. Войти туда, за ширмы, она не решалась, и Дегтярный вещал оттуда:

— Кто это сейчас хлопнул дверью?

— Марсик,— робко сказала мать: — он не знал.

— Что?.. Не знал?! А почему я всегда знаю? Почему я никогда не хлопаю дверью? Почему я умею уважать чужой покой трудящегося человека? Он не знал! Скажите пожалуйста! Он не знал, что отец целый день торчал на службе, как последний пес! Что отец измучен, что отец покладает последние силы, чтобы дать ему воспитание. Он не знал!

— Отец покладает последние силы, Марсик,— вздохнула мать.

— Да! — закричал Дегтярный; он сел на кровати.— Да! Последние силы! Но вы недостойны этого, молодой человек, вы не заслужили... Пойди сюда, Марсий.

Марсий, упираясь и волоча ноги, подошел. Его ранец висел на одном ремне.

— Сними ранец,— приказал отец,— и пальто тоже сними!

— Я больше не буду,— сказал мальчик уныло, видимо, и сам не веря в возможность отвратить наказание.— Я никогда больше не буду.— Он заплакал и одной рукой размазывал слезы по лицу, другой расстегивал пряжки на ранцевых ремнях.— Я нечаянно... Больше не буду,— твердил он сквозь слезы.

— То есть как это «не будешь»? Ну, а если ты пойдешь, ударишь человека топором по голове, убьешь его насмерть и потом скажешь: «Я не буду, я нечаянно»,— ты думаешь, суд тебя простит? Надо, дорогой мой, отвечать за свои поступки...

Все это было столь бесспорно и уничтожительно, логика Дектярного так безошибочна, что Марсий молча расстегнул ремень.

Совершив экзекуцию, Дегтярный надел пиджак и шлепающие туфли без задников.

— Люба,— сказал он, выходя из-за ширмы,— чем ты занимаешься? Опять смотришь в потолок? Неужели у девушки в семнадцать лет нет другого занятия? Ты в этом году кончаешь школу...

— Я уже сделала уроки, папа.

— Повтори еще раз. Уроки нужно повторять. Правда, Николай Иванович? Подтвердите ей это! Скажите ей, что уроки нужно повторять. Скажите это ей вы, потому что отцовский авторитет поколеблен в этом доме. Отец трудится. Отец бегает, как собака,— продолжал Захарий Силыч,— отец надрывается на службе, недосыпает, недоедает... И вот, полюбуйтесь на благодарных детей... Один лоботряс. Другая...— он выразительно повел плечами.— Где моя газета?— вдруг спросил он.— Куда, чорт возьми, задевали мою газету? Я плачу три рубля за газету, чтобы она была на месте. Я не Крез! Я не могу швырять деньгами. Я честный человек, я никогда не присваиваю чужого имущества. Я требую бережного отношения к своему имуществу. Деньги на улице не валяются. Или вы думаете, что я сам их печатаю?

Николай Иванович вытащил из кармана платок и высморкался. Вместе с платком из его кармана выпали скомканные шесть рублей. Он хотел поднять деньги, но внезапный страшный стыд сковал его. Он отвернулся и сделал вид, что ничего не заметил. Искоса он следил за своими деньгами. Иногда он делал судорожные и порывистые движения, дергая всем телом по направлению к деньгам, но встать и поднять их все-таки не решался. Он придумывал планы: уронить платок и нагнуться, как будто за ним, а заодно прихватить и деньги, наступить на них. Но тут Марсий прекратил его раздумье тем, что, быстро и ловко нагнувшись, схватил деньги и сунул их в карман. И тут студенту стало еще стыднее.

Дегтярный не видел, как студент выронил деньги, но видел, как Марсик их поднял.

— Марсий,— сказал Дегтярный, садясь в кресло,— покажи мне свой правый карман.

Марсий сильно покраснел и надулся. Он не трогался с места.

— Марсий,— сказала Антонина Степановна,— когда папа говорит...

— Кому я говорю!— рявкнул отец.— Я вижу, как ты там копаешься. Поди сюда!

Мальчик подошел.

— Выйми все из кармана.

Марсий один за другим вынул два гвоздя, свисток, ножик, три трамвайных талона, кусок проволоки, жесть, свинцовую пломбу, костяшку от домино.

— Все?— спросил отец.

— Все.

— Выверни карман!

Мальчик молчал и не двигался.

— Выверни карман, я тебе говорю!

Мальчик вывернул карман. На пол упала какая-то бумажка, и тотчас и наступил на нее каблуком.

— Что ты там прячешь? Подай сюда. Ну!

Мальчик поднял с полу и подал отцу две зеленых мятых трехрублевки.

— Вот,— сказал он, дрожа и всхлипывая.

— Где ты взял деньги? У кого ты их стащил? Скажи сейчас же. Я сам честный человек и не потерплю у себя в доме мошенников. Я строг, но справедлив. Кто бы ни был виноват, сын, не сын,— он не может рассчитывать на мою пощаду. Я, граждане, строг к себе. Я копейки казенной не присвоил...

— Отец не присвоил казенной копейки,— подтвердила мать, на него.

— Я строг к себе,— продолжал отец,— но, позвольте мне, граждане, быть строгим и к другим. Чьи это деньги? У кого ты украл шесть рублей?

Николаю Ивановичу было очень жаль денег. Шесть рублей — это было шесть дней безбедной жизни или двенадцать дней с обедом и чаем утром или еще пять уроков по часу (ему платили рубль двадцать копеек за час), но он ничего не сказал.

— Твои деньги, мать?— спросил Дегтярный.— Из хозяйственных?

Она покачала головой.

— Нет, я ему не давала, и он не мог взять. Это наверно у него общественные, из школы,— сделала она попытку выгородить сына.

— Из школы! Гм! Нет, не из школы!— Дегтярный вдруг, хрипя, решил:— Эти деньги мои!— сказал он твердо.— Ну да!— Он посмотрел на свой жилетный карман.— Я вынимал часы и наверное выронил их... Дай ухо...

Выдрав Марсия за ухо, он встал и прошелся по комнате.

— Деньги, деньги,— говорил он.— Дело в конце концов не в деньгах. Важен принцип. Сегодня он украл шесть рублей, завтра он украдет шесть тысяч, послезавтра миллион... Завтра, говорю, он украдет миллион...

Он еще раз повторил «миллион», любуясь округлостью и значительностью слова.

Он ходил по комнате в туфлях и энергично громил безнравственность и бесчестность. Он поучал и проповедывал.

Люба и мать и даже Марсий внимали ему с трепетом и благоговением. Николай Иванович вынул папиросу и опять спрятал.

— Вот газета,— сказала Люба.— Я на нее нечаянно села.

Эта фраза перебила плавное течение мыслей и слов Захария Силыча. Он взял газету.

— Измялась,— сказал он:— это не дело. Вещь нужно содержать в порядке. Ей пятачок цена, а все равно она вещь. Вещь нужно уважать. Сейчас не уважают вещи. И делают их без уважения. Вот раньше... Вот этот матрац — он ровесник нашей с Антониной Степановной совместной жизни. Ему тридцать два года, а он, как новый. Сейчас даже и не делают таких пружин и травы такой не кладут. Но все ровно, у других и этот матрац измочалился бы в год. А я требую бережности к вещам. Я сам берегу вещи. Я ношу брюки четыре года! Вот, пожалуйста, нигде они не блестят, нигде не протерлись.... А почему? А потому, что я знаю, какого обращения требует вещь!

Николай Иванович стыдливо прикрыл свои колени ладонями, а потом натянул на них бахромчатую скатерть, стараясь скрыть под ней свою постыдную бедность.

Захарий Силыч молча сел за газету. Все молчали, боясь потревожить его. Он тщательно сложил газету, провел ногтем по линии сгиба, откашлялся и надел очки.

— Ого,— сказал он,— Гувер уже поехал в Канаду!

Он многозначительно поглядел на всех.

Антонина Степановна вздохнула. Люба посмотрела на свою невидимую картину и тоже вздохнула. Николай Иванович робко кашлянул. Марсик плакал, стоя в углу.

— Антонина, сегодня мясо в супе было разварено до невозможности. Я не могу есть такое мясо. Мне противно, когда в супе плавают какие-то тряпки. Чорт знает что! Бегаешь, бегаешь целый день...

Мутная тишина царила в комнате. Она отстаивалась десятки лет. Хотя Дегтярные переехали на квартиру недавно, тишину они привезли с собой вместе с запахами, с привычками, с большими стенными часами, с убеждением, что толченый сахар, приложенный к груди, помогает при простуде, что мадам Карицкая не красива, но симпатична, что сквозняк вреден, а егеровское белье самое экономное... Это был комплекс взглядов, привычек, напульсников, вязаных и кружевных салфеток, симметрично расставленных стульев, субботней бани, крутого и промозглого запаха стирки и стряпни, и верований, которые принадлежали только им. Это была семья, жилье, сюда они сползались, здесь глодали кости, и мозг поступал хозяину — властителю, старшему в роде—Захарию Силычу Дегтярному. Матрацам было по тридцать лет, шкафам — сто, а семье, вероятно тысяча. В углу громко всхлипывал мальчик Марсик.

— Кто оставил в кухне свет?— спросила мать шопотом.— Отец рассердится.

Эти слова «отец рассердится» были здесь почти лозунгом, молитвой Отец — самый грозный, самый сильный, самый строгий, самый безжалостный, самый... Отец! Он все! В нем начала и концы. Дети не знали, ненавидят ли они его, но знали, что заветнейшей их мечтой, тщательно скрываемой от других и от себя, была смерть отца. Это могло случиться поразному. Правда, он берег свое здоровье. Он, как стражей, обставлял себя горчичниками, бутылками, закрытыми форточками, глубокими галошами, высокими воротниками. Но ведь читаем же мы и слышим ежедневно о странных отравлениях — рыбой, грибами — о том, что человек подавился косточкой от сливы и задохнулся, о смерти под трамваем. Но нет, отец осматривался трижды, прежде чем перейти улицу. И даже сливы он ел слишком осторожно.

Маятник ходил тихо. Медлительное время двигалось еще тише.

2

Гамбаров вошел. Он встал около двери и одернул пиджак, и без того сидевший на нем удобно.

— Простите,— сказал он.— Я на минутку.

На глазах у всех Дегтярный уменьшился в росте, плечи его сдвинулись, брови расплылись, лицо исчезло. Он весь растекся, сжался, скомкался, обратился в пятно. Он оставил при себе только цвет и блеск пуговиц. Голос он утратил и извлек на смену ему какое-то сладкое попискивание. Увы, куда исчезла его осанка, его гнев, его справедливость, его строгая и ропщущая честность. Семья внезапно увидела Дегтярного не таким, каким она его знала, не суровым повелителем, не скучным деспотом, лезущим со своей назойливой регламентацией во все мелочи домашнего обихода, не образцом, не монументом, воздвигнутым возле обеденного стола, а таким, каким видели и знали Дегтярного вне семьи, на службе, в общественных отношениях, таким, каким он никогда не бывал дома и всегда бывал там.

— Дорогой Александр Николаевич!— Дегтярный вздохнул так, точно самая душа его в этом вздохе хотела вырваться и полететь навстречу дорогому Александру Николаевичу.— Дорогой...— он не мог сказать ничего больше.

Слова исчезли, были затоплены и унесены потоком чувств, нахлынувших на Дегтярного. Мелкими, тихими шагами он пошел навстречу Гамбарову.

— Ах, так это вы здесь живете,— рассеяно сказал Гамбаров,— здравствуйте!— Он увидел на Дегтярном такие же комнатные туфли, опушенные мехом, какие были на нем самом, и это его обидело и даже оскорбило.

— Чем могу служить, Александр Николаевич?— сказал Дегтярный счастливым голосом.— Вот мы здесь почти соседи. Дети, встаньте, идите сюда... Любочка, Миша, Марсик, Антонина Степановна... Вот Александр Николаевич Гамбаров, наш директор, а это моя семья,— извинился он.

— Любочка?— спросил Гамбаров.— Вы сказали, Любочка?

— Моя дочь Люба. Вот! Но вы не беспокойтесь, дорогой Александр Николаевич. Вот кресло. Не хотите ли чайку? Откушать с нами, как говорится, чем Карл Маркс послал... Варенья!— шепнул он Антонине Степановне.— Живо!

— Не хлопочите,— остановил его Гамбаров рассеянно.

— Да, да, я понимаю. Такой занятой, такой перегруженный человек. Вам некогда? Таблицы...

— Какие таблицы? Ах да... конечно... Пионер?— машинально спросил Гамбаров, беря Марсия за плечо.

— Нет, товарищ Гамбаров, еще пока нет,— выскочил Дегтярный.— Так Мальчишка! Но замечательно знает из политграмоты... Кто был вождь трудящихся, Марсий?

— Товарищ Ленин,— угрюмо сказал Марсик.

— Молодец!— Дегтярный неумело погладил сына — Видите, к й он у меня молодец!

— В угол вставать?— все так же угрюмо спросил Марсий.

— Варенья?..— переспросил Дегтярный все с той же ласковостью.— Дай ему, Антонина, варенья. Ну иди, иди...

Гамбаров не мог уйти. Он переминался с ноги на ногу и не в силах был сделать решительного движения. Самое появление его здесь было столь нелепо и неосмысленно, что он должен был оправдаться, сказать что-нибудь.

— А я ищу здесь одну... знакомую,— сказал он,— хожу, вот видите и ищу. Я знаю, что она где-то здесь в коридоре, но не знаю, где именно

— Ах, Александр Николаевич!— Дегтярный закатил глаза: он придал своему лицу выражение сладчайшее. Губы его вытянулись, нос удлинился, руки простерлись вперед. Он вздохнул и одновременно причмокнул, и столько было в этом вздохе и причмокивания соболезнования, но соболезнования почтительного, участия, но участия робкого, и вместе усердия, преданности, готовности тотчас расстелиться ковром, власть как лист перед травой, лететь на край света, не щадить ни живота своего, ни состояния, что только такой рассеянный, такой сосредоточенный на своем человек, как Гамбаров, не мог заметить, не оценить всего этого рвения. Сдавалось, пожелай Гамбаров, и Дегтярный взовьется в воздух, обратится в дым, в пар, рассеется в облако. Он почти стонал. Не произнося ни слова, он ворковал как голубь.

— О, знакомую...

Он даже подмигнул Гамбарову.

Все сумел выразить он в этих немногих словах. И то, что, конечно, знакомая Александра Николаевича не может не быть достойнейшей в мире женщиной, и он, Дегтярный, счастлив был бы не то что лицезреть ее, но итти, ступая в ее следы, видеть мелькание ее платья на следующем квартале. И, с другой стороны, было здесь и некоторое удивление, даже, может быть, осуждение: «Как?.. Уйти от Александра Николаевича! Заставить товарища Гамбарова искать себя, ходить за собой!» И опять-таки беззаветная готовность услужить, если понадобится, отдать дочь, сына, себя самого на алтарь чинопочитания.

Когда за Гамбаровым закрылась дверь и вслед за ним, воспользовавшись смятением, смущенно выскользнул Николай Иванович, Дегтярный еще несколько секунд простоял в молитвенной позе, весь простершись за ушедшим начальником, привстав на носки, протянув руки, не шевелясь и не дыша. Потом он обернулся. Домочадцы стояли полукругом в раскрытых дверях второй комнаты. Они ждали, сами еще не понимая, какая решительная перемена произошла в их жизни. Дегтярный, и вовсе ничего не предчувствуя и не замечая, пошел прямо на них. Ожидание нарастало вместе с его шагами. Оно подымалось все выше, к какой-то предельной, звенящей, неслышимой ноте.

По лицу Дегтярного еще блуждали тени, воспоминания еще бродили в нем. Весь он был полон еще чинной торжественностью, значительностью прошедшей минуты. Он еще прислушивался к отзвучавшим шагам.

Но вдруг он выпрямился.

— Марсий!— рявкнул он.— В угол, свиненок!

Марсий медленно пошел в угол и по дороге заплакал.

Антонина Степанова почувствовала себя отрешенной, пришедшей. Она смотрела со стороны и на Дектярного, и на детей, и на себя. Напротив нее, на фоне цветущих ширм, стоял плешивый, плохо выбритый человек. Она увидела бородавку у него на шее, на жилете яичное пятно. Так бывает,— услышишь внезапно часы, которые идут уже много лет, всю жизнь, здесь же рядом, и которых ни разу еще не слышал. И чувство, которое сейчас медленно возникало в ней, оно тоже звучало и билось и текло рядом уже многие годы. Гнев, презрение были не в стороне, нет,— они копились в ней самой. И вдруг сейчас разом хлынуло все: слезы, ненависть, понимание. Антонина Степановна вся сотрясалась. Что-то красное застлало ей глаза. Она испугалась себя, хотела остановить, в последний миг сдержать. Еще боязнь, робость лежали на ней, как тень. Но против воли возник в ее груди крик. С удивлением прислушивалась она к нему.

— Не сметь! — закричала она накрик, не своим голосом.— Не сметь трогать ребенка!

Дегтярный отшатнулся в изумлении. Он готов был обвинить себя в галлюцинации. Мысли о сне, о сумасшедствии пробежали мимо него, отбросив короткие тени. Он оглянулся вокруг себя, улыбаясь и как бы вопрошая. Этой нелепой улыбкой он испрашивал сочувствия или хотя бы подтверждения. Но не было ему ни сочувствия, ни подтверждения. На него смотрели отчужденно и по-новому.

Антонина Степановна упала на стул.

— Мою жизнь с'ел!— кричала она.— Теперь их заедаешь!

Плечи ее ходили без ее ведома. Ее трясло и подбрасывало. Люба побежала за водой. Она даже не заметила стоящего на дороге отца, и он едва успел посторониться. Зубы Антонины Степановны лязгали о край стакана.

— Ну, не плачьте, маменька, не расстраивайтесь. Не надо,— просила Люба.

Марсий тоже плакал, но оглядываясь и норовя перекричать всех.

Дегтярный не сдавался. Он не верил еще, что рушится здание, воздвигнутое им за тридцать лет, что из повелителя он и у себя в доме обратился в презираемого, низкопоклонного шута, в то же отверженное и презираемое существо, каким он был и там, в стороне.

Но тут Михаил подскочил к нему. Он еще не знал, что скажет, но знал, что что-то очень резкое, непапровимое, после чего не будет пути назад. Перед ним стоял малорослый человек в туфлях, глядящий на него снизу вверх. Человек этот был ему мало знаком и неприятен.

— Замолчать!— сказал он, задыхаясь от гнева.— Слышишь! Сейчас же замолчать!

Он сжал кулаки. Морщины бороздили его лицо во всех направлениях.

Дегтярный сник, сжался, попятился.

Пожалуйста,— сказал он,— Пожалуйста! Только нечего орать.

Михаил вытащил из кармана притушенную папироску и закурил.

Захарий Силыч отвернулся и побрел за ширмы, уменьшаясь в росте при каждом шаге. Он был низвержен.

(Окончание следует)

Пустыня

Повесть

П. Павленко

(Окончание)

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

1

Хасаптан Илиа [1], бывший борец, только что получил письмо курбаши Магзума [2]. Ему читал его ученик и племянник Мамед, парень с нарывающим, как сплошной фурункул, лицом, по прозвищу Еловач.

Новости были тревожные. Курбаши писал, что после того как он ушел прошлой весной из Кара-Кумов, чтобы пробиться в Афганистан или Персию, двое из его ближайших, Шараф и Якуб, передались пограничникам и стали служить у них на постах. Тогда он распустил отряд, а было у него двадцать семь человек, и с четырьмя своими племянниками ушел в пески за станцию Уч-Уджи, обжигать уголь из саксаула. За зиму добрались до них и наложили налог, тогда они взяли пять лошадей,— он так и писал — просто взяли, но Мамед прочел это слово с определенным акцентом, а Илиа кивнул головой в ответ, что именно так и следует понимать его,— и ушли на юг, к керкинским кочевкам, где и нанялись в чобаны в новый совхоз. Оттуда завязали связь со всеми людьми отряда и постепенно привлекли их к себе. В начале весны Якуб, как и следовало по заслугам его, умер,— здесь Мамед опять сделал особое ударение, и Илиа ответил кивком головы,— а Шараф перевелся в другое место, к Термезу, но о нем написано друзьям, и все будут знать, как быть с ним.

Потом курбаши сообщал, что весною было много работы с колхозами, уважаемые люди уходили в Афганистан, других приходилось учить, и здесь забрали каракульчи на три тысячи семьсот афганских рупий, которую и продали одному человеку из Герата.

«Когда мы узнали здесь о том, что сделали инженеры,— писал курбаши,— и что выпущенная ими вода,— так утверждаем мы здесь и просим вас распространить это в ваших краях,— губит стада и расстраивает жизнь, мы решили снова набрать честных и смелых людей, чтобы восстановить у нас все, как было. Вода не должна быть проведена,— писал он далее,— потому что сейчас же начнут строить колхозы, и вы об'ясните нашим людям, что тогда бежать надо будет всем сразу и что тогда никто не спасет нас. Мы распространили здесь, что за воду, которая идет гибелью на нас еще наложат налог, и так вы распространите у себя среди всех.

[1] Был судим за знахарство и выс..
[2] Судьба его рассказана ниже.

Я выйду и возьму всех русских и отвезу их в кочевки, а туркмен, которые есть с ними, предам смерти. От имени всех ваших доброжелателей, находящихся с нами, желаю вам, чтобы милость божия, которая поставила вас в высокое положение, не покинула вас, чтобы это большое счастье осталось при вас навсегда».

Под письмом стояла именная печать с надписью: «Магзум Бек-Темир».

— Все? — спросил Илиа.

— Все,— ответил племянник и спросил:— Что будем делать? Надо кочевать в другое место. Через Магзума погибнем мы.

— Зачем кочевать? — сказал Илиа, но сам подумал то же.

— Ты иди,— сказал он Еловачу,— я подумаю, что делать. Да не болтай пока, что письмо есть.

Илиа смолоду был борцом и выступал на базарах. Когда ему минуло двадцать шесть лет, вышел случай ему жениться, невеста была выбрана, все уговорено, но в последний момент ее отбил этот самый Магзум, служивший стражником. Илиа с горя ушел тогда из аула и два года боролся на базарах в Чарджуе и Мерве, а когда вернулся, чтобы хозяйствовать, его «су», водный надел, оказался в пользовании мираба. Он начал тяжбу и проиграл ее. Проиграв тяжбу, Илиа поручил дело силе и определил убить мираба и убил бы, но собрались старики и вместе с ишаном вырешили считать его лишенным разума и посадить его на цепь, и чтобы мираб кормил его до кончины. Было это дело за два года до большой войны. Когда начали брать туркмен на войну, все кричали отпустить Илию, потому что он был еще сильный и храбрый, но ишан настоял — не пускать. Так сидел Илиа до тех дней, пока не пришли красные и не арестовали ишана, а его выпустили на волю, и чтоб аулсовет кормил его. Но кормить было некому, потому что мираб убежал, и Илию старики опять посадили на цепь, отдав на попечение брата мирабова. И еще он сидел пять лет, а с прежними одиннадцать, пока Магзум не пришел управлять аулсоветом. Он выпустил Илию и кормил его, и дал ему лошадь, и смотрел, чтобы раны зажили у него, и оповестил его имя, как человека мудрого и угодного богу. Но сила уже не вернулась к Илие, и глаза стали видеть только вдаль.

Потом много было всего, и скоро Магзум ушел с ханом Джунаидом[1] басмачить, вернулся, опять уходил, а возвращаясь, жил в доме у Илии, хотя жена его была в том же ауле. В последний раз, уходя на юг, Магзум сказал ему, что пришлет за женой, и просил Илию помочь ей отправиться с его посланным. Несколько раз заходил Илиа в дом к ней и справлялся, все ли имеет она и нет ли какой нужды, и однажды спросил ее, помнит ли она его.

— Нет,— сказала она.

— А палавана Илию? — спросил он.— Молодого палавана Илию, который был сильнее всех мужчин?

— Нет, не помню,— сказала она.

— А кто тебя сватал до Магзума? — спросил он.

— Не знаю,— сказала она.— Какой-то человек сватал, но почему взял меня к себе, неизвестно мне.

И с тех пор появилась у него обида на Магзума, и забыть ее он не мог. Теперь настало время решать, как быть.

Он лег на кошму и накрыл голову халатом, чтобы думать. Его разбудил Еловач, говоря:

— Инженеры приехали. Что делать будем?

[1] Предводитель туркменского басмачества, эмигрировал в Афганистан.

И тут же вошел Адорин, поднял его и начал допрос. И как будто не засыпал Илиа, а продолжал свои мысли о прошлом, потому что все — кроме знакомства с Магзумом — пришлось повторить заново.

Изучать звезды он начал еще в детстве, от деда, но по-настоящему взялся за них, сидя на цепи. Знал он четыре главнейших звезды — юлькер, яралак, югийлдыз и ялдырак — и по ним все определял.

Расскажи, как ты определяешь?— сказал Адорин.

— А тоз как,— начал Илиа.— Когда наступают степные жары, выходит звезда юлькер. Если ее не видно — лета еще нет. Она закатывается в полночь, потом все раньше — в десять, в девять, в восемь часов, пока не наступит время, когда она заходит вместе с солнцем, и тогда ее не видно сорок дней. Через десять дней после сорока она будет видна немного яснее, а затем все лучше, и как станет совсем ясной — пшеница готова. Через пятнадцать дней после выхода юлькер выходит яралак. Из-за света ее еще не видно десять дней. В это время начало летней жары. Через двадцать пять дней после яралака выходит югийлдыз — готовы дыни, и цветет камыш. Пока не вышла ялдырак — нельзя выезжать без воды. После ее выхода ночи будут влажными, можно воду не брать. Через десять дней после выхода ялдырака у верблюжат начинает расти шерсть, через сорок пять — время случать баранов, через сто двадцать после выхода — случка верблюдов и начало зимы. Все.

А как ты предсказал относительно Февзи и воды, тоже по звездам? — спросил Адорин.

— Нет, то другое,— ответил Илиа, смущенно вскинув голову.

— Что другое?

— Нельзя сказать. Грех. Я тебе просто пример приведу, сам решай.

И он легко и не задумываясь, как давно известную и на-память выученную задачу, рассказал ему сон своего соседа, который он об'яснял недавно.

— За ним гнался верблюд, он бросился от него в первый попавшийся колодец и повис на его деревянных перекладинах. Видит — внизу змея, а по бокам две крысы подгрызают перекладины. Стал кричать — проснулся. Я ему так сказал: верблюд жизнь, которая тебя мучает. Змея — земля. Крысы — день и ночь. А все вместе — скоро умереть. Вот и решай сам, как я об'ясняю.

— А сосед что? — спросила Евгения.

— Как что? Я же сказал — скоро смерть, и он вчера помер,— довольно и спокойно ответил хасаптан.

Адорин приказал ему быстро собраться и, вынув револьвер, упростил все приготовления. Снаружи собиралась толпа.

— Если что спросят — скажешь, что тебя вызывают лечить инженера,— сказал Адорин.

Через два часа они нагнали караван из четырех верблюдов с небольшим стадом овец.

— Куда идете?— спросил проводник-комсомолец.

Караван шел к такыру, где в суматохе передвижений возник сумасшедший базар. Все продавали овец и уходили прочь. Покупатели наехали из дальнего далека и покупали сколько ни предложи, хоть десять тысяч голов.

— Аму-Дарья ищет старый свой путь, беда нам будет, все Кара-Кумы зальет. Надо уходить.

— Придется пустить в ход хасаптана,— сказал Адорин и вечером у такыра долго об'яснял комсомольцу, что ему надо сказать Илие. Не вытерпев, сам об'яснил ему по-русски задачу завтрашнего дня.

— Если не скажешь, что я приказал,— убью на месте.

Ночью спали по очереди. Илиа лежал и смотрел звезды. Куда его везут, он не знал, но не боялся, что ему будет плохо; одно пугало — что нагрянет Магзум и за речи отстегает плетьми, если не сделает хуже. И не знал Илиа, говорить ли завтра то, что приказали ему, или молчать, или взять да и выдать все про письмо и замыслы курбаши.

С утра, хоть и не было ветра, пошел дождь пыли. Пыль поднималась далеко за такыром, как пламя дымящегося вулкана, и долго, и лениво кропила людей своим сухим и колючим дождиком. Пыль поднимали кумли — люди песков — своими стадами. На ровной долинке за колодцами с рассветом начался торг. Покупали и продавали, не слезая с коней. Бродячие пилавчи раскинули кошмы и натянули навесы для чайханэ, на чувалы насыпали зеленые горы табаку наса, в медных чанах заварили плов.

Старики пошли помолиться к мазару, могиле святого, и в кольцо, ввинченное в стену, в кольцо с остриями, вправленными внутрь, просовывали руки, чтобы узнать, грешны ли они? Гвозди рвали кожу, и люди поникали в смятенной и жуткой покорности.

Потом прошел базарный глашатай[1] с большим барабаном и пронес радостный вопль хитрого и сложного напева.

— Откуда он? — спросила Евгения, готовясь записывать.

Глашатай, старик невероятных лет, бежал, как и все, из Моора, где он был базарным смотрителем,— и вот базар, и он считает своей законной властью открыть его, как положено. Сморщив лоб и закрыв глаза, он поет, опираясь на палку, с вдохновением дервиша. Да, он бежал из Моора, но он честный работник. Вот он увидел базар, открывает его и блюдет по всем догмам коммунального права.

Кумли собираются вокруг него оцепенелой толпой. Они любят пение и слушают его, как певца.

— Берекелля! Молодец! — кричат они ему.

— О чем он поет?

— О декретах,— говорит комсомолец.— Он поет новые декреты, но я уже слышал их у себя в Ильджике. Еще он поет, что если кто найдет без хозяина лошадь или хурджины, пусть доставит ему, у него — сохранение, также — штраф за драку.

— Илиа, иди и скажи базару, что условлено.

— Я скажу,— говорит Илиа,— пусть еще соберутся люди.

Они идут сквозь толпу. Туркмен в украинской косоворотке под старым халатом, приторговав барана, но еще не решив, купить или не купить, расспрашивает о местных делах.

— Колхозы делали?— спрашивает он.

— Отложили на осень. Воды у нас было мало. Хотели осенью думать.

— Ха, осенью, думаешь, вода будет? Водой черепах поят инженеры.

— Вода пущена, чтобы нас выгнать. Как нас уничтожат, вода опять будет. Слыхали про случай с Февзи?

— Илиа! — говорит комсомолец.

Под навесом из тонкой серой кошмы старик рассказывает, как он в прошлом году пересек пустыню с автомобилями Ферсмана. Он не хочет лгать и открыто признается в своей старческой трусости и еще в том, что если бы не деньги, так сроду не пошел бы он на такое опасное дело, как ездить на автомобиле. Он рассказывает, что машины шли, разрывая под собой песок, и слушатели перестают жевать и слушают его зачарованно.

В воздухе, как шум морского прибоя, стоит блеяние стад. Из почтения перед рассказчиком никто не ест, и пилавчи с тревогой глядит на

[1] Сейчас служит в Мервском коммунхозе.

ошалевшего от красноречия старика. А тот рассказывает, как пело радио и как ели в пути вкусные мясные консервы, и что русские пьют чай с сахаром, а он один — правильный человек — пил сначала чай, а потом с'едал сахар и в общем-де с'ел фунта два за дорогу. Люди, которые преодолевают пустыню на ишаках и верблюдах в течение пятнадцати дней, с уважением смотрят на старика, неделю проездившего на автомобиле. На верблюде спокойнее, а что такое пустыня, когда ее знаешь?

Илиа встает и, прерывая рассказ старика, говорит:

— Я — хасаптан Илиа. Кто меня знает? Вот мое лицо и мои глаза. Пусть скажет, кто меня знает.

Он выжидает.

Адорин говорит ему тихо:

— Ты был борцом, Илиа? У нас с тобой борьба. Я держу револьвер у твоей спины. Думай, что скажешь, Илиа.

Народ сбегается со всех сторон.

— Ну да, это слепой Илиа,— раздаются голоса.

— Это он видел Февзи. Илиа, ты видел его?

— Я, хасаптан Илиа, говорю вам — я видел Февзи, и я знаю звезды, которые всем управляют, и вот мое слово — будет беда вам, идет на вас курбаши Магзум взять овец. Пусть мое слово запомнят. Он возьмет овец и разграбит кибитки. Вот — беда. А вода кончена, я знаю, что говорю, река вернулась к себе. Закройте базар, ступайте по своим кочевкам, не продавайте овец,— тот, кто покупает их, имеет злой умысел. Магзум придет,— говорит он,— придет Магзум, ничего не оставит, если не об'единитесь и не прогоните его.

Все превращается в беспорядок. Навес дрожит и падает, как сорванный ветром парус, пилавчи шныряет, ловя своих посетителей, и молодой кумли [1] верхом на коне пробирается к Илие и кричит ему:

— Илиа, слова твои отвезу, как письмо. Помни, Илиа!

— Сабля свою ножну не режет,— говорит Илиа.

Беспорядочно быстро пустеет такыр. Дождь пыли уходит прочь. Глашатай грустно стоит посреди брошенной котловинки, на остатках растерзанного базара.

— Нехорошо поступил Илиа,— говорит он резонно.— Надо было мне сначала базарный сбор собрать. Базар нельзя разгонять, декрет такой есть,— говорит он и остается один.

2

Дни, ночи, сутки спутались, и время измерялось теперь кострами. Они прожили время в семнадцать костров, как потом сказал Илиа своему следователю.

3

Солнце не заходило, но тени с восточной стороны уже ползли на барханы. Пустыня двигалась, оставаясь безмолвно-безжизненной. Глаза кружились от ее ползущих теневых пейзажей. Прикрываясь широко распахнутыми тенями, из ее недр вывертывались змеи. Они пробегали, не обращая внимания на людей, тихие, похожие на клочки теней, гонимых по песку ветром. Легкое падающее солнце тончайше отражало металлический блеск их расписных тел.

— Ты что читаешь, товарищ Елена? — спросил Ключаренков.

[1] Один из людей Магзума. Зарублен красноармейцами.

Книгу мне подарил один писатель. Бригада их была в Ильджике.

— Бригада? Ага... Адрес их знаешь? Ну вот, напиши-ка ты им письмо. Жарь на «Туркменскую искру». Сегодня сдадим товарищу Итыбаю, он колдуна повезет куда надо, заодно сдаст и наше письмо.

Написав и отдав письмо Итыбаю, она возвращается к книге, на титульной странице которой сделана длинная надпись.

Адорин хрипит и бьется во сне.

— Какие сны одолевают, хоть хасаптана зови,— говорит он.— Все о пустыне, чорт бы ее побрал. Две недели живу в ней, а что она такое — чорт ее знает!

Елена стирает пот с его лба. У нее такие горячие, значительно горячие руки.

— Нет, в самом деле, что такое пустыня? Вот смотрите, какая стоит тишина. Не тишина движения, а тишина состояния, биологическая, страшная и восторженная тишина, рождающая космические неврозы. Страх тишины переходит в страх перед пространством, перед так дико растянутыми километрами, ожидающими преодоления. Так может быть страшно, когда бы увидел вокруг все мясо, с'еденное за всю жизнь, или бумагу, исписанную начиная с гимназии, или всех знакомых со дня рождения. Смотрите, Елена, смотрите, пустыня вобрала небо в свои края, как голубую прозрачную воду...

4

Колебля голову над серым, запыленным телом, ощупывая мерцающим языком темноту на своем пути, бросая тело подвижною узкою волной, змея подпрыгивала и кусала воздух. Она угорала от звука, исходящего от огня ее небольшого колодца. Она шла на теплю, скосил глаза на стороны, один глаз — в одну, другой — в другую, и теплый воздух, проносясь от огня, щекотал ее напряженную кожу. Но когда она приблизилась, огонь издал звук, а за ним другой. Они продлились, как прыжок ветра, и вернулись в огонь, не оставив эха. Потом они возобновились, медленно колыхая ее сознание, и повлекли к себе, лишали язык чутья и кожу напряженности, они шли цепкими течениями в рассеившемся под луною воздухе. Противоборствуя их опасным токам, змея кусала воздух. Глаза ее перестали видеть, и язык не говорил о том, что лежит впереди нее.

Был свет луны, как всегда, и была тишина, как всегда, и, ничего не волнуя кроме ее тела, пел огонь. Она подвигалась к нему с бешенством и восхищением. Звук облекал всю ее теплою одурью и тащил к себе. Она подобралась к самому огню и бесновалась перед его теплом, но звук увлекал ее по другую сторону огня. Змея пыталась отбросить соблазнительно поющее пламя и грудью бросилась на него, опадая в мучительных ожогах. Потом, рассвирепев, долго кусала свою верткую тень и, смирясь, поползла на звук за огнем.

Вдруг в стороне зашумела ночь, и шум врассыпную раскидал звуки. Тяжесть отлегла от ее тела, и она ринулась в воздух, как рыба из продранной сети. Припав к голубому песку, она вошла в него острым сверлом и быстро двинулась в нем, как в туннеле, подальше от необ'яснимого в этот вечер и страшного своею опасностью огня.

Человек за костром поднялся, отложил дудку и сказал самому себе с горечью:

— Опять прошли люди. Вспугнули четвертую. Ночь прошла даром.

И пошел вслед каравану — попросить пиалу зеленого чаю и рассказать о своей неудаче.

5

Тишина. Пески. Древен воздух над ними. Он ничего не держит в себе. И песок, третьего дня взбитый ветром, сыплется теперь сверху, как крупицы самого воздуха, бессильно распадающегося от времени. На горизонте замер облик ослепительно белого города. Он покоится на резких голубых туманах и напоминает возносящийся на небо скит с дешевой афонской олеографии.

— Аул у колодца Юсуп,— говорит Итыбай.— Два дома и восемьдесят кибиток.

Время, потерявшееся в песках, вдруг находится и организует людей, как сторожевой пес свое заблудшее стадо.

— Есть ли тут почта? — спрашивает Адорин и сам смеется над нелепостью своего беспокойства.

— Я чувствую запах дыма,— говорит Евгения.— Ведь миражей обоняния нет?

Верблюды качаются на песчаной волне. Так корабли из тяжелого моря облегченно и нервно входят в порты. Манасеин распоряжается.

— Верблюдам влить в желудки не меньше чем по восьми ведер воды. Выспаться и отдохнуть. Наполнить турсуки местной водой, мы опередили поток,— впереди сухо.

Вечерняя туманность относит белый город все дальше и дальше, все выше и выше над горизонтом. Теперь он вознесен в окружение первых звезд. Так проходит час, другой, третий, и вот осел, идущий впереди, спотыкается о камышевые берданы, все вокруг разрывается лаем, верблюды пятятся в сторону, и Хилков слезает у самой стены крайнего белого дома.

Из домика выбегает человек в белом и по-туркменски спрашивает:

— Больные? Откуда?

Торопясь на этот озабоченно-мирный голос, все начинают раздраженно укладывать на землю верблюдов, звать погонщиков и вытаскивать из чувалов свои вещи, вдруг ставшие совершенно необходимыми. Потом они входят в дом, это — больница, и блеск никелированных кипятильников кружит глаза.

— Инженер Манасеин! — говорит фельдшер и кому-то кричит:— Сходи в кооператив, позови приезжих! Тут кто-то из ваших есть, утром пришли.

Слова больница, кооператив, самовар радуют очень смешно.

— А баня? — кричит Хилков.— А баня? Какая же это культура без бани?

— Это уже завтра,— смущенно говорит фельдшер.— Не баня, конечна просто ванну устроим вам.

Все тогда поднимаются разом и идут в домик кооперации.

— А радио? — спрашивает Елена.

— К осени будет.

— А почта? — вдруг вспоминает Адорин.

— Ящик у входной двери. Найдете?

В кооперативе Семен Емельянович накрыт за примеркой исподников. Первой на него наталкивается Евгения и в смятении отступает перед его окриком:

— Дура какая! Что ж ты лезешь без голосу без никакого? Какой тебя фолклор приволок? Подождите, ребята.

Но все уже рядом и обступают его, восхищенно трогая за ноги и умиляясь товаром. Розовые исподники блестят на нем нервно, как на акробате.

У стойки начинается маскарад. Елене через головы, на руках, подают нечто с машинной кружевной отделкой и с голубенькой ленточкой, продернутой сквозь кружева.

— Не малы? Вы бы примерили... Елена Павловна, берите пример с Ключаренкова.

И вот по рукам растекаются рубашки, кальсоны, носки. Пышные подвязки танго с лихим розаном надолго привлекают внимание Ахундова, пока их не покупает Адорин.

— Зачем вам? Кому же здесь дарить?

— Я подарю Семену Емельяновичу.

— Отдайте мне их, пожалуйста,— говорит Евгения.— Ну, вот, голубчик, ради той простоты, о которой вы говорили. На что они вам?

Шоколад «Золотой ярлык» и папиросы «Моссельпром», конфекты, хинная вода — все оказывается очень нужным. Цивилизация рекомендуется очень мелочной розничной лавкой.

Они вышли из кооператива, таща за собой Ключаренкова и Ахундова. Ночь зеленым ливнем затопляет становище. Ее зеленые космы стекают с белых стен домиков, и зеленые лужи теней колеблются на песке перед ними. Головою взволнованной кобры глядит луна на огни аула.

Фельдшер, в самом новом белом халате в накидку, встречает гостей у стола. На нем легкий защитный френч, усыпанный коллекцией разнообразнейших значков и жетонов.

— Что это с вами случилось? — спрашивает Елена.— Откуда эти значки? Как генерал в орденах!

— Я считаю себя нисколько не хуже любого генерал-губернатора,— говорит фельдшер.— Садитесь, пожалуйста. Вот консервы, вот мед. Хотите сыру? Хозяйничайте, пожалуйста,— говорит он женщинам,— а я удовлетворю любопытство и расскажу о значках. Впрочем, вопрос не них, вопрос философский — об активизме. Раньше, в царское время, были медали. Выслужил время — получай, отличился — носи такую-то Анну. Теперь этого нет, да и не нужно нам раздражать человеческую гордость и самомнение, но как раньше грудь в орденах была позором, теперь грудь в значках пролетарских обществ есть положительный случай. Значки мои не означают, что я кого-то лучше, они упрекают тех, у кого их нет. Что за пассивность? Все имеют право на тот или иной жетон, вноси лишь взнос и веди работу, но не платят и пассивны. Поняли? За два года я прошел в девятнадцать обществ. Плачу взносы и работаю в каждом. Все больные мои то в Осоавиахиме, то в «Друг детей», и мы соревнуемся.

— А в «Автодоре»? — говорит Манасеин.

Фельдшер довольно указывает на значок.

— А в «Совтуристе»?

Тот вытягивает брови и говорит, оправдываясь:

— Вот беда моя, не могу завязать сношений с «Туристом». Но пустяки, пустяки, я добьюсь. Вот поеду в Ашхабад, привезу три новых значка. Я всех обгоню.

И он рассказывает, что два его друга, фельдшер и наркомземовский агент, соревнуются с ним, пытаясь занять первое место, но пока неудачно.

— Я себе специально радио поставил,— говорит он,— чтобы из первых рук всякие новости узнавать. Как что-нибудь учреждается, я сейчас же письмо. Во многих обществах я член номер первый.

И он делился под общий смех и одобрение затаенной мечтой:

— Очень мне хочется самому какое-нибудь общество основать.

— Давайте! — кричит Адорин.— Давайте создадим общество «Друзей пустыни». Фельдшер — замечательный малый.

Адорин, да вы же милый, милый, откуда вы такой взялись? — лепечет Елена.

И он вспоминает, что ей его предложение особенно дорого и приятно, и, радуясь, что он сделал его, и еще тому, что сделал непринужденно, без тайного умысла ей угодить, он вынимает блокнот и строчит протокол оргсобрания.

— Ну как, впору? — спрашивает Хилков.

Ключаренков глазами показывает, что да, и косится на женщин, но те в удивленной простоте глядят на него и сами кричат:

— И нам все впору. Замечательно! С вашей легкой руки.

«Проста, удивительно проста и этим-то в сущности только и хороша жизнь»,— думается Адорину.

— И все-таки что же такое пустыня? — говорит он.— Вот мы образовали новое общество, а что ж такое пустыня? Вот мы опустили письма в почтовый ящик, отсюда за триста верст первый цивилизованный город, но московские новости мы узнали, однако, через час или два, завтра ожидается караван из Хивы, а послезавтра — из Ашхабада. В полдень завтра будет парад комсомольцев — охотников за утильсырьем и общее собрание пайщиков кооператива Юсуп-кую. Тут прохождение новостей расписано, как прохождение поездов. Не грех вспомнить, что академик Ферсман несколько лет назад обнаружил, проходя Кара-Кумы, что в них живет не меньше ста тысяч людей. Двадцать три процента среди них сифилитики, столько же, если не больше, трахоматиков, они умирают здесь от чесотки, от малярии, но они сильнее, чем земледельцы, выносливее и даже более, чем они, красивы. Александр Платонович проводит тут искусственную реку, Максимов намерен пробуравить всю пустыню дырками колодцев, но третьего дня охотник Овез долго плакал у нашего костра оттого, что за день не убил ни одной змеи, а у него договор с Туркменгосторгом на триста штук, и уже получен аванс, и близок срок сдачи. Товарищ Итыбай-Госторг, погубитель кочевых кулаков, бурею носится по пескам, контрактуя шерсть и продавая мыло и бензин, и пустыня не мешает ему, она дает каракуль, она нужна. Что же такое пустыня? Ужас ли, бедствие или просто «условие жизни», к которому нам трудно привыкнуть и на которое жалуемся только мы, заезжие люди? Но вот, смотрите, вот существует амбулатория — и пустыни нет, комсомольцы собирают утильсырье — и пустыни нет. Завтра мы примем ванну и выслушаем концерт — где же пустыня? Вот эти пески и солнце? Но они нужны, чтобы завивать овечью шерсть и давать змей для экспорта.

Это же ерунда,— говорит Манасеин,— ну, поболтайте на радостях, поболтайте. Сегодня последний день нашей возни с наводнением. Сегодня напишем все донесения и двинем через пустыню на север — начнем работать над переводом Аму в Каспий.

Я хочу сказать,— говорит Адорин,— что здесь одного не хватает — темпов. Здесь люди живут медленно. Надо заставить их жить быстрее, вот и все. И сделать это можно только средствами самых технически идеальных сил. Что такое каналы или колодцы? Каналы в Египте не ускорили, не усложнили жизни феллаха ни на секунду. Вы знаете, я не верю сейчас строительствам, которым нужны десять или пятнадцать лет. Я не верю им именно здесь. Что такое пустыня? Область, где есть нужда в применении максимально эффектной энергии. Надо искать более быстрые темпы в наиболее совершенных машинах, наиболее рациональных проектах. Надо выдумывать каждый раз, когда приходится повторять даже самые простые движения.

Входят, занося на плечах ночь, милиционер Саят и техник Максимов.

6

На отряд Итыбая-Госторга возложил Манасеин задачи своего арьергарда — Итыбай снимал людей отовсюду, где они были, и подбирал заблудившихся. Куллук Ходжаев, отбив тело Февзи, вернулся в Ильджик за людским пополнением из мобилизованных горожан, и оставшийся один берегов озера Максимов примкнул к Итыбаю. Позднее им передали Илию, так как никто кроме Итыбая не смог бы вернее его уберечь и доставить.

Они шли рядом с потоком, пески звучно сосали воду, как черви в падали, шевелились в теплом иле безымянные семена и, набухнув, повсюду вылезали ростками. Вырванные в ауле деревья приподнимались с земли свежими побегами. Сытый мрачный запах тления стоял кругом. В опавшей воде гнили трупы людей и животных. Мухи, которых здесь никогда не было, ползали тучами по обильной пище, даже не взлетая перед человеком, а только неловко и недовольно подпрыгивая.

Пользуясь тем, что работы не было, Максимов записывал все свои наблюдения над водой и колодцами.

Старый глашатай рассказал о колодцах то, чего никто не заметил: что многие из них заброшены и зарыты своими хозяевами, и их не открывают политически, из боязни нарушить право чужой собственности и нажить врагов. Что есть колодцы, заваленные трупами басмачей, и колодцы с трупами красных, их обходят стороною, потому что могила не должна быть осквернена прикосновениями. И еще узнал Максимов, что в песках есть уважаемые мазары — могилы праведных людей,— и в тех долинах идут дожди чаще, чем по соседству, и что если бы было больше праведников — было бы больше воды.

Каждый встречный колодец Максимов исследовал и заносил себе в книжки, пятеро милиционеров помогали ему приводить воду в порядок с воодушевлением и энтузиазмом прямо непонятными.

— Если бы мне пришлось строить каналы, я бы набрал себе одних только милиционеров,— говорил Максимов Итыбаю.

В день сбора на Юсуп-кую отряд их насчитывал уже двенадцать человек, среди которых был охотник на змей Овез, базарный глашатай и трое сирот-подростков.

На короткой дневке Максимов сел за дневник, а глашатай подошел к Илие с почтительными и надоедливыми вопросами. Тема была одна — вода и погода.

— Отчего идет дождь, Илиа? — спрашивал старик.— Или нет, ты так мне скажи, почему там, где говорящая палка, дождь бывает чаще, чем там, где ее нет? Вот в Мооре поставили палку радио, и дождь стал итти каждую пятницу, а до того дождя не было... Ты ответь мне, Илиа.

Максимов писал очень важное — цифры потерь в наводнении, но перестал и вслушался.

Овез, охотник, подтвердил сказанное.

— У нас в Ашхабаде то же самое,— сказал он.— Как не было радио, было мало дождей.

Максимов бросил рапорт и сел за эту новую головоломку, уверенный, что найдет для всякого суеверия его простую физическую формулу. Он выписал сначала все априорные мысли, все физические предположения, все электромагнитные формулы, все проблематические суждения.

Итыбай торопил его продолжать путь, чтобы засветло успеть быть у Юсуп-кую, но Максимов медлил. Все были в сборе и ждали его одного. Итыбай ходил взад и вперед, качая головой в лад своим мыслям.

Он насчитывал гибель ста тысяч овец и двух тысяч людей. Пастбища залиты, колодцы тоже, стада сгрудились у холмов Чили, и, если не доставят кормов,— все, что уцелело от воды, подохнет с голоду. Вода его мало интересовала. Корм — вот что еще могло спасти стада. Через месяц настанут влажные ночи, нужда в воде будет ослаблена, но вот корм, корм... Он бы не посылал инженеров делать воду, а посылал бы сеять траву, которая живет на песках.

Через час он ушел вперед, чтобы, не заходя на Юсуп-кую, прямиком держать путь к холмам Чеммерли.

Максимов остался с милиционером у колодца. Двое суток лежал он на листе бумаги, расчерчивая ее с беспокойством и бешенством. Милиционер, бродяга по своей службе, повествовал ему о всех колодцах округа, о всех базарах, присовокупляя к описанию мест пересказ лучших событий, прошедших за последние годы.

Двое суток валялись они в мучительном творческом бодрствовании. Милиционер выдавал технику Кара-Кумы, а техник искал и комбинировал воодушевившие его формулы.

Он думал: дождь образуется, как известно, при охлаждении влажного нагретого воздуха, поднимающегося в верхние слои атмосферы. Чтобы столб воздуха подняло вверх, он должен быть легче окружающей его атмосферы. Достигнуть этого возможно согреванием воздуха водяными парами. Поднявшись вверх, влажный воздух путем охлаждения превращается в дождевые облака, и там, где нет восходящих потоков, там не образуется облаков и почти не бывает дождя.

Дожди охотно идут в океанах над подводными рифами, и мореплавателю висящее над океаном низкое дождевое облако является маяком, знаком опасного места. Воздух над рифами теплее, чем рядом, и обращается в восходящий поток, а от него собираются облака, и может быть дождь.

Он вспоминал искусственные сухопутные острова Дессонье — обширные обнаженные углубленные площадки от десяти до ста квадратных километров, окруженные кольцом растительности. В середине площадки башня в двадцать метров с шарообразной вершиной. Нагревшись у ее стен, воздух поднимается вверх и сгущается в облака.

В Кара-Кумах есть свои сухопутные острова, ложбинки такыров, окруженные кольцом песков, с травянистыми зарослями и с мазаром — могилой святого — вместо центральной башни. Глинобитные стены мазара теплы и греют собою окружающий воздух, и на такырах с мазарами часто идут дожди, что обычно приписывается небесным заботам святого. Опыт одиноких мазаров на кара-кумских такырах,— говорил он себе,— вот классика, вот образец излюбленной многими антики, опыт пустыни перекликается с последним словом технической мысли. Используем «святые» дожди. Это же просто и это эффектно.

— Я знаю, почему идет дождь возле старых мазаров, говорил он милиционеру.— Я буду делать такой дождь.

Тот смотрел на него угрюмо и уважительно. Вот уже двое суток они лежали на кошмах возле колодца в пустыне, как нищие или как прокаженные.

— Сегодня сделаешь дождь?— спрашивал милиционер.— Лучше, когда народ будет, тогда.— Он расхохотался, представив себе, как перепугаются люди.— Ты без меня не делай,— сказал он,— мы поедем с тобой на базар, и когда люди начнут торговать — сразу пустим дождь на них.

Он упал на спину и смеялся, брызгая слюной, пока не забыл, о чем смеялся.

Максимов собрал все свои записки и зашил их в подушку седла

Елена заснула под разговор страшно длинным и увлекательным сном.

Бывают такие женщины, таланты которых смешно выражаются в любви к данному месту или к данному образу жизни. Они могут быль влюблены в определенный город, в музей, в озеро, в свои улицы, где протекало их детство, и специальностью их тогда становится всю жизнь жить на этих улицах, любить озеро или музей и заставлять всех окружающих делать то же. Все остальное, что сопутствует взрослой жизни,— любовь, замужество, труд,— имеет цену тогда лишь, когда углубляет и совершенствует основную базу их жизни. Есть женщины, сосланные такими своими привязанностями в искусство, в быт, в разврат. Елена была сослана в пустыню, где она играла разнообразнейших героинь. Никто не мог понять, что ее удерживало в этой дикой глуши. По утрам у нее были большие и ясные глаза. Днем они суживались, никто не мог заглянуть в их покойную и просторную глубину. Руки ее всегда казались вялыми и ленивыми, но однажды она простерла их над костром, как ветки, и они закачались упруго и просто, будто плыть в воздухе было их естественной позой. Так же непостоянны ее лицо, фигура, походка, голос. Ноги ее некрасивы, но выразительны, а в походке, как в речи, заложена трогательная эмоциональность. Она вся говорила, всеми своими движениями, всем своим телом. Ненависть и нежность вызывали у нее одну и ту же судорогу в глазах, зато смех всегда был неожиданно разный. Казалось, что у нее несколько фигур и несколько голосов, которые она меняет, как платья, и что ее манера держаться страшно зависима от этого дежурного одеяния.

Когда Адорин, сняв обувь, на носках проходил в свой угол к уже расстеленным одеялам, он на ходу взглянул на Елену и успел увидать одни ее тонкие и блестящие руки, раскинутые поверх одеяла. Он даже остановился, но ничего не придумал и сейчас же ускорил шаги. Он не знал, совершенно не знал, как ему бросить свою любовь в эти ее беспомощно и доверчиво протянутые ладони.

Улегшись и погасив свет, Максимов тоже вспомнил о том, что ничего не рассказал Елене о старике глашатае, поющем декреты. Ему захотелось, чтобы она написала о старике своим писателям. Он приготовил ей для письма подробную запись, что именно и как поет глашатай.

Кто первый ввел этот замечательный жанр, было неясно. Старик говорит, что издавна существовали у них базарные надзиратели, дело которых — наблюдать за торгом, подбирать потерянный скот и забытые вещи, а также об'являть базарные правила. Петь декреты надумал он сам, прочтя о снижении ставок сельхозналога для членов колхозов, так как думал, что это хорошая базарная новость и что его обязанность ее распространить. А потом его приезжали слушать из исполкома и об'явили героем труда. Прежде чем об'являть декрет, он прочитывал его много раз, ища соответствующей мелодии. Его не смущали ни сухость языка, ни кропотливая мелочность цифр или наименований, потому что он научился строить сообщение так, что все большое выделял вперед, а все мелкое рассказывал постепенно между большим. Борода его, как бы вся из часовых пружин разных калибров, закрученная во все концы, приобрела торжественную и важную неподвижность, лишь крайние клочки ее вздрагивали легонько при пении. Походка стала вдумчивой и взор медленным, наперед все увидевшим и теперь только разглядывающим. Он проходил по базару, как древний первосвященник, и он никогда не рассказывал заранее, что будет об'явлено, потому что желающий слышать услышит новость не просто из уст в уста, но в громогласном и ответственном выступлении.

Максимов попробовал прошептать для себя какую-то деловую фразу, что-то пропеть, но стало ужасно смешно.

«Чорт ее, чистая опера, а говорят — устарело»,— и, уже больше ничего не успев придумать, уснул.

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

1

На пограничный пост Сеид-бек пришел человек по имени Нури, бывший милиционер в Халаче. Год тому назад он бежал с дядей своим в Афганистан, потому что служба в милиции его не устраивала, а карьера певца-бахши, которую он старался сделать, упорно не удавалась ему. В Герате дядя и племянник занялись многими ремеслами, но быстро оставили их, чтобы перейти на более доходное дело — добычу каракульчи.

Знакомый торговец дал им взаймы денег на покупку патронов, оружия и кое-чего для обзаведения, взяв с них засвидетельствованное ишаном обязательство вернуть стоимость взятого шкурками каракульчи.

— Но где нам достать эти шкурки, когда у нас нет ни одной овцы?— удивился Нури.

— Дурак тот, кто добывает каракульчу в своем стаде,— ответил ему дядя, и они вышли от торговца сразу разбогатевшими втрое против утреннего своего состояния.

Когда деньги были прожиты, дядя позвал Нури в гости к знакомому курбаши. По дороге он изложил ему суть дела.

Каракульча, мех искусственно выкинутого ягненка, ценится очень дорого по той причине, что матки гибнут от выкидышей. Поэтому издавна завелось добывать каракульчу от чужих маток, заглядывая ночами в соседние стада. Еще практичнее бывать не в стаде соседа, а ходить за рубеж, к туркменам.

— Вот собираются люди,— говорил дядя,— которые заняли много денег под каракульчу, идут, как мы сейчас, к знакомому курбаши и просят, чтобы он принял их — как это мы сейчас и сделаем — в свой отряд. Курбаши Искандер-бай — человек благородной семьи и храбрых действий. Восемнадцать раз водил он свои отряды на туркменскую сторону и всегда возвращался в полном здравии и благополучии с хорошим прибытком.

— Зачем же нам итти в Туркменистан, откуда мы недавно сбежали? — сказал Нури. — Нас поймают и будут судить. Я это дело отлично знаю.

— Мы проникнем в пограничные области, добудем сколько возможно каракульчи, вернемся сюда и откроем лавку, — сказал дядя.

У Искандер-бая было уже много просителей, когда вошли дядя с племянником.

— Вот опять идут какие-нибудь «купцы», — насмешливо встретил их курбаши. — И на кой шайтан вы мне нужны? Вам бы только каракульчу добывать, а сражаться против красных не очень-то вы охотники. С такими воинами и пропасть недолго.

Но все упрашивали его пространно, и он зачислил к себе большинство, возразив лишь только против нескольких отпетых старцев.

Вскоре они пошли на туркменскую сторону и вернулись с пустыми руками, так как встретили их там неласково и отбили с уроном. Искандер-бай ругался и не хотел итти второй раз с таким народом, который считает в бою расход патронов и если выстрелил больше нормы, то зевает винтовку за спину.

— Я не торговец! — кричал он, — я воин, я борюсь, как завещали нам имамы, с хулителями бога и слугами дьявола, я искореняю большевистские плевела, недостойный потомок халифов, а вы думаете только о заработках и деретесь, как старые бабы в хаммаме...

Но его опять упросили, и он второй раз вышел с отрядом за рубеж, к стадам у поста Сеид-бек.

— Ты не очень-то слушай его, — сказал дядя, — много он понимает! Больше двадцати пяти штук патронов не расходуй — и то в крайнем случае. За обойму овцу дают, имей в виду.

И ночью, когда подошли они к стадам близ Сеид-бека, охватили их с двух краев пограничники вместе с комсомольцами самоохраны и били до рассвета, прижимая к непроходимым горам.

Не дожидаясь окончания действий, Нури бросил винтовку и, обходя перестрелку, добрался до поста, где и рассказал с облегченным волнением всю историю своих мытарств.

2

Допрос был краток. Комвзвода Чвялев[1], прослушав историю милиционера Нури, записал себе в книжку. «Продумать экономику басмаческой храбрости». Несколькими часами позже его с двенадцатью всадниками при одном легком пулемете бросили на разведку в сторону засохшей речки. Путь на конях туда — три часа, и в седле продумал комвзвода Чвялев всю экономику вражеской храбрости, сделав категорический вывод:

«Не могут выдерживать длинного боя, стервы. Надо первому вызывать их на бой и вцепляться в стервоз, покуда душа из их вон. Держать их, сукиных детей, надо под огнем, да подольше. Убыток им надо делать, ядри их Аллах!»

Из-за высохшей речки чобаны донесли, что банда около двухсот человек держит курс от границы в нашу пустыню. Комвзвода послал на пост двоих с сообщением,— до поста оказалось не менее сорока верст,— а сам-одиннадцать, при пулемете, занял крепкий бархан. Вызывая убыток, дрался он три часа. Пулемет стал, раненые лошади, вырвавшись от коноводов, стонали в пустыне. В раны красноармейцев забивался колючий песок, встречный ветер кружил над местом боя, приготовляя пески для свежей братской могилы. Чвялев дрался четыре часа, и на пятый час боя курбаши снял свой отряд и повел его в обратный путь за рубеж.

Сам-шесть Чвялев пересек ему путь, и банда рассыпалась на отдельные горсти и исчезла среди барханов.

Когда он вернулся к месту сражения, начальник участка с отрядом помощи подбирал раненых.

— Я вам, товарищ командир взвода, даю десять суток допреж всего, а после десяти — поговорим. — И прибавил: — За неуместную вашу храбрость, которую вы совершенно зря из себя корчите.

По пути на пост он еще сказал ему несколько раз:

— Нам такие замашки никак не годятся. Что вы, товарищ комвзвода, Скобелёв, что ли? Ну побили, ну отогнали, ну и что? А подожди бы нас, окружили бы здорово и всех взяли бы, как в аптеке.

С поста донесли о происшедшем в штаб, и получился приказ: комвзвода Чвялева со всем барахлом — в штаб отряда.

[1] Сейчас в Москве, хотел было учиться, но возвращается в Азию. Просил быть у него в гостях.

Наутро изготовил Чвялев трех коней — себе, жене и коноводу, положил барахлишко в переметные сумки, за седла, и, не попрощавшись ни с кем, отбыл.

До штаба шло двадцать пять глухих километров. В середине пути коновод крикнул:

— Смотрите, матерь моя несчастная, басмачи нам дорогу режут!

Смотрят — действительно, едут десять человек в туркменских халатах, на головах чалмы, за спинами винтовки с рогатинами, рассыпались цепью и норовят забрать в кольцо трех военных.

— Что это они из нас садистов каких-то строют, — сказал Чвялев, — как будто мы дети или кто. Из-за их, дикобразов, я поста лишился и звание загубил. А ну! — крикнул он, — заходи тремя колоннами, я — в лоб, ты, Хилипп — слева, а ты, Валечка, справа залетай — и рубайте их, рубайте без всяких сомнений.

Крикнули «ура» и пошли тремя колоннами в атаку, девятерых изрубили, а десятый, валясь с коня, на перерубленном седле выскочил из-под самых рук и, отстреливаясь из пистолета, пропал за барханами. Чвялев за ним, но споткнулся о пулю и упал с коня.

Его ранило в грудь навылет.

— Санитарно как будто? — спросил Чвялев жену.

Она спустила нижнюю юбку и перевязала ею рану.

— Я вот тебе покажу, дьяволу,— ответила она,— цудовища проклятая, какой ненасытный жеребец! Вот приедем, я тебя прямо в холодную отвезу. Берите, скажу, своего ненаглядного, цацкайтесь с ним, а у меня сил больше нет.

Приехали они в штаб, сдали командира в госпиталь, а сами пошли с ладом.

— В полном смысле садист, — сказала в штабе жена, заплакала и забила себя руками по груди.— Ну, до чего храбрый, скажите на милость, прямо жить с ним нельзя, всю мою жизнь загубил человек. Угомоните его куда-нибудь в арестантские роты или в тихий обоз какой. Ведь через его я родить не могу, не берется во мне зросток, от беспокойства скидываю и скидываю, а какие мои могут быть годы, сами судите!

— Ладно,— сказал начальник, хозяйственно оглядев ее,— мы вашего товарища упекем куда-либо в спокойное место.

А Чвялев лежал в госпитале и думал об экономике храбрости и о том, как будет он отвертываться перед начальством, что говорить и что отвечать. И сколько ни думал он, никак своей вины не находил, а экономика храбрости вполне казалась ему резонной штукой. Он пытался сравнить себя с басмачом и не мог. У него не было никакой экономики, он не предполагал никаких прибылей и убытков, и то, что им двигало в бою, было другое, не сравнимое с басмаческой храбростью и само по себе никаких границ не имеющее.

Через неделю он мог сидеть, через другую — ходить полегоньку и получил два месяца Кисловодска и лечебную книжку № 7093.

В это время с ним встретился следователь Власов и набросал в блокот с личных слов командира Чвялева эту историю.

До чего, поверишь, год счастливый, — сказал ему Чвялев, прощаясь. — Ах, и до чего же счастливый! Во-первых, пост оставлен за мною, во-вторых, Валька смирилась, развод аннулировала, а в-третьих, — он вынул книжку № 7093, — на целых два месяца в Кисловодск! А там, говорят, бабья, что басмачей, и безо всякой они там экономики храбрости. Ох, и годок!..

В той же палате, где Чвялев, лежали раненые — возвращенец Нури [1] и брат Искандер-бая, басмач Беги [1] с ампутированной рукой, тот десятый, избежавший чвялевской сабли.

Каждое утро после обхода доктора Чвялев спрашивал басмача:

— Гниешь, дура? Каракульча бар? То-то! Как теперь свой убыток покроешь, а?.. Руки-то ведь нет, а?.. Да и мне грудь испортил, паскуда...

В ответ на его слова басмач твердо протягивал здоровую руку и тихо, одним движением бровей, просил сахару. Чвялев давал ему сахару и вылезал посидеть на воздух. Скоро он стал замечать, что у него пропадают вещи, — то ложка Валькиного приданого, то носки, то серебряный полтинник, и просто, с добродушной уверенностью он обыскал койку и вещи Беги.

— Воруешь? — говорил он, роясь в ящиках ночного столика, под подушкой, под тюфяком.— А ты того не знаешь, что я пограничник и на всякую вещь глаз имею?.. Это что у тебя, евангелие? — спрашивал он, находя коран.— Брось ее от себя, заразу!

Беги, махая оставшейся рукой, тупо вертелся возле командира, охая, негодуя и растерянно на всех оглядываясь.

— А это чьи носки?.. У кого украл?.. Ах гад ты, гад несчастный, рази это можно, чтобы пиалу в грязные штаны заворачивать? Поставь пиалу на столик, не бойсь.

Он доставал из-под тюфячка пустые склянки, пучки шпагата, куски проволоки, спички, кнопки, использованные бинты и находил свою ложку или свой полтинник. Назавтра он обнаруживал у себя новую пропажу и снова устраивал обыск.

Палата с чувством невероятнейшего азарта следила за их соревнованием. Как ни совершенствовался басмач, Чвялев обязательно откапывал свои вещи, лазая в печь, шаря в вентиляторах, обследуя уборную. Ежедневные обыски стали правилом, на них собирались все жильцы палаты и персонал. Чвялев не пропускал их, почти обязательные, как врачебные процедуры.

— Зачем он крадет, раз его ловят? — спросил следователь.

И Нури сказал свое мнение:

— Жизнь его уходит, жаль ему своей жизни, вот он все и собирает будто для дома, играется. А у пленного курбаши жизни нет.

На эти слова Нури обернулся комвзвода Чвялев и, смутившись, спросил:

— Да ты что, всерьез? Ужли он от тоски это, а? Страдает по жизни — скажи ты!

И сейчас же бросил обыск, прошел к своей койке, лег на нее и сказал с доброю горечью:

— А и вправду, чего это я из-за какого-то дерма, из-за чайной ложки весь его душевный устав нарушал! Ты бы мне это раньше сказал, дурной!

Беги никак не ожидал такого исхода дела и стоял у своей койки, растерянно и виновато улыбаясь. Он не понимал, что игра с ним навсегда кончена, и думал, что командир просто сейчас не смог разыскать своей вещи и лег от досады на неудачу.

Потоптавшись у койки, Беги полез под кровать соседа, достал плевательницу, накренил ее набок и, прижав коленкой к полу, долго вынимал изнутри запрятанную им ложку. Вынув, подошел к командиру и с нескрываемым удовольствием подал ему. Комвзвода закрыл глаза и как-то растерянно произнес:

— Эх, чорт его!..

Беги стоял перед Чвялевым, и рука его, похожая на длинную старую воблу, легонько вздрагивала. Он оглянулся в сторону Нури. По его лицу

[1] Судьба его неизвестна.

пробежало недоумение. С чувством обиды, страха, отчаяния он отступил, не отошел, а отступил к себе. Только теперь он понял, что его отвергли и им не интересуются. Ложка выпала из его руки и со звоном, вызвавшим ответственную тишину, упала на пол. Он сел, потом лег на койку, потом укрыл голову полой халата.

— Придется тебе доигрывать, товарищ,— сказал санитар. — Вон как зажурили, заобидели человека, а много ли доиграть... дня четыре-пять каких-либо ему осталось.

— Украдь ты теперь у него ложку,— сказал фельдшер,— вот обрадуется, поди.

Так и сделали. Пока Беги лежал, укрывшись халатом, Чвялев подобрал ложку и спрятал ее, подвесив за шнурок к оконной занавеске.

Беги встал на звонок к ужину, медленно сбросил с лица халат и долгим, обнаженным от всякой надежды взглядом провел по лицам своих соседей. Глаза его за этот час тоски жутко откинулись внутрь орбит и выглядывали из них, как звери из нор. Но он взглянул на пол и скорее понял, чем увидел, что ложки не стало. Он хотел схватиться за голову обеими руками, крякнул от боли в зашитом плече и захохотал. Затопав ногами, он откинулся на спину и болтал всем туловищем из стороны в сторону. Он понял, что его обманули, очень хитро обманули, и он остался в дураках, а теперь его черед искать ложку. Ну, до чего хитро обманули, просто приятно, что так обманули!..

При общем радостном смехе он стал обходить палату, обдумывая, куда бы мог командир спрятать от него ложку.

3

«Я подсел к Нури,— рассказывал потом следователь Власов,— и стал расспрашивать его о басмачах в пустыне.

— Я, как и он, ожидал расстрела,— сказал Нури,— но мне дали жизнь, и я знаю, что делать с ней. Курбаши Магзум Бек-Темир разгромил кочевки ходжакалинцев и ищет в песках отряд Делибая. Завтра я встану, возьму бумагу и поеду с красноармейцами навстречу Магзуму.

С прекрасной живой осведомленностью он рассказал историю мытарства манасеинской партии, все события наводнения, поимку хасаптана Илии, закончив свое сообщение тем, что инженер спешит к холмам Чеммерли, а Магзум пересекает ему дорогу, и что главное, чего не знает Магзум, это сколько у инженера отрядов — один или два, и если два, то с каким из них идет Илиа. Курбаши боится хасаптана и хочет предать его смерти, но ему пока неизвестно, выдал ли Илиа властям его жену или нет. Пока он не получит донесения из родного аула, он не предпримет решительных шагов.

— Откуда ты знаешь это все? — спросил я и понял без ответа, что новости в этих краях переходят границы свободно, как тучи.

Рассказ Нури извлек из моей памяти вечер в Ильджике, Елену, тревогу рассвета, после которой я оказался в почти опустевшем ауле и уехал смотреть вещи более спокойные и нужные, чем наводнение.

Я записал все услышанное и решил держать связь с Нури, чтобы отправиться вместе с ним в пустыню на выручку манасеинского отряда. Я написал о встрече с Нури несколько писем и в них опять повторил, что собираюсь ехать к отряду и чтобы меня не ждали в скором времени в Ашхабад. Я не знал того, что в городе имя мое уже связывали с инженерским отрядом. Итыбай-Госторг, взяв письмо Ключаренкова, сдал его в аулсовет Ильджика. Там, прочтя, его переслали помпрокурору, который, усмотрев в письме элемент жалобы на бюрократизм и перечень деловых просьб, срочно пере-

слал его мне со своим заключением, что хоть письмо адресовано и не нам, но правильно будет произвести следствие, а потом уже передать письмо приезжему гостю,— и началось дело, в котором сплетались два имени — Ключаренкова и мое, хотя мы не знали друг друга.

Нури, однако, не был отпущен в экспедицию против Магзума. Как только нога его стала лучше, его отправили в сопровождении нескольких комсомольцев в родной аул, чтобы там судить перед односельчанами и общественно выслушать откровенные признания и раскаяние так, чтобы они принесли пользу [1].

С от'ездом Нури связь с событиями в пустыне для меня прекратилась, и я поспешил в Ашхабад, приехав туда нежданным, что многим показалось не лишенным особых расчетов.

Имя мое ходило по городу в связи с письмами Ключаренкова, получившими одобрение и апробицию, и то, что я работал над ними, создавало вокруг меня атмосферу моей особой деловой близости к событиям в пустыне».

4

На другой день приезда писателей из колхозов в редакцию газеты зашел за одним из них Власов.

— Я к вам ровно на три минуты,— сказал он писателю.— Скажите мне, когда вы в последний раз видели Елену Павловну Иловайскую?

— Видел всего однажды, двадцатого мая.

— А товарища Ключаренкова, бригадира?

— Ни разу. И даже имя впервые слышу.

— Вот так так! А ведь он вам письмо писал, знаете? Письмо попало в прокуратуру, там уверены, что это вы его направили с этим письмом. Тут такие дела заварились... А вы значит ни разу его и не видали?!

— Что с экспедицией?

— А то, что ее взял в плен курбаши Магзум. Так бы, пожалуй, скоро и не узнали, да помогла ваша книжка, та, что вы с надписью подарили Иловайской. Книгу нашли у колодца с припиской товарища Ключаренкова: «Погибаем одиннадцатого июня», доставили книжку в Ильджик, а там сразу догадались, кому эта книжка надписана.

Следователь помялся и сказал еще об'ясняюще:

— Хотя по фамилии вы гражданку не называли, а действовали интимно сокращенным именем... Верно? Ну вот, а я было думал, что вы, может, знаете что-нибудь более моего.

— Где они сейчас?

— Трудно сказать, товарищ. Как бы не угробил их всех Магзум чего доброго — вот что неприятно, а там где бы ни были — найдутся.

5

Третий день в песках без воды. Близилась ночь, сухая и душная, как дым. Кони стали. Верблюды еще перебирали ногами, но на глазах теряли силы.

Но вот Нефес, ехавший сложа ноги калачиком на седле, опустил одну, нащупал стремя со шпорой и ткнул им лошадь в бок,— она качнулась, но не двинулась с места и заржала, вбирая в себя воздух.

[1] Взволновавшись до крайности, он свою покаянную речь на суде не произнес, а пропел. И отсюда началось его счастье: потом много раз приезжали к нему с приглашением приехать на праздник, спеть свой рассказ. Он пел его четыре часа. В этом жанре героической эпопеи он оказался единственным и ныне выступает повсюду.

Нефес соскочил с седла, поискал темными глазами и сказал:

— Есть вода!

Все пали с седел. Первыми пили, как положено в пустыне, лошади, верблюды, потом проводник Нефес, за ним старший — Манасеин, и после него остальные, и самой последней пила Елена.

Началась ночь. При огне все сейчас же заснули. Сновидения у всех оказались чудовищно одинаковыми — всем снились базары, грохот в мастерских медной посуды, говор многих людей. Они спали, толкаясь своими бредами. Крик одного встревал в виденья другого. Проснулись они также все вместе в легком испуге и удивлении — солнечные пятна ползли по ним тонкими ящерицами. Стояло утро, и у воды Нефес с курчавой иодно-серой бородой тарахтел ведром и через плечо разговаривал с Итыбаем-Госторгом. Мокрый от бега, костлявый скакун Итыбая терся головой о спину хозяина.

Пустыня поднимала пески и расстилала их на солнце. Догоняя ночь, шакал промчался к западу, где все еще было сине, серо, влажно, и, похоже на пронзительный ветер, издалека засвистели гады.

Все они лежали на быстро теплеющем песке, не двигаясь, не оборачиваясь. Потом жар стал поднимать их, как закипающее молоко, и стало страшно, что он вдруг отхлынет и они разобьются, упав на песок.

Так, в полубреду, прошло много времени, и легкая дрожь, защекотав в груди, вернула им слабое сознание. Манасеин поднялся на локте. Солнце еще виднелось над горизонтом, но громадный вал песчаной пыли, заходивший со всех концов пустыни, уже заметал слабеющие лучи. Было так, будто пустыня занесла вверх свои края и пыталась завязать их узлом, как кулек, над крохотным колодцем и людьми.

— Пора пить чай,— сказал Нефес.— Вставайте!

Но сил не было встать. Итыбай-Госторг поднимал ослабевших и усаживал, как кукол, подоткнув им под спины мешки и вещи.

Только Итыбай, Нефес и Манасеин бодрствовали, но из последних сил. Итыбай шутил и дребезжаще пел песни. Он расспрашивал Евгению:

— Что приехали делать? У нас будете жить?

— Собирать старые песни приехала.

— Платить надо, даром не соберешь.

— Если надо, немного могу.

— А что потом будете делать с песнями?

Она об'ясняла ему, и старик недоверчиво качал головой. Выпив пиалу чая, он сказал:

— Давайте заказ Госторгу, мне, я соберу. Наш Госторг все может сделать. Я сам песни знаю, я вот тоже учет делаю, сколько ребят родится и сколько помирает, также про скот, я вам и песни могу собрать. Недорого посчитаю.

— Так нельзя,— рассмеялась Евгения,— без нас не справишься, да и некогда будет тебе.

— Хай,— сказал старик.— Только смотри, дороже станет.— И, помолчав, добавил:— Ну, если не покупаешь ничего, значит называешься гостьей.

Манасеин сказал Нефесу:

— Не люблю я русских. И себя за то, что я русский, не люблю, брат. Родиться бы мне туркменом, кочевал бы я по пустыне, собрал бы шайку, как Магзум, и ушел строить каналы. Разбоем построил бы их, честное слово.

— Возьми себе женщину старшего техника и иди жить в Кара-Кум.

— Я и так пойду. А русские мне до-смерти надоели. Что мы все? Мы воды не чувствуем, как вы, пупком. Страшно мне иногда бывает, что никому

не понятен мой план. Вот думаю, считаю, все хорошо, а страх берет другой раз: все может погибнуть, оттого что я русский, что душа у меня не здешняя, чужая вам.

— Тебя, Делибай, мы все за туркмена считаем,— сказал Нефес.— Если что надо строить — строй! Возьми женщину старшего техника и кочуй с ней.

— Русской мне не надо. Вот туркменку бы взял, да, но ваши меня Делибаем зовут, я для них человек сумасшедший, мало понятный. Я тебя за что люблю, Нефес? За то, что ты русских не любишь. Ты любишь инженеров, но не любишь русских, Нефес, и это правильно. Вот Итыбай тех любит, кто покупает у него в Госторге, а кто не покупает — тот гость, человек, с которым надо возиться неизвестно зачем.

Нефес смотрел на него не мигая.

— Погоди, вырастут у вас свои инженеры, ты будешь их водить по пустыне и увидишь, как станет их сводить судорогой от одного только вида бессмысленно впадающей в ненужное море Аму-Дарьи, как будут они выть от неудач и джигитовать при успехах. Пока не будет у вас своих инженеров, едва ли, Нефес, построим мы канал!

Еще до того как родиться ему, бытие уже определило границы его возможностей и отвело ему удали, озорства, смелости и обреченности, сколько было свободных в том краю и среди тех людей, где началась его жизнь.

Нефес отвел от него свои глаза и стал слушать воздух.

— Едут конные,— сказал он, и вместе с его словами пуля, вынырнув из темноты, взорвалась в костре и высоко подбросила угли горящим фонтаном. Вслед за ней другая, распоров копну песка, завизжала и запылила поспешно.

— Тушить костры! — крикнул Манасеин.

Нефес на четвереньках пополз к колодцу. Забились и застонали верблюды. Припадая на ногу, пробежал Ключаренков, волоча за собой бердану.

— Итыбай-Госторг! — крикнул кто-то.

Адорин обернулся, но старика уже не было. Елена с Евгенией возились у вещей, нагромождая их в кучи. Началась частая стрельба без смысла. Адорин подбежал к женщинам.

— Что делать? — спросил он.

— Идите к верблюдам! — крикнула, не оборачиваясь, Елена.— Там никого нет.

Он подбежал к верблюдам и увидел, что их поднимает ударами приклада низенький человек в халате, опоясанном патронташем. Он рванул его за плечо, чтобы узнать — свой ли, и голова брызнула во все стороны, как лопнувший арбуз. Боль была настолько сильной, что уже не ощущалась как боль, и он крикнул от смеха, валясь на песок.

6

Узнав, что хасаптан Илиа выдал план его похода, Магзум Бек-Темир быстро изменил направление своего рейда и взял круто на запад, оставив вправо от себя старый, еще сохранившийся от Тимура колодезный шлях, и по безводной полосе пошел на север. Он еще не представлял себе достаточно ясно, что надлежит ему теперь предпринять, и не мог ничего решить, не зная, как развернется за ним погоня. Осторожности ради он ушел с караванной дороги и стал пересекать мертвые пески, чтобы незамеченным выйти севернее бугров Чеммерли.

Об инженерах он, конечно, не думал. Все его мысли занял хасаптан Илиа, дела которого заслуживали смерти, и думать об этом было тяжело и сложно.

Не сомневаясь раньше в Илие, Магзум в пути вел речь, что он идет по зову праведного слепца Илии, видевшего тяжелые для народа звезды. Люди Магзума распространяли об Илие благочестивые и героические истории, называя его борцом,— палаваном в идеальном смысле,— и утверждая, что он сидел в свое время на цепи за борьбу в пользу родного народа против царя. Так Магзум шел к своему святому, произнося от его имени послания и предрекая события жизни. Он собирал Илие известность и делал ему житие истинного святого. Он раздавал по аулам мелкие вещи, якобы принадлежавшие Илие, и показывал простой пастушеский посох, присланный ему палаваном как символ твердого пути, со словами: «Пусть приведет он тебя к истине, как привел меня».

Посох этот вез в особом чехле, как знамя, молодой парень Муса [1].

Глядя на его светящееся почтением и страхом лицо, Магзум скрипел зубами и с наслаждением думал, как он обломает святой костыль о спину дурака Илии.

Но Муса, хоть и знал, что хасаптан Илиа отвернулся от курбаши и предал его дело, не осуждал Илию, а все сваливал на судьбу. Он вез посох слепого и не видел на себе никакой вины, не боялся за жизнь и полагался на то, что все об'яснится к лучшему. Сухое и легкое дерево посоха нести ему было радостно, он нес его, как дерево мудрости и простоты, дающее счастье.

Отряд шел невесело. Колодцы были оставлены в стороне, и перед ними шли непосещаемые путниками места. С вечера запахло, однако, водою. Ее нежный и тонкй запах пьянил обояние и путал все мысли, как анаша.

Магзум торопил людей, и, бросив поводья, они отдались коням, чтобы, идя на запах воды, быстрее достичь отдыха.

Так наткнулись они на костры манасеинского отряда.

ЧАСТЬ ПЯТАЯ

1

Магзум велел привести Нефеса.

— Где хасаптан Илиа? — гневно спросил он.— Что вы с ним сделали со святым человеком?

— Его жизнь благополучна, Магзум,— ответил Нефес.— Он под наблюдением Итыбая-Госторга, человека, которого все знают как честного и прямого.

— Где он?

— Он в безопасности.

— Ты меня знаешь, Нефес,— сказал Магзум.— Еще когда был царь и ты водил инженеров по пустыне, мы с тобою были друзьями. Помнишь, мы ходили вместе до самого моря у Карабугаза и охраняли инженеров от помудских джигитов, как своих детей? Помнишь, я застрелил чобана за то, что он указал инженерам дурную дорогу? Разве я плохой был стражник? А два года назад кто спас Делибая, которого взяли наши молодцы на правобережьи Аму, как не я? Ты видишь, я не враг инженеров, я враг — некоторых. Делибай вызвал смертную воду, и я пришел судить его. Но Делибай

[1] Был судим за басмачество, освобожден по молодости лет и работает милиционером в пустыне.

еще украл слепца Илию и именем его и вымышленными его словами смущает наших людей, и я должен вернуть Илию. Если станет так, как я говорю,— идите спокойно. Если нет — я возьму жизнь за жизнь. Думай!

Утром на пленных надели мешки, посадили их на лошадей и повезли неизвестно куда. То обстоятельство, что Илии не было среди взятых в плен, пугало Магзума. Этот проклятый торгаш Итыбай — хитрый старик и пески знает.

Поэтому Магзум решил продолжать начатый путь на север, отобрал лучших коней отряда, посадил на них пленных, а верблюдов отдал погонщикам и велел итти им куда глаза глядят. Пленных у него было девять человек, и он имел сведения, что с Итыбаем находятся еще пятеро и что один из техников, взятых в плен, из итыбаевской партии.

Он вызвал Максимова.

— Где твой отряд? — спросил он.

— Не знаю,— ответил тот,— я тут впервые и без карты не разбираюсь, а все карты потеряны.

— Кто у тебя?

Максимов назвал Итыбая, Илию, змеелова Овеза, глашатая и кухарку. Все были люди, умеющие много ходить и терпеть солнце. Тогда, еще более укрепляясь в своей прежней мысли, Магзум поднял отряд и пошел на север, норовя достичь плато Усть-Урта и скрыться между Аралом и Каспием, среди каракалпаков. Путь занимал сто десять часов чистого хода, или тринадцать-четырнадцать дней. Магзум велел итти крайней скоростью.

С ночи катастрофы пленные еще не виделись. Они были разделены по одному и попарно. Известно лишь было, что Адорин тяжело ранен в голову, а Манасеин едет, закинув на плечо разбитую руку, и мычит от страшной боли.

Басмачи шли от рассвета до полдня и после получасовой остановки ради коней продолжали путь до глубокой ночи. Людям не выдавалось воды, ее по чашке выдали лошадям, с которых не унимаясь падал пот, тяжелый и липкий, как кровь.

2

— Что это? — спросила Елена. Она кружилась и реяла в оранжевых и синих огнях.— Что?..

Ее подняли и повели к Магзуму.

— Ты женщина,— сказал он,— и к тебе, наверно, есть ласка. Надо найти воду, скажи своим инженерам. Я велю снять с вас мешки и посажу всех вместе. Итти больше нельзя, кругом смерть. Иди, скажи.

3

О Хилкове не вспомнили до утра. Потом, расспросив басмачей и порывшись в картинах ночного испуга, дружно установили, что он погиб. Не жалость, а раздраженье вызвал его быстрый уход от жизни, будто он нарочно прокрался к смерти. Всем стало обидно, что теперь уже Хилкова не продумаешь до конца, он исчез, и стало жалко истраченных на него мыслей, которые медленно строили страшный и печальный образ.

Он был убит в самом начале тревоги, никто не помнил теперь его последнего лица, никто не знал, обменялся ли он с землею окончательным словом или сострил по-французски, или, может быть, выкрикнул любимые им простые слова.

Он должен был умереть по-другому, разрешив, а не прервав свою жизнь. Смерть его об'яснила бы больше, чем жизнь, но он не умер, а случайно погиб.

Пусть и останется в повести пространная запись о нем, рассчитанная на дальнейшие дополнения, которые так и не создались благодаря его неожиданной смерти.

4

— Прикажи рыть на этом месте,— сказал Максимов.

Четверо басмачей взялись за работу, рыли ножами. Лошади через спины работающих уныло заглядывали в сухую и жаркую яму.

Пленные лежали поодаль.

— Ройте, ройте,— говорил Манасеин.— Красный инженер даст вам воду, пейте, чтобы лучше грабить и убивать.

— Молчите, Манасеин. Я рою, потому что рано еще умирать. Я придумал конструкцию для искусственного дождевания. Мне надо построить ее.

— Передоверьте Магзуму,— сказал Манасеин.— Он выстроит.

— Смотрите, температура песка резко падает. Быстрее, быстрее! — кричал Максимов работающим.— Не надо демагогии,— обращался он к Манасеину.— Хотите обвинить меня в блоке с басмачами, во вредительстве? Слабо!

Потом он говорил Адорину таинственно на ухо:

— При устройстве на высокой башне передатчика в три киловатта, излучающего электромагнитные колебания низкой частоты, происходит усиленная ионизация атмосферы. При отрицательном заряде земли положительные ионы полностью поглощаются землей. Отрицательные ионы воздуха восходят к верхним слоям атмосферы, где частицы воздуха заряжены положительно. Восходящие вверх ионы произведут поляризацию положительно заряженных молекул в воздухе и осаждение влаги из воздуха. Вот в чем секрет «дождевых» антенн. Понятно? Для всех Кара-Кумов понадобиться десять-двенадцать установок. Мне надо проверить расчеты, вы понимаете? Ведь надо же? Я готов любой ценой купить сейчас жизнь. Пусть расстреляют, пусть что угодно, но после.

Пустыня, жар, песок, оранжевый качающийся воздух.

5

— Пейте!

— Нет. Мы не будем,— говорят пленные.

Один за другим сипло и жалко загораются маленькие костры. Муса начинает песню, слышанную в песках. Это новая песня, ее никто не знает, он поет ее несколько раз. Когда он кончает и все хвалят его, песнь вдруг сама начинается в стороне, сама, без Мусы. Все вскакивают в страшном испуге.

В моем саду, где много птиц, ты лучшей птицею была,
Я дорогие розы насадил, чтоб ты клевала их,
Я воду чистую, такой и я не пил, провел тебе в траве зеленой
И ночь твою стерег без сна, с ружьем в руках,—
Все потому,
Что в том саду, где много птиц, ты лучшей птицею была.

На черном камне черный волос
Заметить мог мой взгляд,
Но почему ж не видел он, но почему ж не мог заметить,
Как ты покинула мой сад, оставив склеванными розы и мутной воду арыка?
В моем саду, где много птиц, ты лучшей птицею была.
Но ты хотела — знаю я — быть лучшей над садами мира.

— Ах, шайтан ее возьми, это русская поет женщина!

Евгения повторяет афганскую песню легкими и сухими, как старый туйдук, губами.

То, что фокусом считал Манасеин, чудом посчитали Магзумовы люди и тут же стали говорить со своим курбаши о судьбе русских.

6

Александр Платонович захотел пить и понял, что надвигается солнце. Он открыл глаза, как железные шторы, и сразу услышал крики Ахундова.

— Ушли!— кричал он.— Басмачи ушли! Давайте пить воду, они ушли.

Максимова не было. Адорина подвели и положили у самой воды. В сером воздухе пустыни рана его затягивалась торопливым узлом. Басмачи бросили пленных из-за безводья, они экономили воду и захватили с собою лишь техника, который находил подземную влагу.

Теперь, когда басмачей не было, все долго пили, отдыхали и пили еще, и только потом спохватились о времени.

В тот день они прошли на оставленных конях до новой стоянки Магзума.

Но воды здесь было уже меньше, и люди получили половину того, что хотели.

Наутро пошли дальше, и никто не спросил, куда и зачем они уходят на север за басмачами.

И к вечеру — была яма. Нефес соскочил и сказал:

— Максимов.

Воды не было, яма была суха, и еще тепел местами, еще мягок труп Максимова. Глаза его пытались выкарабкаться из орбит, чтобы не умереть вместе с телом.

— Отпустить лошадей,— приказал Манасеин.

Тут впервые он понял нелепость — зачем же итти им вслед басмачам, когда помощь должна быть с юга? Зачем они шли на север? Он даже вздрогнул от неясного и позорного предположения.

— Разогнать коней! — еще раз сказал он.

Кони не уходили и легли, как собаки, вокруг людей.

7

Собралась низкая и серая туча. Лошади поднялись на ноги. Туча шла, сгибаясь под собственной тяжестью, но вознеслась кверху, порвалась и, посветлев, рассосалась в небе.

8

Самолет взлетал боком и проверял воздух. Шли два столба пыли. Он взлетел над одним. На конях шли люди, иногда они останавливались и рыли землю. Другой столб шел не опадая, как гибкая мачта зарывшегося в волнах корабля. Второй столб догонял первый, но люди второго не знали об этом. Самолет опустился ниже и, облетая песчаные горки, вздрогнул, подпрыгнув на крыльях,— в ложбине сбоку, между двух столбов, были третьи люди — они лежали.

Самолет поднялся ввысь, уходя от песка пустыни, высокой змеей поднимавшегося ему вслед. Столбы качались, нагоняя один другой, и отходили в сторону от третьих людей. Небо, налитое дождем, стремительно оседало к земле. Столбы бежали теперь, пригнувшись к пескам...

Манасеин сказал:

— Елена, разденьтесь пожалуйста.

— Вы с ума сошли!— крикнула та, краснея от неожиданности пред'явленных ей этими словами воспоминаний, не позволяя досказать ему фразы и заглушая его.— Этого никогда не было!

— Сейчас пойдет дождь,— повторил Манасеин.— На вас юбка и еще что-нибудь, растяните ее под дождем, вы и товарищ Осипова.

— Это ложь! Никто этого не знает! — крикнула Елена.

— Возьмите в руки вашу юбку и держите ее за края под дождем.

— Господи, ну, конечно,— ответила она, всхлипнув, и, жмуря глаза, стала снимать с себя юбку.

Потом она и Евгения — похоже было на сон, на мираж, на то, что никогда не повторяется в жизни,— потом они стояли голые и были похожи на женщин мифической древности, переводимых из рабынь в божества.

Они были очень смешны и трогательны. Простота их изможденных и грязных тел вызывала слезы, которыми плачут от радости.

9

Магзум принял свою судьбу быстро и умело, слез с коня, упал за куст тамариска и умер, стреляя по красноармейским коням пулями, липкими и горячими от его крови.

10

На север пустыня катилась под уклон все ниже и ниже. Там, впереди, на севере разверзалась Саракамышская котловина. Она вбирала в себя все горизонты, пески спускались к ней хаотической осыпью.

Командир сказал:

— Ну, будет. Поехали.

— Где мы? — спросил Манасеин.

— На тридцать километров к норду от серного завода, от холмов Чеммерли.

— Мы догоним,— сказал инженер.

Он сидел на коне, закрыв глаза. Оказывается, они добрались пока до середины пустыни.

— Открой глаза, Делибай, смотри,— сказал Нефес и сам повернул его голову на север, куда заметно наклонялась пустыня, где небо разгуливало по ней белесовато-желтыми красками, как глазурь на глиняном горшке.— Что? — спросил Нефес.

Но молча и каменно сидел Делибай, вбирая в глаза последние ландшафты обманувшей его пустыни. Синяя опухшая рука, взнесенная над головой, делала его похожим на человека, застывшего в проклятии, на атамана с поднятой булавой, на старого дервиша, умершего за молитвой.

ЧАСТЬ ШЕСТАЯ

1

Серный завод у бугров Чеммерли лежит среди пустыни, как корабль на дне океана. Песок оставляет на его строениях свою серую накипь, ветер, клубясь в раздольи, разрушительными течениями тревожит спокойствие кирпично-цементных стен и гоняется за дымами труб, чтобы тут же растерзать их на клочья. Гады свивают гнезда в жилье человека, а звери обходят завод стороною, как логово неизвестного хищника, заново поселившегося в песках.

Идут ли ливни, мчится ли ветер, птицы ли проносятся с севера к зимовкам у персидских берегов — ничто не минует завода.

Он стоит, еще похожий на островной маяк, в скалу которого бьется открытое море, и от этих жидких, но страшных ударов все дребезжит и колышется на маяке.

Да, он похож на маяк, куда приходит смена раз или два в год, где жизнь проста, но смысл ее в вынужденной простоте этой важен и ежечасно дает себя знать.

Еще он похож на крепость, заброшенную далеко за пределы неизвестной страны, вооруженную до самых чувств, всегда готовую к нападению и защите, но, может быть, всего более напоминает серный завод стоянку добровольных Робинзонов на острове, среди моря, первый город исследователей и пионеров, который станет столицей, а сегодняшние жители его — прародителями новых, младших городищ. Он напоминает зародыш будущей страны, в которой отцы еще не родившихся городов пока отцы десятка подростков, интеллигенция ходит в числе одного человека и люмпенпролетарием является бывший пастух, пристроившийся штатным нищим возле рабочих квартир.

И люди, которые составят рабочие армии и положат начало новому классу пустыни, сейчас живут в немногих домах, добывают серу, учатся грамоте, и будущий центральный орган их пока пишется от-руки в музейном тираже, в одном-единственном экземпляре. На север—пески до самого Арала, на запад — пески до берегов Каспия, на восток — до линии Аму-Дарьи, на юг — до оазисов Теджена и Ашхабада.

Вот лежит она, пустыня черного песка Кара-Кум, без географии и истории, без всяких следов материальной культуры, с людьми, которые ничего не знают о своей собственной жизни. Четыре века ничто не оседало здесь. Тимур последним прошел по ее пескам, вернув их сполна архаической геологии после недолгого ими пользования. На пустых тропах четырех веков осел завод. Он начинает новую страну и свой собственный век. Все, что происходит здесь, происходит впервые, и, как человек из зародыша, рождается организм новой страны. Это не предприятие, не учреждение, не цивилизация,— это взрастающая первым семенем революция.

Так думают все — и Манасеин, и Нефес, и Адорин. Об этом не думает лишь, может быть, потому только, что это само собой понятно без мыслей, Семен Емельянович Ключаренков.

Манасеин с Адориным лежат в кибитке, разбитой на краю заводского поселка. Пустыня, как оцепеневшее в приливе море, громоздится снаружи мутными валами.

Солнечные лучи похожи на выщербленный гребень, между одним и другим идут провалы, тени, потом сразу десяток лучей, соревнуясь, толкается густою толпой, и снова пасмурность, тень. Иногда перед кибиткой появляются люди из песков — посмотреть Делибая. Их лица кажутся одинаковыми, словно они носят форму.

Рука Манасеина очень плоха. С часу на час ожидается осложнение. Заводский фельдшер панически применяет средство за средством, а хасаптан Илиа в кибитке Нефеса варит травы и корешки, уверенный, что его вскорости позовут к Делибаю.

В этот день мысли своей необычайной запутанностью тяготили Манасеина прямо физиологически — он чувствовал нервность желудка и морщился от избытка слюны, заливавшей рот. Что-то случилось Пока он болел, что-то произошло с самой идеей его строительства.

Что случилось с его планами? Ничего. Несчастье произошло только с ним, с его именем, с его авторитетом, с его самолюбием, и, однако, была чем-то уязвлена идея. Она существовала для него вне личного самолюбия и авторитета как нечто совершенно непогрешимое и в самом себе истинное.

Так стоят в пустыне древние обелиски и крепости.

Идея его существовала так же, как крепость, он хотел лишь сделать ее живой. То обстоятельство, что личные переживания могли коснуться

ее и повлиять на нее, дискредитировало идею как нечто, от него произвольное. А раз так — раз она зависима от его имени и авторитета, значит она условна и относительна значит ее нет как реальности, о которую может разбиться любая жизнь, ничего не нарушив в идее.

Зачем он впутан в этот скандал с наводнением? Сразу кончилось то, что дало ему прошлое,— слава, авторитет, упрямство в делах. Теперь это прошлое ничем не могло помочь ему и было только живым укором. Умереть бы сейчас!

Он подумал: «Я уеду отсюда. Нет, никуда не уеду, выдержу!»

И он стал перебирать в уме, что же наконец могло случиться с судьбой его дела? Да ведь ничего, совершенно ничего. Для окружающих все оставалось попрежнему. Он думал о своих планах и жизни, как о чем-то вне его и даже вопреки ему существующем, ни разу не подумав о своих методах думать и рассуждать. А если бы он подумал о методах...

Мысли его шли молниями, то освещая события, то вновь погружая их в тьму непонятного. Вспыхивая, они освещали не то, что за секунду перед тем, но совсем с другого края или с конца, указывая готовые выводы, хотя еще не все в самом организме происшедшего было ему понятно. Он хотел перестать думать, но этим только усилил частоту разрывов. Он взял бумагу, чтобы аккуратно записать содержание темы и начать думать, следуя за написанным, но он ничего не мог написать кроме: «Все рушится. Все идет прахом».

Мысли дергали щеки, и он даже на секунду-другую придержал дыхание, как делал всегда, когда хотел прекратить икоту.

Нет, но что же случилось? Сомнение, что его идея может принадлежать нескольким, то есть быть спорной и разной, лишало его спокойствия. И зачем только его послали ликвидировать эту катастрофу с прорывом реки? Вода не убоялась его. Зачем он пошел? Он должен был знать — катастрофы непоправимы. Вода не убоялась его, а залила сколько пришлось, и тогда он решил промчаться через остаток пустыни к дельте Аму, изыскивать путь к новому морю, но басмачи захватили партию и сломали ему руку. Этого еще никогда не было, водных инженеров всегда щадили, в особенности его — Делибая. Он морщился. Битых не уважают. И потом этот Максимов с колодцами! Манасеин вспомнил, как они бессознательно шли по следам басмачей — П о с л е д а м м а к с и м о в с к и х к о л о д ц е в — и зарычал от стыда и позора.

Елена подошла к нему, испуганно успокаивая. Солнце освещало ее со спины, но казалось, что оно горит внутри нее, как лампа под сплошным прозрачным абажуром. Складки блузы лежали, как силуэты ребер. Сердце было приколото к груди английской булавкой. Он смотрел на нее, продолжая рычать. Политическое вылилось в технологию, вот оно, чорт возьми! Где же тридцать лет была голова?

И он сказал ей:

— Нервная система классова. Вот что, Елена. Классова, да.

Она взяла в руки его голову и сжала ее.

— Не надо,— сказал он.— Оставьте, мне не нравится, как вы живете.

Елена не отняла рук от его головы.

— Что? Все не нравится,— сказал он, почувствовав вопрос в этой слепой упрямости ее рук.— Ваша торопливость сердечная, ваш карьеризм. Все!

Она отошла и села поодаль.

— Карьеризм? — Произнесла она с любопытством.— Карьеризм? А вы не думали никогда, что карьеризм может быть порожден предчувствием быстрой смерти, болезнью? Вы же знаете, что у меня очень плохо...

Он оглядел ее. Солнце безжалостно выдавало морщины и складки лица

Шея была так худа и беспомощна, что хотелось руками поддержать ее голову.

«От нее действительно ничего не осталось,— подумал он.— Огонь, обтянутый кожей».

— Иногда лежишь ночью, дыханья нет, кровь застыла, судороги прыгают по всему телу,— и тогда я встаю, пудрюсь, одеваю лучшее платье и иду в люди, в гости, к приятелям, к любовникам, просто в ночь. Страх смерти придает мне невероятную энергию. Я выдумываю новые начинания, организую людей, лезу всюду руководить и председательствовать, завожу романы — чтобы все испробовать, все перечувствовать, все узнать, пока не поздно. Это карьеризм? Я сейчас хочу всего, что мне довелось бы иметь, живи я долго, через год, два или три. Я не могу никуда уехать — я могу дышать только этим кипящим солнцем. Что мне делать?..

Издалека разбежался голос Евгении. Она бежала словами. Она грохотала ими, плача.

— Они уходят, Елена. Слушай, они уходят! Ну, что же делать, итти с ними, нет? В порядке дисциплины надо бы итти, а?

— Кто уходит? — спросила Елена, свертывая руками тишину в кибитке, как свертывают вышивание.— Женька, скажи же толком, дурная!

— Они,— сказала студентка и, сев, заплакала ребячески-зло.— Они йчас придут прощаться.

И подошел, таща за собой лошадь Магзума, Ключаренков.

— Так вот как мы порешили, Александр Платоныч,— сказал он Манасеину,— порешили мы итти обратно в пустыню.

Еще были спокойны глаза Манасеина, открытые словам Елены, но паутинка красных ниток уже бежала по краям их белков. Еще был прост его лоб и жеманно изогнуты от подушки волосы, но уже отдельные волосинки растерянно отваливались навзничь, и тонкие пряди, перелезая через уши, спускались на виски и края лба.

Еще сердце не сделало бешеного прыжка, а только приготовилось к нему, замерло в стойке, как охотничий пес, но уже от пальцев рук назад — в глубину тела — бежала, путая свои ходы, кровь.

— Так и есть. Об'ясни,— сказал он.

И вот все дрогнуло и сотряслось и пышно качнулось из стороны в сторону. Вздрагивая от неизвестности, глаза хотели б вырваться и удрать, каждый порознь, но остались, как лошади, скрепленные дышлом, рвались, вставали на дыбы, падали и били задами в свой экипаж. Глаза толкались и били внутрь. Волосы вскочили и грохнулись куда попало. По щекам потекли сухие капли судорог, и пуговица на вороте рубашки, не выдержав напряжения, прыгнула сломя голову на пол.

— Да об'яснять еще как-то нечего, Александр Платоныч,— сказал Ключаренков.

2

И еще раз поклялся перед командиром Муса, что найдет максимовское седло. Он поклялся словами, но взвизгнули скользкие кости в теле его, подтверждая клятву. Теперь он закрыл глаза и погнался мысленно за седлом. Когда техник был брошен, лошадь его взял себе товарищ Мусы, черноусый афганец без имени.

Красноармейская пуля сняла афганца за час до окончания боя, но коня его вместе с другими потом не оказалось. Недосчитались красноармейцы и одного пленного, родом из Арпаклена, хотя был он ранен в бедро навылет.

Муса соображал, куда мог пойти арпакленец, сколько он в состоянии пройти и в какую сторону лучше направить следы красноармейского поиска.

Жизнь Мусы лежала теперь вместе с важными бумагами в подушке потерянного седла. Он предполагал ее извороты, он видел — слезает арпакленец у колодца Хияр и теряет сердце в первой кибитке. Ночью старший старик посылает русскую лошадь с русским седлом в глухое кочевье, к своему чобану, а апракленца хоронит в торопливой могиле у ближайшего холма и поднимает над могилою длинный шест с привязанною к его верху тряпочкою, что свидетельствует о могиле бойца за отцовскую веру. Чобан перестригает лошади хвост и гриву, а седло зарывает в песок.

У Мусы взвизгивают кости на стыках, и он решает, расспросив о всех свежих могилах в округе, провести мимо них красноармейский отряд.

3

В аул Чимкент пришла женщина, пропавшая без вести тому назад года три. Она вела в поводу хорошую русскую, казенного вида, лошадь. Женщина вошла во внутренний двор небольшого, у края аула, домика. Дом был пуст. Она оглядела двор, вошла внутрь дома, прибрала там, вернулась расседлать лошадь, найденную в пути у колодца, и, сбросив халат со значком на груди, осталась в длинной красной рубахе. Волосы цвета черного крученого шелка были сплетены у нее во множество мелких кос и лежали на голове, как виноградные гроздья.

Она взяла коврик, бросила его на землю в угол двора и тяжело опустилась на это жесткое ложе. Ей хотелось спать, но она ждала хозяина дома. Он пришел, когда стало смеркаться, и не заметил ее.

— Нур! — крикнула женщина вслед ему.

Голос ударил мужчину по ногам, и, даже не обернувшись на женщину, человек побежал в сторону, остановился, пошарил на груди под халатом и отстранился руками от зовущего его голоса. Борода его извивалась, как проволока на огне, и руки вытянулись почти до колен.

Женщина подошла к нему.

— Один,— ответил мужчина.

— Я прибрала в доме, как прежде делала. Долго я ждала тебя там, в углу, думала — не придешь ты, и испугалась, так хотелось мне тебя видеть.

— Значит ты жива, Ареаль,— сказал мужчина,— за мной пришла?

— Посмотрим,— ответила женщина.

Они вошли в дом. Ламповое стекло долго билось, звеня, прежде чем влезть на горелку. Он зажег лампу, она развела огонь и поставила воду.

— Будем пить чай и разговор вести будем,— сказала она и, боясь, что Нур убежит, взяла его за халат и потянула сесть.

Только теперь вобрал он в себя полным взглядом ее лицо и фигуру. Попрежнему были сухими и неподвижными ее громадные глаза, и на лице стояла прежняя решительность. Кровь прожгла ее щеки, и они светились ожогом темного румянца. Начинаясь позади уха, за ворот рубахи уходил быстрый рубец. Помогая взгляду мужчины, гостья откинула ворот, и он увидел, как, перевалив через плечо, впивается рубец в вершину правой груди, кончаясь у темного и, как старый мундштук, прожеванного соска.

Он опустил глаза, и она сейчас же прикрыла грудь.

— А нога ничего,— сказала она,— только хромаю, когда плохая погода.

Он кивнул головой.

— Чем ты меня ударил после ножа? — спросила она.

— Это в спину?

— Да.

— Кетменем ударил. Хотел, чтобы не мучилась ты. Сразу хотел.

— Я что — кричала?

— Ох, как кричала! Как сто человек.

— А яму ты после засыпал?

Он кивнул головой.

— Никто ничего не знает?

— Все так и думали, что я живьем тебя закопал, да молчали — семейное дело, кто может сунуть свой нос в него? Потом прошел слух, что ты живешь легкою жизнью, спишь за деньги с мужчинами, корить меня стали старики, что не убил я... Да ты сама расскажи, как у тебя дела вышли. Зачем приехала, тоже скажи.

Вода закипела. Женщина сняла с огня чайник, сказала:

— Много было. А ты напрасно меня убить хотел, ребенок твой был. Много было. Меня русский товарищ подобрал, увез в город, учиться я стала, в партию поступила, нашим аулсоветом управлять теперь буду.

Мужчина рванул на себе халат и заскреб ногтями грудь. Он хотел вскочить, но не мог.

— Ты что, на смерть пришла? — спросил он.

— Теперь не убьешь,— сказала женщина и стала наливать чай.— Я хорошую жизнь знаю, тебя поучу.

— Про аулсовет правду говоришь?— спросил Нур.

— Завтра увидишь. Возьми пиалу. А не дело тебе про меня говорили,— за деньги ни с кем не была.

— Где будешь жить?

— Разве это не мой дом? Здесь буду жить. Разве я не жена тебе?

— Я не муж тебе!— крикнул Нур и расщепил ладонью пиалу с чаем. Ноги его приходили в себя.

Женщина твердо сказала:

— Как хочу, так и буду жить с тобой. Так буду жить, чтобы пример всем был. Молчи!

Ворот рубахи откинулся с груди ее — рубец, волнуясь, взбирался на грудь и шевелился у темного соска.

— Понял? — сказала женщина, отдышавшись.— Все по-новому сделаю.

Ноги Нура пришли в себя, он вскочил и вынесся в темный двор. Он пробежал по двору, раз и другой, хватался за кетмень и камчу. Ночь вокруг него пахла женщиной, он визжал и бил себя в грудь.

«Проклятая нечисть! Пришла, чтобы мучить, чтобы на-смех поднять, ах, проклятая!»

«Что делать? Сегодня утром весь аул собрался говорить о седле. Русские инженеры важное седло потеряли, конь черный, как кот, без одной отметины, на коне казачье седло с надрезом на подушке, в подушке зашиты бумаги. Броситься за конем, что ли? Дома не жизнь».

Он бил себя в грудь, и липкие слезы, как плевки, скатывались с лица на халат.

«Ах, найти бы русского коня — все успокоится. Предаст Ареаль, предаст, проклятая!»

Сквозь дрожь он услышал — конь под навесом. Он быстро оседлал его, черного, и вскачь, качаясь на непривычном седле, ушел в темноту.

Женщина выскочила во двор. Топот пробегал улицу, и от коня, на струе взбаламученной ночи, слетали на землю белые листы бумаги, выдавая путь всадника.

Женщина подняла брови, облегченно вздохнула, сказала:

— Неприятность может мне быть за чужого коня.

И пошла от листка к листку до последних тутовниц за аулом, чтобы подобрать бумажный след и сказать себе, что Нур ушел в пустыню и что она одна, наедине с жизнью.

4

В ночь прибытия на холмы Чеммерли, где стоит серный завод в центре пустыни, сидели они кружком, все уцелевшие манасеинцы, и повествовали о своих приключениях командиру выручившего их эскадрона.

Командир вертелся от интереса к рассказу, и шпоры его дрожали наперегонки с сердцем.

— Тьфу, дурачье,— шептал он,— какое седло упустили.

Следователь Власов, отписав допросы, спал у огня. Он поднялся на шопот.

— Чвялев! Как ты здесь, чорт проклятый?

— Да Нури меня перепутал,— равнодушно и недовольно сказал командир, не здороваясь.— Захотелось мне Магзуму шишку сбить, во что. Да ты слушай, слушай, какие дела у них заведены были! — закричал он на следователя и отвернулся к Елене — рассказчице.

— Едем завтра в Ашхабад,— сказал следователь, вставая, и спросил:— Ты что ж, в Кисловодск не ездил?

— Покуда Магзума ловил, все сроки прошли.

— Поедем со мной,— начал Власов.

— Да брось трепать, не поеду. Слыхал, какое седло упустили? Гад буду — седло это найду. Гад буду, понял? — сказал он, оборачиваясь к Нефесу.

Тот, не мигая, осмотрел его медленно.

5

— Хочется мне, пока вы к делу вернетесь, кампанию одну провести,— говорит Семен Емельянович.— Она же никому ничего кроме пользы. Промхоз организую, Александр Платоныч.

Все уже устроено и сговорено. Уйдут они — Ключаренков, Ахундов, Овез и старик глашатай в пустыню, под аму-дарьинские берега, и, пока там суть да дело с водным строительством, заложат питомник змей.

— От Госторга аванс в кармане,— говорит Семен Емельянович.— Попробую за осень поставить два-три камышевых домика. Камыш — дело легкое и заменить должен шерсть, кошмы, шерстяные кибиточные поселки. Куллук Ходжаев обещал с комсомольцами кампанию закрутить против папах, а Итыбай тому делу в своей лавке поможет, и если удастся замысел, то к осени сэкономят Кара-Кумы стране от одних папах сорок тысяч пудов шерсти. А если кибитки доведется сменить нам, так в полумиллионе пудов будем, честное слово. Так на так, а продержимся без убытку.

Без слов Ключаренкова становится ясной задача — притти и жить в пустыне, обстроить ее домами, протянув от колодца к колодцу станции — камышевые дома.

Сквозь представления, родившиеся у Манасеина, едва проникают слова Ключаренкова.

— Если змея яйценоская попадется нам, мы свой договор прямо, можно сказать, перевыполним. Овез так считает, что с матки по пятьдесят яиц надо в среднем считать. Поставим щелканчики на полевых мышей, тут их — завались, мышами кормить будем... без всякой доставки сырья. А змея тут видная из себя, экспортная.

Потом трясет руку Манасеина и говорит:

— Не серчай, Александр Платоныч, что тебе скажу: жаль мне, что Максимов наш помер в походе. Про его это радио для дождя никем не расспрошено, не узнано, а то — чего тянуть нищего за хер,— взяли бы да опыт и провели у себя. Нам дай только дождя, Александр Платоныч, так мы тебя весной ягодой с своих грядок побаловали бы, как ты к морю Пойдешь. Ну! — махнул он.— Встренемся где-нибудь. Мне тут еще три года втыкать-то в ваших краях.

— Стой! — Адорин хочет крикнуть громче, хотя его слышат и так.— Семен Емельянович, песками я сейчас не ходок, но об'еду кругом, через Ашхабад. Где будете?

— Да что нам, Моор и будем обживать сызнова.

— В Мооре? Так ждите меня.

Сказав, Адорин взглянул на Елену — ее рука вздрогнула, будто он ударил взглядом по ее пальцам. Он сделал то, что должно было ей нравиться. На том внутреннем языке, на котором говорят чувства, его короткая фраза могла иметь несколько смыслов. Она могла звучать как признание в любви, как выражение покорной уважительности или как вызов, за которым подразумевалась борьба. Вот он пришел, увидел, понял и начинает здесь чувствовать себя по-своему, по-новому, об'являя борьбу всему бывшему до него. Вот он сказал — я люблю то, что ты любишь, но не так, как ты, и отныне будет по-моему или не будет никак. Она поняла, что ей следует что-то сделать, но что? Предложить ли ему опеку и покровительство или подчиниться, не рассуждая, не защищаясь?

Нефес мог бы подсказать ей, что истинное благоразумие в риске, и такая мысль ей бы все развязала без спора. Но она только осторожно, на всякий случай, сказала:

— Хорошо бы мне с вами добраться домой.

И тут же она спохватилась, что не с кем оставить Манасеина и что ехать в пески, не решив своих чувств, бесполезно.

Она подумала быстро: «Подождем, все выяснится»,— и успокоилась.

— Саят говорит, что Максимов свой план насчет дождя в седло спрятал. Где теперь оно, проклятое? Придется сообча поискать. Ну, бывайте здоровы. Привет там которым! — сказал Ключаренков и быстро всем подал руку. Он понимающе улыбнулся Елене, в этот момент она упустила все передуманное, инстинктивно распахнула руки и, делая из смешного, из того, что ни в какие кроме смешных не укладываются слова, простую такую и режущую сердце боль, шопотом крикнула ему:

— Я вам привезу его!

— Ну, доброго добра! — сказал Ключаренков, не разобрав — седло или Адорина, и, прихрамывая, полез на коня.

6

Не прощаясь, Нефес сидел в стороне за кибиткой и не мигая смотрел на Елену. Потом он отвел глаза в степь и долго держал их в тяжелом оцепенении.

Караван скрылся за поворотом. Колокол головного верблюда взлетал и падал в воздухе, как сонная, ищущая отдыха птица.

Нефес встал, не отводя глаз от куска неба, скрылся в улочке меж новых глиняных хижин и быстро вернулся верхом на своем вылинявшем от пота жеребце.

Манасеин сидел на стуле, и обе женщины, наклонясь над ним, суетливо успокаивали его. Отстраняя их, он смотрел вдаль — на караван, поднимавшийся на скаты далекого холма.

— Делибай,— сказал Нефес и открыл инженеру свой немигающий взгляд,— сам видишь: надо!

Он взмахнул перед глазами коня камчой, будто стряхнул с руки на песок пять лет дружбы. Окутав человека и лошадь, песок взорвался под четырьмя остервеневшими от злобы копытами, и желто-серое пламя, кружась спиралью, стало удаляться в пустыню.

Адорин долго смотрел в пески, хотя уже ничего не было видно в них.

«Собственно, только сейчас начинается то, что будет первым событием после наводнения»,— подумал он и повторил про себя:

— Экспедиция Ключаренкова... экспедиция Ключаренкова...

Скольким надо было случиться происшествиям, чтобы дать начало событию!

Люди умерли, сошли со сцены, сломали и сделали карьеры, сошлись, разошлись — и в сущности все только для того, чтобы создать экспедицию Ключаренкова.

Он говорит Манасеину:

— Поедем потом к нему?

Манасеин, глаза которого фосфоресцируют, отвечает:

— И Нефес ушел с ними. И Нефес ушел с ними... А? Да, поедем, попросим работу. Дадут ведь, а?

— Что значит, дадут или нет? Все это теперь мое на всю жизнь.

Нужно было, чтобы люди умерли и перестрадали мучительно, чтобы прошли неожиданные встречи и были высказаны в злобе и любви самые противоречивые и случайные мысли, чтобы пробежали над людьми облака дождей и ветров, чтобы глаза навеки запомнили мрачную радость пустынных колодцев, где жизнь человеческая заключена в нескольких глотках мутной воды, где ее можно случайно выплеснуть вместе с своей порцией влаги, и это будет самоубийством, и где воду надо беречь, как здоровье, как бодрость и молодость. Все должно было произойти, что произошло, в видимой своей разобщенности и в хаотическом и противоречивом порядке, чтобы одни люди отговорили все мысли, а другие услышали бы их и втолкнули в себя, чтобы родились воспоминания о пережитом, заботы о завтрашнем и прошли бы перед глазами пейзажи, оголенные от человеческого труда, о которых Нефес мог бы сказать, что месту, где нет труда, нет имени, а Хилков, умирая, вспомнить, как пылят вот так же, как здесь, изможденными травяными запахами возы с сеном на деревенских дорогах под Симбирском.

И еще было грустно думать, что забудется все происшедшее до вчерашнего дня, только о неразысканном седле напишут песни и станут думать, что в нем-то и скрыто счастье пустыни,— а история просто откроет страницу, надпишет на ней, минуя истекшие частности, год, месяц и завтрашнее число и назовет то, что начало жить, экспедицией Ключаренкова.

Так, может быть, следует назвать и эту повесть.

Корнеплод

Рассказ

А. Долгих

Петр Фомичев, отличавшийся в сельской школе особенной цепкостью к учению, был буквально вырван из крестьянской семьи учительницей этой школы и под ее натиском перекинут в город.

Увядавшая в девичестве учительница сама томилась жаждой познания добра и зла. Она рвалась передвигаться по вселенной и обмерять путешествиями материки, острова океаны и моря. Но неумение жить иначе и распоряжаться своей судьбой с большей подвижностью для себя оставляло ее на месте. Возмещая это, мечтательная труженица готова была насильно разгонять своих бывших учеников и учениц из деревни, от земли, хотя бы на край света.

Большого труда стоило ей убедить родителей Петра, старившихся из поколения в поколение в крестьянстве, оторвать сына от своего корня для города на удачу и перемену его судьбы.

Первый недочет рук батрака в хозяйстве Фомичевых сказался с начала весны. Земля наполовину осталась незасеянной. Старикам не удалось выехать на дочери, как на парне, хотя девка и не гнушалась никакой работой.

Во тьме погреба залежался, пророс в мешках картофель. Ростки грызли переплет рогож. Но никто не брал полные мешки, не выносил на воздух и не обсеменял их содержимым землю.

В средине лета дочь Фомичевых спустилась в погреб. Только и нашлось время вспомнить о застоявшемся картофеле. Нужно было его употребить хотя бы в корм борову.

Во тьме ткнулась она в какие-то червовидные гнезда. Длинные упругие черви опутали и захватили ее руку. Они были холодны и скользки. Девка взвизгнула.

Отец и мать со свечой заглянули в яму. Дочь зажимала правую руку, как от укуса. Старик подумал, что в яме завелись грызуны. Он, недовольный присутствием крыс, спустился по лестнице в погреб.

Оттуда он крикнул старухе принести нож.

Старуха сдвинула с ушей туго повязанный платок. Нож требовался для кого-то покрупнее, чем мелкие вредители.

Верх со скошенным потолком над погребом был виден в одну сторону с подвесками вяленого мяса, похожего в кусках на вздернутых птиц. Колебался неустойчивый свет свечи. От дрожи старческих рук кривился подсвечник. Силуэты то ровнялись головой с потолком, то приседали за спиной старухи. Если б она еще видела, что спина ее была уже оседлана. На ней плашмя распластывался черный наездник, перехватив ее шею петлей рук

и соединив ноги над животом. Две ступеньки, хваченные из всей лестницы маэками света, шли вниз. На дне ямы копошились около стены люди.

Старуха видела, что они не могут кого-то одолеть, и отнимались у ней руки нести нож...

Старик, спустившись вслед за дочерью в погреб, не увидел мешков с картофелем: перед ним стояли на земле какие-то уродливые, похожие на вымысел плетенки из бледных глистовидных корней. Он не понял, что это за плетенки и откуда они взялись в его хозяйстве. Он стоял, припоминая причину их появления. Дочь переглянулась с ним. В ее взгляде отражался суеверный испуг.

Старик, помнивший о картофеле, теперь забыл о нем и протянул руку к плетенкам. Наощупь он скорее узнал картофельные ростки. Корни прогрызли жесткую дерюгу мешков и проторили переплет поношенных рогожек. Старик коленом пихнул мешок, чтобы сдвинуть его с места. Колено не дошло до блузы мешка, оно скользнуло по росткам, и они хрустнули, как хрящи. Он схватил мешок, покрытый вокруг корнями. Но мешок не шелохнулся, как прикованный. Только рубаха лопнула на спине, пристав к телу.

Корни, добравшись до земли, впивались в нее со всех сторон, и человеческая рука не в состоянии была раз'единить их с захваченной почвой.

Старик кивнул дочери, чтобы она пособила ему. Они враз взялись за скользкий мешок. Но и усилиями двух они не могли оторвать его от земли. Старик вытер вспотевший лоб. В помощь можно было еще призвать старуху. Но старик не стал ее кликать. Она только расстроила бы его и непременно нашла в этом явлении какую-нибудь нехорошую примету для уехавшего сына. После его от'езда она все из ряда вон выходящее относила за счет его непременных напастей на чужой стороне.

Только нож мог подрезать корни.

I

Город набросился на Петра, как квадрильонная армия в полном вооружении.

Уцелеть здесь было невозможно. Он будет растерт в порошок, и всей его крови не хватит по капле на каждую попирающую ступню.

Едва он успел сойти с поезда, как сразу же это началось.

Петра спихнули вместе с вещами с подножки вагона еще на ходу. Мешок спереди, набитый сухарями, давил ему грудь, а сундуком позади, приподнятым выше его головы, трахнули Петра, как гробовой крышкой.

Чудом он не попал под колеса поезда. И полбеды уже было, что крошились под тяжестью Петра прокаленные сухари, покалывая его, как дробленые булыжники, в грудь. А через его сундук проносились легионы. Он поскрипывал и, как тупым ножом, резал краем дна шею хозяину.

Петр, получив способность двинуться, сам устремился за этим ураганом. Он подчинился и поверил этой спешке, как неизбежному и необходимому акту.

Здесь опять никто не хотел пропустить его. И он, пробиваясь вперед, боролся с людьми, расходуя мускулы на эту борьбу. Он слышал беспощадную, злобную над собой брань и проклятия. Никто и нигде еще не уничтожал его так бранными словами. Петр горел обидой, возмущением. Но обидчики, не задерживаясь, менялись, как на экране под действием исправного аппарата. Он не в состоянии был поспеть за ними.

Слон, ломающий на бегу деревья, наверное так же возмущается, что ни царапают его бока.

Петр не замечал, что его мешок колючим рылом наседал и наскакивал на людей. Ему не видно было, что он углами своего ящика за спиной ссаживал людям лбы, заезжал в носы, сокрушал скулы, таранил зубы.

Петра готов был побить билетер, отчаявшийся в этой суматохе вразумить его отдать свой проездной билет.

Все же под натиском толпы эта пробка, ушибавшая и мешавшая всем стремящимся в город, вылетела из рук билетера и унеслась за черту контроля.

Петру только на мгновение показалось, что он благополучно вывернулся. Он стоял на высоком крыльце. Навстречу ему неслись новые толпы людей. Проскользнуть между их рядов не было никакой возможности. Он видел, что другие как-то это делали, скрывались друг за дружкой, но его не пропускали. Уже не с одним человеком он вступал в рукопашный бой, достойный лучших гладиаторов. Но эти бойцы не убывали. Он сознавал, что могут иссякнуть его силы, и тогда победившие только оставят на его теле след своей пяты. Он, улучив секундную передышку, подхватил покрепче мешок с сухарями, согнул спину, чтобы поудобнее подкинуть повыше на плечах пламенный сундучок, расставил локти, как два заостренных щита, и так ринулся камнем с горы на нападающих.

Пошел треск и стон во все стороны, и покатились со ступенек побежденные под натиском копья-сундука. У Петра только хрустнули в сгибах щиты его локтей. Петр, как Кувалда-воин, попрал поверженных врагов. Он был горд и дышал отвагой. Блестел на солнце его остро отточенный сундук, взмокли на груди сухари.

Но город был еще не взят.

Все же это была столица и вооружение имела немаловажное. Не на примитивные провинциальные орудия опиралась она, допуская к своим крепостям и вратам смельчаков, искателей удачи, счастья и пионеров по ее прериям.

На Петра столица устремилась с невиданной отвагой. Такого количества движущихся машин он никогда не видывал. Не мог он вступить в единоборство с машинами.

Он не в силах был одолеть всего этого движения. Он стоял оглушенный, пришибленный, с надеждой, что такое бешеное уличное движение, кипение и круговорот, как ураган, как внезапно разразившаяся буря, гром, молния, град, ливень, не могут продолжаться долго. Он, вооружась терпением, сможет переждать это напряженное скопление еще не разряженных стихий...

Все это наконец пронесется мимо. Кругом установятся тишина и спокойствие. Уличное движение не будет превышать неторопливый черед облаков на проясняющемся небе.

И тогда он не торопясь войдет в город.

II

У Петра с детства не было привычки пережидать непогоду с ливнем, стоя под крышей. Град сколько угодно мог бить стекла, Петр не боялся подставить ему свое, прикрытое дырявым картузом темя.

Он не мог стоять у пожарища сложа руки, он лез в дымящееся окно,

Не по его характеру выходило пережидать шквал, прячась на берегу под опрокинутой лодкой.

Он не в состоянии был сидеть перед чугуном с варевом и спокойно смотреть, когда упреет мясо. Он таскал его полусырым, жестким, как сухожилие. Он ел его, валяя во рту, не щадя языка и десен.

И теперь он хотел переждать уличное движение. Оно было подобно кипящему бурунами потоку. Пеной шли и крутились трамваи, гребнями сталкивались с ними автобусы. Автомобили всплывали и вновь пропадали, как играющие среди волн дельфины. Люди неслись, как стаи сельдей. Все крутилось, стремилось без остановки и удержу.

У Петра онемело плечо под вещами. Не миновать перекрещивания в этом бурунном потоке.

По присказкам, говорят, дряхлые старики кидались в бушующий на огне котел в надежде выйти обратно юношей. Но удавалось это проделывать только отважным с придурью Ванькам — перерождаться в настоящего молодца. Петр замутил этот поток с уверенностью, что есть же где-нибудь улица потише и он разыщет ее.

На такой тихой улице, похожей на деревенскую, несомненно живет его дяде, Василий Гордеич. Там уличка узенькая. Дома маленькие, держатся вразвалку, не кидаются в небо, как многоэтажные. Там не спеша прогуливается петух с курицей. Спит где-нибудь у крылечка лохматая собака Шарик. Улица эта немощеная, поросла вольной травкой, и не только что трамвайная колея, но и колесная — там не видна, не режет землю.

Под счастливой звездой добрался Петр до улицы Василия Гордеича.

Та самая улица была перед ним. Но где та воображаемая тишина, куда можно укрыться, как под сень навеса от бури и непогоды? Наконец и Петру захотелось прибегнуть под такую сень. Где та зеленая, привычная сердцу и взгляду простушка-травка?

Это не была улица Василия Гордеича, бывало во хмелю избиравшего тихую улицу ночлежкой. Это была какая-то подлинно огнедышащая печь. Здесь в пламени и дыму не только люди, но и машины и булыжники переплавлялись, переливались, перековывались заново. Здесь клокотали, вскидывались вместе с людьми дома-вулканы в коконе, в дыму лесов.

Тут неподвижного ничего не было. Все горело, переплавлялось и кипело. Земля дымилась и плавилась вместе с людьми, машинами, мостовой, панелями, домами. Дымящийся сплав разливался по улице на мостовую. Не промешанные жесткие куски кидались по сторонам.

Машина с двумя колесами, как два жернова вместе, уминала, приглаживала все неровности сплава.

Петр не сомневался, что под этими жерновами разравнивались в мостовую, новую дорогу для трудящегося населения, и живые твари. Тут все было в порядке вещей, не нарушало кодекса законов самого интенсивного труда. Несчастный случай не убавлял стремительности развитого пробега, не ускорялось и не замедлялось движение ни на полшага, ни на поворот колеса вокруг оси.

На другой стороне улицы не было тише. Через бульвар, через лес Петр увидел, как еще более сложная, легендарная машина колоссальной воронкой собирала подвозимое на тачках крошево. Машина перегрызала, перемешивала все это в своей утробе и уже переваренное и смоченное пищеварительной слюной выбрасывала вон через клинное горло передвижного рукава. Она со спокойствием и величавостью машины глотала, переваривала, извергала вон и опять проделывала все сначала.

Рабочие толпились на этом сплаве, и ногами и трамбовками уравнивали перевар, желудочные испражнения машины.

Ничего ужасающего нельзя было различить среди этой мешанины, но Петр, перебежав на эту сторону, с напряжением следил за всей этой процедурой. Он не мог различить — люди ли управляют машиной или машина людьми. Все сливалось в одно целое: люди, лошади, телеги, тачки,

грузовики двигались, как приводные ремни, как маховик, как колеса, приводимые в движение электрической энергией.

Все же удалось ему разобрать, что рабочие сваливают в пасть машины одни дробленый булыжник, другие — цемент, третьи — песок. Он долго поджидал, когда еще подвезут к машине четвертую примесь. Но так и не дождался. Машина без передышки продолжала поглощать предлагаемую ей пищу и ритмически поливала мостовую.

Петр стоял здесь долго, зачарованный вместе с другими, как бы ожидая своей очереди попасть в это крошево и, покорившись своей участи, пойти на удобрение.

Он уже, вопреки всем пророчествам деревенской учительницы, не верил, что вырванный из самых недр земли сможет зацепиться здесь хотя бы с краешку за почву своим ищущим корнем.

III

Тихой улицы Василия Гордеича не было. Надежда осталась на тихий уголок в распоряжении скромного труженика, где можно прийти в себя. Но и этот тихий уголок не давался Петру.

Пока он находился в общей кухне, ожидая возвращения своего дяди. Комната выходила дверями в кухню.

Плита здесь давно утратила свое назначение. Она целиком была использована как подножие отряда примусов. Если б нашелся дикий человек зажечь в плите дрова, ему пришлось бы снести целый городок примусов, кастрюль и сковород. Его изгнали бы, как безумца.

Здесь жизнь неслась на полном ходу. От во-время поданного чая производство получало в срок сытого, подготовленного к работе труженика. От недогретого пересоленного супа расстраивался обед, мужья покидали жен в поисках ближайшей столовки. Убежавшее молоко угрожало голодом младенцу. Просмотренный кофейник, гасивший примус, отравлял чадом легкие. Хорошо прожаренные котлеты давали изголодавшейся семье мираж целой сытой недели.

Богомольные хозяйки, отстоявшие вместо церкви заутреню и обедню в очереди за мясом, носили себя, как героини-горожанки, вылазкой спасшие от голода население целого города, осажденного неприятелем.

В общей кухне все было значительно и ценно. Каждая капля молока, стакан чая, ложка супа, кусок жаркого.

Чайники и кастрюли неслись, увлекая за собой людей во всех направлениях. Петр чувствовал себя в опасности, увертываясь от снующих кухонных паровичков, имеющих скромный вид кухонных принадлежностей.

От сундука его несло паленой краской: кто-то опустил на него горячую кастрюлю. На сухарный мешок пролили кипяток. Это еще ничего. Но какая-то спешливая хозяйка просыпала из раскрывшегося утюга угли с синим огоньком на этот же мешок, и по мешку в момент пошли дыры и запахло коровьим маслом. На Петра стали коситься, как на злостного спекулянта.

Петр стал сомневаться, уцелел ли здесь его дядя Василий Гордеич. Может быть, он столкнется только с его однофамильцем?

Петр не видел и не слышал, что против него стояла женщина, только что пробовавшая вилкой, сварился ли ее картофель, и губы ее, обращенные к Петру, двигались.

Когда она той же вилкой ткнула в Петра довольно крепко прямо в плечо, он испуганно повернулся на этот укол. Губы ее продолжали шевелиться. Он, чтобы услышать ее, пригнулся к ней так, что ее дыхание

защекотало ему нос. Но и тогда он ничего не услышал. В усилии что-нибудь понять он склонился совсем к ее плечу и мог сосчитать под тканью ее кофточки три ряда тонких белых ленточек. Вперед и назад. Назад и вперед. Ее же губы оказались у самого его уха. Тогда он услышал:

— Я чуть на вилку тебя не насадила, как вареную картофелину. К кому ты приехал?

Она лучше его слышала и отодвигала от себя, когда он отвечал. Но он не мог иначе слышать и опять наклонялся к ней. Все три полоски морщились при этом на ее плече.

— По запаху узнала — запас деревенский...

Он ее не понял и молчал. Хрустели под его коленом сухари.

— Я вот сама давно ли надрывалась? А теперь все выварилось на консервном. А вечерами на курсах еще так выветривают...

Он не понимал ее. Но то, что какой-то человек из равнодушной толпы заметил его, было ему теперь вдвойне приятно. Он кроме трех полосок на плече заметил, что блузка покрыта роем красноватых маслянистых пятен, точно она мокла под томатовым дождем. Чулки были также покрыты этими пятнами, в особенности снизу.

Оговариваясь и сама оглядываясь на эти пятна, она посвятила его во все детали консервно-овощного производства, во все нужды и недочеты. Отметила хороших мастеров и пожаловалась на несознательность некоторых, равных ей по возрасту, товарок.

Кто-то вперед ее заметил, что принадлежащий ей картофель обращается в пюре, и пихнул ее в бок ложкой со следами манной каши.

Женщина отогнула голову от плеча Петра и, оглянувшись, зала:

— Ну что это, стоим, как деревенские лошади — головы на плечи — среди улицы.

Она схватила свою кастрюльку и с преувеличенной поспешностью тащила сливать воду с картофеля под кран.

Когда она тушила примус, который меньше всего мешал Петру, он успел заметить, что лицо ее краплено золотистыми веснушками цвета подсолнечного масла.

IV

Петр Первый насильно стриг бороды боярам и обрезал длиннополые кафтаны. В этих будто бы озорных реформах была доля большой мудрости.

Лучший пример видоизменения человека, имеющий большую психологическую связь с внешностью (прическа),— это китайский революционный народ, расставшийся с косой.

Петр Фомичев хорошо помнил своего дядю Василия Гордеича. Он носил бороду шире груди. Любил, крутя ее завитки, поговорить в компании о том, какие с ним бывали необыкновенные случаи, а больше всего порассказать о том, чего с ним никогда не бывало. За каждым завитком находилась у него подходящая к случаю история. Покрутит, покрутит, а история ползет и ползет с бороды.

Через пояс его перевисала не одна рубаха, но и складка живота.

Теперь он был безбород и безус. Вместо бороды раскрывалась широкая грудь у человека, и через пояс не перевисало никаких складок, ни рубахи, ни живота.

Неудивительно было Петру подозревать, не однофамилец ли это.

Племянника Василий Гордеич встретил без одобрения, скорее с порицанием.

— Эх, мякина!— сказал он, оглядывая его недолго. Потом добавил:— Ну, ладно, выпьем чаю,— и пошел в кухню.

Петр в ожидании самовара достал из мешка кулек с деревенскими гостинцами. Василий Гордеич вернулся обратно быстро, неся, далеко отставив от себя, шумно кипящий самовар. Но так только померещилось Петру. Василий Гордеич просто принес в комнату примус.

— Соседка Устя дает на подержание,— об'яснил он.— Вот тоже с виду девчонка, а на деле женщина.

Петр подумал, что это не кто иная как веснущатая собеседница в общей кухне. Петр перебрал в уме накопленные деревенские новости. Какие девки повыходили замуж, что парни обегают церковный брак. Сколько народу пошло в колхоз. Кто прирезал скотину. Кто остался с одной коровой и какие — с двумя. Какое сено черное собрали, а многие припрятали про запас муку.

Василий Гордеич долго прочищал примус, и весь его довольно выразительный разговор обращен был только к примусу, которому изрядно попадало, как виновнику отсутствия денатурата. Управясь с примусом, он расставил чашки на столе. Причем чашек он поставил не две, а шесть, и еще разыскивал какие-то, необходимые ему, очевидно, для угощения обширного общества. Петр даже оглянулся, двое ли они в комнате. Василий Гордеич разложил еще ложки к чашкам. Очень сетовал, что ложек не хватает на все приборы. Потом он долго колол сахар, прикрывая его бумажкой, чтобы куски не разлетались. Но все же мелкие кусочки кусали Петра в лицо, как мошки. Сахару Василий Гордеич наколол столько, что хватило бы его на целую роту, и весь его поставил в жестяной банке на стол.

Петр шевельнулся на стуле, чтобы развернуть кстати гостинцы. У дяди иного угощения кроме сахара не намечалось. Пока он раздумывал, Василий Гордеич указал ему на форточку над головой:

— Открой-ка, веселее, когда людей слышно.

Петр исполнил его просьбу. Ему показалось, что город шумит не за окном, а ворвался в его голову и там крутит, звенит и гудит с такой силой, что у него вторят этим гудкам уши и в глазах идет круговорот до тошноты. Василий Гордеич кстати занял его место под форточкой и пересадил племянника к глухой стенке. Сам он достал из кармана сложенную вчетверо газету и совсем закрылся ею от племянника.

Петр сидел, заложив за перекладину табуретки, носки сапог, и, зацепившись ими, боялся их теперь выпростать, а больше всего — чтоб шум в голове не повторился. Он находился в стороне, и город только по временам проносящимся рокотом напоминал о себе. Но Петру было достаточно молчания дяди, несшегося мимо него взглядом по страницам газетного листа, как по рельсам. В этом был какой-то осколок проходящей мимо него толпы, населяющей улицы и дома большого города.

Когда чайник стал плевать из носка на лижущий его огонь и заплясала нетерпеливо крышечка на чайнике, Василий Гордеич протянул газету племяннику.

— Не читал еще?

Сам он отошел к чайнику и стал заваривать чай. Петр машинально держал в руках газету, но смотрел на дядю, продолжавшего хозяйничать на большую семью. Чайник для воды у него был на артель, и чайник для заварки чая также годный для этого. Он в такой дозе и заваривал. Но

никто не приходил. Василий Гордеич налил до краев все чашки. Петр невольно ожидал каких-то посетителей. Василий Гордеич, присаживаясь к столу, спросил:

— В комсомоле?

— Нет...

Василий Гордеич взял у племянника газету и отложил ее в сторону. Он не высказал ни порицания, ни одобрения, но Петр ясно почувствовал, что дядя им недоволен. Василий Гордеич молча пододвинул ему чашку с чаем и опять закрылся газетой.

Петру хотелось есть. Он не ел весь день и только теперь об этом вспомнил и почувствовал жестокий голод. Но дядя прихлебывал только чай и даже не брал сахара, заготовленного на артель. Кулек деревенских гостинцев стоял отчужденно в стороне, и Петр в ожидании гостей не решался до их прихода предложить почать дяде кулек и сам протянуть к нему руку. Когда он проглотил чашку пустого горячего чаю и она не залила бунта в его животе, он предложил:

— Тут гостинцы...

Дядя одним глазом из-за края газетного листа взглянул на кулек.

— А-а... много ли тут, на одного... Ну, так ты ешь, а я на фабрике... у нас плотно, готовка на артель...

Петр с большой горестью стал уничтожать в одиночестве привезенные гостинцы. Ожидаемые гости не являлись, и их чашки ледком покрывал принижающийся, холодеющий пар.

Петр еще не насытился, как Василий Гордеич отставил от себя допитую чашку и заложил газету за портрет военного вождя. Газет там накопилось изрядное количество, удивительно, как висевший под этим бременем в наклон воин не обрывался со стены.

— Ну, мне завтра рано,— сказал Василий Гордеич.— Сначала я посмотрю у нас на фабрике, куда, что, а потом будем говорить...

Он встал из-за стола и раскинул на постели одеяло с цветами с тыкву.

Потом ложись с краю,— сказал он еще и стал раздеваться ночь.

Петр поперхнулся чаем и отложил недоеденный коржик. Теперь, когда примус был притушен, городской шум вламывался в комнату, и прохладный ветерок обдувал вспотевший затылок Петра, прикрытый изрядным количеством лишних волос. Обремененный не выложенными деревенскими новостями и молчаливым, но явным для него недовольством дяди, Петр, вспоминая его былую разговорчивость и широкую бороду, почти с отчаянием спросил:

— А что же гости?

Петра не меньше беспокоили остывшие с черным чаем чашки.

— Какие гости?

Петр указал на чашки.

— А-а... это у меня привычка такая: всегда готовлю на артель и дома забываюсь...

Василий Гордеич поднял глаза и усмехнулся на чашки. В повеселевшем лице его Петр узнал прежнего дядю.

Задушевной беседы так и не дождался от него Петр. Василий Гордеич накрылся одеялом под сенью тыкв и присоединил к ним свою коротко остриженную голову.

В это время раздался дробный стук в двери.

«Гости!»— все же подумал Петр.

Василий Гордеич с готовностью принять многочисленное общество сбросил ноги с кровати.

— Эй, отопри-ка... Вот и пришли...

V

В комнату вошла соседка Устя и приперла задом дверь.

— За примусом,— сказала она.— Вот не люблю дома вариться. Легче пол вымыть...

Василий Гордеич закивал.

— Я сам не люблю дома. На фабрике день-деньской у котла стою хоть бы что, дня не вижу, а дома нудно.— Он прикрыл ноги одеялом.— Много значит на обществе. Обществом и дубинушку тянешь с песней. В старину и то говаривали: «На миру смерть красна». А биться одному у горшка — я прихожу в расстройство. Я даже отвык от маленьких посудин. Я ее глазами не вижу. Мне подавай котел в пятьдесят-шестьдесят ведер. Тогда мне понятно, что это людская пища, а не наперсток на пальце. У нас на фабрике от котлов пар валит, как от паровозов. Любо пройтись от одного к другому. Все на ходу! Такой силой пищи повелевать — не то что над одним горшком править... эх!..

У Василия Гордеича то поднимались, то опускались колени под одеялом. Устя поторопилась вставить свое слово:

— У нас против ваших на заводе котлы маленькие, по десяти по пятнадцати ведер, не больше. Мне бы хотелось на вашу фабрику перейти... и народ у вас сознательнее...

Василий Гордеич поиграл пальцами перед подбородком, как бы перебирая бороду

— У вас оборудование на заводе старое против нашего. Работал я у вас. Там мастеру ни развернуться, ни вздохнуть места нет. Помещение подвальное, свету мало, вроде старорежимной прачешной. Котлы не больше банных чугунов, столы — корыта. А у нас ведь одно помещение чего стоит! Свету — Эрмитаж! У нас с улицы само здание на цирк похоже. Там за себя одного разучишься думать. Хочешь — не хочешь, а будешь на общество работать. Куда ни повернешься — все обществом и на общество.

Устя опять захотела сказать свое:

— У нас помещение, правда, как-то мешает людям. Вот и на общее собрание. Одна половина завода старой стройки, а другая — новой. Обе через двор. А как начнут созывать народ на общее — либо один корпус придет, а другого нет, разбежится, либо другой пройдет мимо... А если б в одно... Работать ничего, а уж на собрание созывать, так набегаешься через двор...

Василий Гордеич погладил подбородок и, присаживаясь совсем на край кровати, чтобы поближе придвинуться к Усте, даже помахал ей рукой, чтобы она сама догадалась это сделать для большего удобства беседы. Но она уж очень прочно утвердилась у двери. Удобным казалось ей, держась обеими руками за скобу, вести беседу и сбоку приглядываться к молчаливому Петру. Она только еще сильнее вывернула руки назад, но выдвинула грудь вперед, как зобатый голубь. Василий Гордеич, как ни собирался спать, продолжал беседу, едва держась на кромке кровати.

— Я просто разучился один есть. Сяду за стол, тоска меня одолевает. Либо наставлю лишние приборы. Привык на людях. В деревне я, бывало, хлебал из общей чашки, жил в большой дружной семье. Меня это к людям приучило. Работать по артелям любил — весело. Поговорить также. В городе по столовым работал — тесноты, смраду много. Ну, а тут — как

попал в нашу кухню — поплыла моя душа. За океан не надо: гуляй, парень Фома, большая Крома. Я прежде был на пищу жадный. Заколю свинью, засолю, окорока развешу. Корову зарежу — мне все мало. Ну что, думаю, у соседа боров жирнее — сала больше. Корова млаже — мясо мягче, привар слаще. Пшеницу привезу с помола, расставлю мешки в амбаре. Жена все скажет: «А у Сидора Козлова пшеницы уродилось больше на пять мешков». Опять зависть. Тьфу ты, думаю, никакого успокоения душе! Ненасытная утроба, все мало. Стал я терять интерес к своему хозяйству. По артелям пошел и, видишь, дошел теперь до фабрики-кухни. А не то и посейчас с'едала бы меня зависть... Разве пошел бы в колхоз...

Петр не смотрел на дядю. Но видел его перед собой. У него была широкая, буйная — не скошенный бурьян — борода. Руки во хмелю беседы выдирают из волос репья. В глазах у него отражаются человек десять-пятнадцать а может и больше пристальных собеседников. И у каждого в свою очередь в глазах повторяется десять-пятнадцать раз помноженный широкобородый, горящий искрами мужик, выдирающий репья из бороды, как из целой десятины чертополоха...

В глазах этого мужика было место и Петру, сидящему молчаливо отщепенно в стороне.

Василий Гордеич вдруг совсем сбросил с кровати одеяло и заговорил, дергая кулаком около груди, как бы вырывая себе с корнем бороду.

— Но терпенья моего нет! После этой кухни жить в этой конуре, преисподней, на задворках! Если кухня возможна дворец, так жилище отведи душе просторное, широкое, с окнами в небо, с читальнями, физкультурами, банями, фонтанами, в общее пользование. Чтоб вся жизнь пошла на такой размах...

Кивавшая Василию Гордеичу Устя вдруг спросила, указывая подбородом на Петра:

— А Петр ваш и не взглянет на нас... все отворачивается...

Петр держал в душе обиду: вот мог же дядя беседовать, забыв о времени и сне. И есть какая-то связь между ним и Устей, двадцатилетней женщиной и мужчиной в пятьдесят лет. Он готов был ревновать эту нето девушку, нето женщину к Василию Гордеичу, теперь также отвлеченную от него разговором дяди.

Василий Гордеич взглянул на Петра как бы с желанием подозвать его к себе поближе, потом перевел глаза на Устю, и вся ласковость его взгляда пролилась на нее.

— У нас с тобой один конек — завод да фабрика... А он еще от деревни не оторвался... во сыро... а мне уж это пресно...

— Я сама из деревни, а вот дошла, тоже какая была... Он на первых порах гостем себя чувствует... его занимать надо...— она усмехнулась.— Я-то гостьей засиделась. У вас, небось, тоже не выходной завтра.

Устя взяла примус и, загораживаясь им, опять усмехнулась на Петра. Веснушки подрагивали на ее щеках. Василий Гордеич борил на коленях одеяло. Губы его морщились в улыбку. Он раздумчиво следил за Устей и Петром.

Но только дверь закрылась за Устей, Василий Гордеич так же накрылся одеялом.

Петр еще долго сидел в одиночестве, не решаясь привалиться к боку дяди, на предложенное ему место.

Мимо проносился и вновь несся большой неутомимый город. Василий Гордеич храпел. А Петр даже этот храп вплетал в хор играющего шумом города. В дремоте он гнался за этим храпом, и все же этот храп несся впереди него...

VI

Через пару дней Василий Гордеич сказал ранним утром Петру, пуская в открываемую форточку город:

— Собирайся, поведу тебя в баню шелуху деревенскую отпаривать...

Таких бань еще не видывал Петр. Это был дом не дом, а какой-то грандиозный аэроплан, серый, алюминиевый, легкий, готовый к взлету. Наверху открытая палуба, и там люди, не в банной очереди, а за столиками, насыщаясь, ожидали отправления.

Петру не очень хотелось попасть пассажиром на воздушно-океанский корабль. Если здесь и есть баня, то она какая-нибудь особенная. А Петр привык к простоте и может статься, что в такой чудной бане он не сумеет вымыться как полагается. Отправляться же в путешествие, не достигнув здесь ничего, ему еще больше не нравилось. Но дядя раздумывать ему не дал. Он уже вел его в пасть этой, готовой к взлету бани. Так же быстро миновали они контроль конторы.

Петру казалось, что дядя издевается над его простотой. Он весь держался настороже. Но Василий Гордеич был совершенно серьезен и не выказывал никакой склонности к шуткам. Он выглядел скорее озабоченным.

Они вошли в обширный зал, усеянный рядами белых колодцев. Колодцы бежали в две стороны, сияя белизной и чистотой только что покрывшего их снега. Пар облаком вздымался над открытыми резервуарами. Другие стояли, закрытые металлическими крышками. Так они походили на большие чернильницы, изготовленные для рекламы. Банщики все ходили в белых колпаках и белых фартуках.

— Ну, понял, в какую баню я тебя привел?— спросил Василий Гордеич, кивая людям в колпаках.

Пока Петр озирался, разбирая куда он попал, Василий Гордеич сказал без улыбки, со строгостью:

— По всем котлам тебя пустим. Котлы-то у нас ведер на шестьдесят, на семьдесят... Вот, братишки, привел новичка на сварку...

Один из мастеров шутливо спросил:

— С которого начинать?

Другой, из молодых помощников, открыл в это время крышку ближайшего котла. Он был полон вареного мятого картофеля. И то, что в нем было место, куда представлялась полная возможность умять еще одного-двух человек, заставило Петра отодвинуться дальше от этого котла. Он окинул взглядом другие ряды величественных белых котлов, и все они показались ему без дна и с жутью, как омута.

Старый мастер, останавливаясь около котла с супом, заболоченным зеленью — щавелем, проговорил с улыбкой, не всерьез:

— Ну что же, крестить молодца будем?

Другие столпились около, как бы ожидая уже обряда крещения.

Петр готов был опрокинуть каждого из них в котел, кто бы только хоть шутя потянулся к нему рукой. Но Василий Гордеич покачал головой.

— Нет, я его на чистку сначала, а потом в сварку... Видать, что не годен он здесь...

И Петр чуял себя в руках этих людей, примеряющих его к использованию на производстве, как только что добытый из земли овощный плод, который они могут опустить в любой котел. Если б сейчас под ним была земля, он руками и ногами вцепился бы в землю, как цепкими корнями, и боролся бы с этими людьми, распоряжающимися его судьбой. Но здесь под

ногами был крепкий бетонный пол, и нога была беспомощна проточить его, как слабый корень.

Василий Гордеич повел Петра дальше. Мимо него шли люди. Расходились по разным комнатам, говорили на ходу между собой, здоровались с Василием Гордеичем. Истопники несли дрова, уголь, растапливали огромные плиты, площадью в танцовальный зал, печи, помещавшиеся как будто под книжными шкапами. Мужчины и женщины тащили переносные котлы, катили тачки, развозили ящики, мешки. Все это проносилось мимо Петра, как шумный город, кипящий, бушующий стихией работы, энергии, крови в своих артериях.

Василий Гордеич привел Петра в настоящее чистилище. Перед ним вращался на оси огромный барабан, наполненный картофелем. Вода лилась на него сверху, как из душа. Картофель крутился в этом барабане, промывался от малейшей грязи и земли. Обмытый, освеженный, он попадал в подвешенное большое корыто и оттуда перебрасывался опять в крутящиеся металические чашки. Он в них бился, прыгал и взлетал, как живой. В этом кручении терял он часть за частью свою кожуру, оболочку розовую, желтую, красную. Его крутили, подбрасывали до тех пор, пока он не становился совершенно белым, чистым, сияющим. Таких очистительных чашек было несколько. У Петра рябило в глазах от этого кружения, движения машинных колес, ремней и бившегося в чистилище картофеля.

Люди молча сидели на мешках с овощами, распластанными прямо на полу, и окончательно обчищали картофель, выковыривая у него глубоко запавшие черненькие глазки-ростки. Это были все женщины. Работа не мешала им разговаривать, но машины совершенно заглушали голоса.

Под их красноречивыми взглядами, а особенно перед мастером, пускающим главную машину в действие, Петр чувствовал себя столь неловким, неумелым, как этот очищаемый картофель, не годный без посторонней помощи к самостоятельной работе и движению, а только приемлемый служить как продукт для чистки, обработки, варки и питания.

Василий Гордеич показал на Петра мастеру, и тот кивнул. Вас Гордеич прокричал в самое ухо Петру:

— Ставлю тебя пока на бабью работу. А там мастер Епифанов посмотрит, будешь ли ты годен в помощники, как приглядишься к машинам.

Василий Гордеич оставил племянника в этом чистилище корнеплодо

Петр стоял смущенный и протестующий. Но не двигался с места. А в деревне он не был растяпой-парнем, которого мог задирать каждый и подпихивать под локти. Но в этом движении, шуме, биении всех еще неведомых артерий он терялся совершенно.

VII

«Каждая кухарка должна уметь управлять государством».

Здесь на глазах Петра каждый младший поваренок, допущенный к обработке сырья, к плите и мешать ложкой в семидесятиведерном котле, умел наряду с этим пустить в ход любую машину и вновь остановить ее. Знал сигнал тревожного гудка и переводил регулятор давления пара на меньший нагрев. Знал механику и технические приемы каждого отдела. Мог любым из них управлять при помощи включения в машины электрического тока. Охватывал всю структуру фабрики от нижнего этажа до вышки. Чувствовал здесь себя, как рыба, которая играючи ныряет то вниз, то вверх в привычной атмосфере.

И не только поваренок. К стыду Петра, каждая уборщица, собирающая тряпкой все нечистоты фабрики, обильно увлажняющие пол во время рабочего дня, и та, оставляя тряпку, бралась еще сырой рукой за любой из регуляторов.

Он содрогнулся, когда увидел первый раз, как женщина, согнутая от постоянной работы в наклон, уподобленная по его мнению хавронье, ничего не видящей кроме грязи под своими ногами, оказалось, прекрасно видела здесь небо — протянула руку к выключателю. Он ожидал взрыва и гибели от столь дерзостного поползновения. Но от этого не взрывались котлы, не обрушились стены предприятия, не сломались машины. Фабрика продолжала отбивать свой рабочий темп.

Петр же не в состоянии еще был прикоснуться хотя бы к крышке сорокаведерного котла. Он видел, как другие учатся всей механике фабрики друг у друга. Люди легко об'яснялись между собой. Находили время для шуток, разговоров. Хуже всего было Петру оттого, что не знал, не понимал он общего языка, общих интересов и стремлений.

Он крутился среди людей, которые сами шли на эту связь. Задавали ему вопросы, делали предложения, с ним шутили, пытались увлечь его в экскурсии. Но это-то и было самое страшное и тягостное для него, приводившее его в отчаяние и смущение более, чем неумение уловить механику и темп поглотившего его предприятия.

Ему часто казалось, что люди просто издеваются над ним. Один дергает за ухо, другой — за полу, за вихры. Тянут его за рукава, утирают ему нос, дают по затылку, ошарашивают обухом. Набрасываются из-за угла, перебегают дорогу. Кидают в ноздри перцу. Швыряют песком в глаза. Толкают его со всех сторон, спереди, сзади, с боков.

Он, пребывая здесь, переживал ежедневно свое первое скитание по людным улицам незнакомого большого города. Он шел, обремененный сундуком и мешком, а люди крутили его, как кубарь, подстегивая бичом. Поворачивали его то влево, то вправо, отодвигали то вперед, то назад, и в то же время все машины улиц и предприятия преследовали только его одного

Вечером нападал на него Василий Гордеич:

— На общем собрании был?

— А что там?

— Шоколад раздают! Оглобля! Я на тебя надеялся. У меня два раза в неделю политграмота. Пришлось вчера выбирать что-нибудь одно... Я думал, ты... Сваришь с тобой кашу! Свой под боком, а у соседей беги спрашивать. Надо знать, с какой организацией шефов над нами назначили. А может, нам придется и самим выборных в ближайший колхоз посылать.

Хотелось Петру и не хотелось поучиться у дяди. С одной стороны, не в его характере обнаруживать слабости, а с другой стороны, сами они выдают его с головой.

Чистильщицы картофеля первым делом спросили его:

— Рабфаковец?

— Комсомолец?

И он, никогда не смущавшийся за свою беспартийность, стыдился и краснел за то, что не состоял в комсомоле и не добивался поступить на рабфак.

Молодежь из ударной бригады, его сверстники, просто не давали проходу, как ему казалось.

— В ударную идешь?

— Соцсоревнование даешь?

Комсомолки — те в упор кусали его, как осы.

— Увалень, давно берлогу оставил?

— Девочки, такого бы нам бригадира-кувалду!

— О чем только думают такие саженные лодыри?

Он скрывался от них, собираясь уходить, возвращался назад, заворачивал в ненужные ему отделения. Суживал свои широкие плечи, горбился, чтобы казаться меньше и тщедушнее. Но комсомолки еще с большей охотой атаковали конфузливого парня.

Мастер из очистительного отделения спрашивал у него во время перерыва, нет ли у него газеты в кармане, жалуясь на свою рассеянность. Петр, обеспокоенный этой просьбой, припоминал, что рабочие, едущие с ним ранним утром на работу, читали, качаясь на ногах в трамвае.

Кругом него твердили о пятилетке, об ударничестве, о соцсоревновании, о новой политехнической школе, о вечерних курсах, доступных каждому. Обсуждали политические события, перемены в государстве, недочеты в транспорте, колебания на рынке и виды на будущее.

Петр оставался в стороне. Начинал вдаваться в сомнения, хорошей ли преподавательницей была его сельская учительница.

Вот здесь любой на производстве, Петр хорошо знал, не умел бы показать на карте, где находится Америка. Но мог прекрасно обсуждать, какое там сугубо-буржуазное правление. Какая там средняя заработная плата. Каково там экономическое положение рабочего и насколько он силен политически.

Перед ним были люди, едва умевшие подписать свою фамилию и знавшие политграмоту, как первоначальную азбуку. Тут были люди, не побывавшие в начальной школе и способные руководить огромным предприятием и организовать толпы на самую производительную, нужнейшую для государства работу.

Петра звали иногда в рабочий клуб провести свободный вечер, и он отказывался из боязни оказаться простаком. Ему давали билеты в театры и кино. Он шел туда так же, как корова на хлев пощипать травку.

Комсомольцы предложили ему взять на себя обход по фабрике по проведению вопроса ликвидации безграмотности. И он отказался. В поту и страхе стоял перед своим сверстником, что тот не признает достаточно уважительным его действительно нелепые обстоятельства, мешающие ему взять на себя эту обязанность.

Вообще его всюду обстреливали, бомбардировали, штурмовали, брали на приступ, в штыки, в рукопашную, с тылу, в обход и прямо в лоб.

Ему чудилось, что он живет на людной площади. Все его норовят переехать и задеть, и у него нет пристанища, где он мог бы спокойно поесть и ступить без оглядки хоть один шаг. Даже детская колясочка, и та норовила его переехать.

VIII

От Усти Петр ожидал почему-то большего сочувствия к себе.

Под неистовый рев и гудки примусов в общей кухне он улучил момент пожаловаться ей, главным образом на комсомолок, донимающих его на фабрике.

Стояли они опять так же, как в первую встречу. Он наклонял голову над ее плечом и сосчитал уже не под легкой блузкой, а на открытом плече две полоски, бегущие одна вниз, через спину, другая спереди. Устя была тихая (перед примусами все тихими казались), серьезная и внимательная, не похожая на тех озорничающих комсомолок с фабрики. Она не носила опрокинутого на затылок красного платка. По крайней мере он не видел такового на ее голове в общей кухне и при посещении их комнаты. В другом месте ему не приходилось ее встречать. Вид совершенно гладких

нестриженых волос, заложенных над шеей в виде коротеньких, но толстых, как витые сайки, кос был ему вдвойне приятен.

Петру даже казалось, что и запах от нее исходил еще не вытравившийся, свой, близкий, деревенский. Он знал, она еще совсем недавно прижимала к своей груди вихрастые снопы, укладывала их в стожки. Это представление как-то роднило его с ней. Ему представилось даже, что в блузке у нее торчала застрявшая соломинка. Отчего бы ее не вытянуть и не пощекотать в носу? Он сделал бы это без всякого раздумья там, в деревне.

Она вдруг выпрямилась так, что хрустнули узкие полоски через ее плечи, и прокричала Петру в лицо, заглушая рев примусов:

— Я сама комсомолка! Что ты мне говоришь?

Для Петра это было такой неожиданностью, что по его вине чуть не произошла в кухне катастрофа. Он, подавшись от Усти, толкнул двух хозяек: одну с кастрюлей супа, другую со сковородой котлет. Женщины удержали равновесие посудин, но язык удержать было невозможно.

— И что это за парень крутится день-деньской под ногами, куда ни повернешься! Ничему не учится!

Это дало Петру возможность без дальнейших об'яснений с Устей скрыть свое смущение и неловкость в комнату дяди. Он даже не слышал, что та же Устя, кричавшая на него, теперь оправдывает его же перед целой армией разгневанных домашних хозяек.

Василий Гордеич лежал, закинув ноги на изголовок кровати, и читал об'явления. Увидав входящего Петра, он кивнул ему.

— Эй, парень, нет ли там Усти на кухне? Кликни ее. Тут я прочитал...

Петр, подавляя свое смущение, снова выглянул на кухню и позвал Устю:

— Дядя тебя зовет,— нарочито подчеркнул он.

Устя с большой охотой вошла в комнату. Василий Гордеич спустил ноги с изголовья кровати и повернулся к Усте.

— О политехнизации читала? Прежде рабочему человеку отдать ребенка в школу, значит выйдет белоручка. От своих отстал и к другому сословию рядом не вышел. Сколько их таких было! И посейчас ученые такие сами себе в тягость и государству не в радость. Пускаются такие вон по свету,— указал он на Петра,— не знают и не умеют за что взяться...

Устя рассмеялась и с живостью добавила:

— Петр-то твой не знал, что я комсомолка.

— Да что он знает, ты спроси его...

Устя, опираясь плечом о косяк, как о ветвистое дерево, скользила рукой по кромке, как бы ища сучочков. Ей хотелось сломить сейчас хорошую лиственную ветку и подразнить ею Петра. Она, улыбаясь, спросила его:

— Ну что ты, Петр, знаешь, скажи?..

Петр молчал. Он держался одной рукой за угол стола и сокрушал его с такой силой и напряжением, что краснота и пот выступили на его лице. Пот защекотал за ушами и остановился, замер на виске.

— Ну, говори!— приставала Устя.

Василий Гордеич, тяжело скрипнув кроватью, повернулся к Петру.

— Ну, говори!— настаивала Устя, переглядываясь с Василием Гордеичем.

Да уж я скажу за ... л Василий Гордеич.— Обиды он

свои считать умеет, чужих он не видит. Покос знает, косу, вилы, грабли. Девок деревенских знает, которые на вечорках частушки поют...

— Не знаю я девок деревенских!— с ожесточением дернулся за столом Петр, отпихивая его от себя, как назойливую девку.— Что вы на меня все набрасываетесь!..

— Заплачь,— усмехнулся дядя.— Он один плошкой, а семеро с ложкой.

Петр так был взволнован и ожесточен, что у него от напряжения действительно готовы были вырваться слезы.

Василий Гордеич, привставая, заговорил вразумительно:

— Так ведь ты как держишься-то со всеми: горбом, хребтом. Локти к людям уставляешь. Другие к нему с словом и делом, а он как упрется враз руками и ногами и давай землю рыть...

Устя вдруг спустила с косяка поднятую руку и, переставая улыбаться, подвинулась ближе к Петру.

— Ну, Василий Гордеич, он парень ничего. Я сколько о нем думаю, с чего такое... Это у него пройдет... Где тут с разбегу всего набраться...

Она оперлась о тот же стол, который сокрушал и не мог сокрушить Петр, и почуяла, как дрожит под его рукой столешница...

От ее мягкого движения ослабла тяжелая сокрушающая судорога его руки, и пот скатился с его висков по щекам и повис на них, как слезы...

IX

Воспевают природу. Славословят лес. Неустанно поют гимны всем четырем временам года: весне, лету, осени, зиме. Каждый период перепет на многие тысячи томов.

Редкий прозаик, поэт не касается этой многострунной арфы, не играет, не импровизируя на ней новой и древней неиссякаемой песни песней.

Прославлены храмы религиозного культа, замки — убежища знати.

Можно ли воспеть идеал технических достижений?

Поднять на высоту славословия общественную кухню?

Да, я слышала такое славословие и хочу его передать.

Двое людей ходили по фабрике-кухне, и один из них не говорил, а прямо пел другому:

— Вот она, наша кухня! Смотри! Технически — это совершенный слуга человека. Видишь, какой огромный зал. Бывала когда-нибудь в консерватории, где дают общественные концерты? А здесь — обеды. Вон плита. Она похожа на эстраду. На ней может поместиться полный оркестр или хор лучших певцов — и помещается гвардия сковород, кастрюль и противней.

Смотри налево и любуйся. Видела ли ты что-нибудь лучше, отраднее этого: ряд белых неисчерпаемых колодцев. Они облицованы сверху эмалью. Погладь же. Это — эмаль. Посмотри, какая чистота и красота. Небойсь, ты никогда не думала о Швейцарии. А я вот слышал о ней от бывалых. Белкам, по их выражению, примера нету. Теперь я еще поспорил бы с ними.

Здесь всего чуть не полсотни таких общественных колодцев от сорока до семидесяти ведер. Они неиссякаемы, эти колодцы. Они бездонны. Они мощны насытить целый город с населением до пятидесяти тысяч человек. И в две смены — насытить до ста. Ты представляешь, какая цифра? Сто тысяч человек! Достаточно одну такую кухню бросить в средний провинциальный город, и население будет избавлено от ига и рабства, грязи и

траты времени, обременяющих в образе единоличной кухни каждый дом, каждую квартиру.

Единоличная кухня сама по себе мизерна, микроскопична против этой фабрики. Она разбросана, размножена по стране в миллиардах экземпляров. С ней бороться трудно. Она так же страшна, как туберкулезная бацилла, отвратительна, как тифозная вошь, как азиатская чума.

От этой язвы гибнут девяносто процентов женщин, обреченных проводить лучшие дни и часы у горшка, который нужно наполнять всю жизнь. Этот паразит иссушает мозг человека, сводит его на низшую ступень. Выводит из строя квалифицированных граждан. Поняла ты, что это значит?

Девяносто процентов закрепощенных женщин будут освобождены.

Теперь взгляни в эти колодцы. Вспомни-ка! Девчонкой бродила по луже и думала, что ей дна нет. Заглядывала и в колодец. С жутью видела там тень своего отражения. Сознайся, пробовала измерять дно ведром на веревке. Ну, а здесь разливальный ковш равен ведру. В колодцах вода черная, страшная, но этот источник благословенен в обойденной техникой местности. А здесь сплошное техническое благословение.

Вот перед тобой целый молочный бассейн. Можно искупаться в молоке. Еще бабки рассказывали: «И дошел он до молочной реки, а берега были кисельные...» А рядом и кисель. Вон супы. Обрати внимание, какой навар. Не всякая хозяйка сумеет такой суп сварить, а будет тратить на это полжизни. И все же муж ее упрекнет, что она плохая хозяйка.

Вот направо другой ряд котлов. Хочешь, я открою один? Да ты не страшись. Видишь — крышка сияет. Это никель. Вот, открываю — мятый картофель. Небойсь, целый крестьянский огород пошел в этот горшок.

Теперь заглянем сюда. Чувствуешь, какая тонкая забота о женских руках. Кто же как не женщины этим занимались и занимаются. Перед тобой избавительница мытья грязной посуды. Машина принимает грязную посуду и возвращает ее совершенно чистой и сухой. На эту машину должны молиться хозяйки-женщины. Ну, идем, идем! Я вижу, ты готова расцеловать эту машину.

Ты согласна, что женщины должны боготворить такую фабрику? Такую освободительницу-кухню должны воспеть не меньше, чем утреннюю зарю, восход солнца. И эту оду распространять, как манифест грядущей свободы.

Вот ты поступаешь сейчас сюда. Ты — женщина. Так кричи же во славу фабрики-кухни!

Чу! Слышала? Гудок. Это сигнал предупреждения слишком большого нагрева. Это ничего. Я нажимаю вот этот регулятор, и все в порядке. Видишь, как просто. Ты удивляешься? Тебе это кажется сложно и непонятно. Ну, а я знаю применение и назначение всех регуляторов, как пять своих пальцев. Я не буду тебе хвастать, что только я один здесь владыка. Я, наоборот, похвалюсь, что здесь все вплоть до судомойки знают управление любым регулятором. Так проста система управления ими.

Пошли дальше. Нам еще предстоит хорошая прогулка.

Вот, смотри, целые этажи духовых пещер. Здесь выпекают пирожное. Иди дальше. За чаем можешь полакомиться.

Ну, а здесь перед тобой настоящая операционная. Столы, на которых разрезают на части целые туши. Специалисты-мастера так же священнодействуют, берясь за нож, как профессора-хирурги. Здесь все машины к их услугам. Все препараты. Совершенный набор инструментов. Вот машина, которая перерубает кости. Рядом — режет мясо на пласты. Тут же мясорубка. В этой операционной человек затрачивает минимум энергии

и получает максимум выработки. Всю черную, тяжелую работу исполняют машины.

Идем дальше. В нашей кухне никто не мозолит рук, чтобы нарезать хлеб. Это также исполняет машина. Смотри, с какой быстротой и аккуратностью она это делает. Посмотрела? Пойдем. Я стремлюсь показать тебе мое любимое отделение.

Вот оно! Смотри и слушай! Я буду кричать тебе в самое ухо, как у нас в общей кухне, иначе ты ничего не услышишь из-за шума машин.

Это чистилище!

Это мой первый этап, через который я прошел.

Видишь ты этот крутящийся барабан, как железная клетка, наполненный картофелем? Он поступает сюда грязным неопрятным и возвращается, как из бани, вымытым, чистым, освеженным от всех нечистот.

Дальше он получает такую обработку. Вон, смотри сама. Его обчищают в этих чашках до полной белизны. Ему нет выхода, пока с него не сойдет его шкурка.

Я люблю эту очистительную машину больше, чем карусель. Я с большей охотой прихожу к этому крутящемуся барабану, чем я пошел бы на деревенскую ярмарку кататься с девками на деревянных конях.

Здесь очищается не только картофель, с тем же успехом очищаются все корнеплоды: свекла, репа, брюква, морковь. И так же легко очищается рыба от чешуи. Смотри, смотри, как ее обрабатывают!

Ну, ты довольна? Все понятно?

Женщина улыбнулась.

— Я больше довольна, что такая фабрика обрабатывает и такое утильсырье, как ты...

Восстание Олимпиады

Рассказ

Николай Ассанов

1

Начинать эту работу трудно. Дни преследуют меня солнцем или дождями, головной болью и отсутствием писем. Вечерами я остаюсь один и подвожу итоги. Итоги неудач.

Каждой ночью я проверяю все сто семьдесят дворов села. Урал наступает на нас, пришлых людей, темнотой, суевериями, серыми громадами лесов и тщательным недоверием. Мы не можем его победить.

Я думаю о комсомольской ячейке. Иван Ершов становится прямо передо мной, засунув руки в карманы. Он насмешливо поводит широкими плечами и не соглашается со мной. Он тоже не верит.

— Что могут сделать восемь неграмотных парней?— спрашивает он меня.— Мы пытались наладить культурную работу, но наши спектакли превращались в побоища. Ребята приходили на них, чтоб избить своих неверных любовниц и уйти с гармониями. Здесь нужна трагедия, которая бы всколыхнула все болото. Нужно, чтоб мужики и женщины, и дети до грудных возрастов поняли всю никчемность и тяжесть их сегодняшнего дня...

Ершов тоже пришлый одним боком. Он два года работал на заводе. И ему верят всего восемь человек комсомольцев. Наши слова недейственны.

Ночью я перебираю сто семьдесят дворов. Восемнадцать человек пошли в колхоз. Ночами они обдумывают свои заявления и утром приходят ко мне. Они приходят брать их обратно. Я их отговариваю.

Но я рад. Я рад, что деревня поставлена вверх дном. Я рад, что мужики приходят доказывать. Я рад шипению женщин и ликбезу, который только что разошелся домой. Я рад черным и белым ночам, в которых крадется враг и сторожко оглядывается друг. Все-таки мы исподволь, тихо, но побеждаем. Уже женщины приходят на собрания, а год тому назад:

— Ежели бы она пошла мешаться в мужские дела, ей было бы плохо,— говорит Ершов, указывая на сидящих сзади баб.

Я слушаю его. На собраниях гул взволнованной жизни отчетливо отдается в возражениях крестьян.

Ломаная линия улицы всползает на гору и вновь падает с нее. Из моего окна виден майдан [1], где шесть месяцев тому назад пьяный мужик вилами-тройчатками заколол жену. Его осудили на два года, и село удивилось. Оно не понимало, за что осудили. За бабу?

---

[1] Площадь.

Кто-то мешает нам. Этот к т о - т о разбивает нашу повседневную работу. Мы не можем его найти.

В селе мало культурных людей. Секретарь сельсовета, секретарь комсомольской ячейки, учительница да я. Но сегодня, подводя итоги, я могу сказать честно:

— Мы сделали много. По сравнению с тем, что было. Но этого мало. Очень.

Ночь. Лампа чадит и вспыхивает, расцветая багровым цветком. Керосиновый цветок лампы. Сегодня восемнадцать заявлений в колхоз. Сегодня мужики тихо шепчутся, но боятся сказать что-то важное.

— Ты уедешь, а мы останемся здесь. Нам будет плохо,— бросают они, не договаривая самое важное. Как их поднять?

Если бы найти человека, который знает и бросит все, что он знает, в лица, закутанные бородами и недоверием к нам, они подымутся во весь рост! Они уже научились ощущать всю неприкрашенную наготу их собственной жизни. Голого бытия. Они пытаются представить.

Прямой и худощавый комсомолец Ершов говорит, что нужна трагедия. Я не совсем убежден в этом. Но я знаю, что в потрясениях и революциях вскрывается истинная сущность вещей. Обнажаются соотношения сил. Становятся понятными недоговоренности.

Я подвожу итоги. Женщины подымают головы. Но я бросаю перо, потому что в мою дверь врывается тяжесть падающего тела. Костяной стук падения и тишина...

2

— Дай мне чашку водки,— сказал он, просыпаясь утром.

Водки не оказалось под рукой. Под рукой оказался сапог, подбитый железной подковой, и Олимпиада ахнула, хватаясь за бок. Она была в одной рубашке, и волосы ее текли по лицу, как черные слезы. Это было первое утро после торжественного бракосочетания.

Петр Иванович — она всегда называла его так — отвернулся к стене. Он был прав. Чувствовал себя правым. Отец решил эту свадьбу, чтоб летом не нанимать работника. Отец избил его, предварительно связав сонного ременными вожжами. Бил за отказ методически, с чувством, выбирая больные места. Бил дубовой палкой, с которой ходил в церковь.

Через два часа Петр, почти без сознания, согласился жениться на «испорченной» Олимпиаде. Она была изнасилована в лесу каким-то парнем, который вымазал лицо сажей, чтоб его не узнали. От парня был ребенок. Ребенок утонул в колодце, и кто знает — может быть, из-за злобы, сплетен и тяжести деревенской жизни «испорченной» девушки?

Первый день начался ударом в бок. Год был тысяча девятьсот восемнадцатый, Петр был килун, то есть болен грыжей, и Олимпиаде некуда было бежать, а на военную службу его не брали. Так началась «счастливая» жизнь Олимпиады.

Олимпиада сидит в моей комнате. Она засунула в скобу двери железную кочергу и подвинула к окну, выходящему на улицу, тяжелый шкаф. На ней опять одна рубашка, но она разорвана, и груди свисают вниз, посиневшие от соленого ночного мороза. Волосы растеклись по лицу, как слезы, но это седые волосы. Ей всего тридцать три года.

— Почему ты не ушла от него раньше? — спрашиваю я.

— Да разве я знала? — она часто всхлипывает. Так рвется гнилая пряжа.— Он говорит, что по разводу я голой выйду. Я ведь приданого не принесла. Убить грозился, ежели просить развода пойду-у...

Это «у» звучит тусклым унижением и отчаянием. Оно продолговатое, как последний вопль зверя.

Петр Иванович Климов ходит по селу. Петр Иванович Климов несет в руках железный лом, и кажется, что он врос в его руку. Петр Иванович засматривает в окна и ищет жену. Свою жену. Он не позволит ей уходить из дома. Олимпиада вздрагивает и косится на запертую дверь и окно. Я подаю ей свое пальто. Она зябко кутается.

— Успокойся, Олимпиада,— говорю я.— Он не посмеет зайти сюда. Хочешь чаю? — И я ставлю на примус остывший чайник.

Петр Иванович не догадается, что его жена убежала на другой конец села. Полтора километра по морозу в тридцать восемь градусов босиком, в одной разорванной рубашке. Надев тулуп, он ходит по сараю и двору, по соседним переулкам, заглядывая в окна. Завтра он чинно придет в сельсовет, чтоб заняться делами секретаря. Он будет говорить о коллективизации и ее трудностях.

— Коллектив нам надо,— скажет он,— ой, как надо, однако трудно раскачать наших мужичков. Особо трудно,— скажет он,— раскачать баб наших. Не понимают они, бабы-то,— скажет он,— своей пользы. Вот и моя жена,— скажет он и махнет рукой,— сколь раз говорил: приди ты хошь на собрание, послушай! Умные речи говорятся. Приезжие люди нас просвещают. Нет! Куды там! — это именно скажет он и махнет рукой.

И мужики подтвердят: действительно, с бабами трудно, и Петр Иванович больше ни слова не скажет о жене. А остальные привыкли. Зачем сор из избы выносить?

Зубы у меня скрипят. Челюсти шевелятся в немой ярости. «Ух! Гадина!» — бросаю я, не умея сдержаться. Олимпиада вздрагивает. Но я вожусь с чайником. Он поспел. Я слышу, как мелкой дрожью дергает женщину, и вынимаю спирт. Она проглатывает его с водой. Затем мы молча пьем чай. Иногда ее глаза расширяются. Они становятся круглыми и застывают на окне. Это идут по улице.

— Успокойся, Олимпиада,— бормочу я,— он не придет сюда.— И вслушиваюсь в шаги. Ее дрожь заражает меня, и я с удовольствием встретил бы сейчас иконописное лицо секретаря сельсовета, чтоб, радостно вскрикнув, дать резкий удар, от которого бы оно перекосилось пополам, как наскоро склеенная тарелка белой глины. Но я беру себя в руки. Я не прав.

3

После чая она согрелась и немного успокоилась. Но спать она не может. Она спит иногда днями, когда муж в сельсовете. И вот мы сидим за столом, заваленным рукописями, брошюрами, газетами и вырезками, которые трубят во весь голос о великой перестройке жизни, о новом лучшем и хорошем.

Все это освещено желтым полосатым светом. По углам скопились весомые тени, ощутимые наощупь. Лицо Олимпиады прозрачно, и только в глазах мутными бликами застыл страх. Она не смотрит в темноту. Взгляд ее лежит на желтой коронке света. Она застенчиво оправляет на плечах шубу. Понемногу она превращается в женщину.

— Он книжки читал. Грамотным по селу считался. На поле придем — он на меня: «Жни! Я тебя кормлю!» А сам сядет на меже и посмеивается. И я должна была за два урока сделать. В голодные годы казанские к нам пришли. Двух нанял. Напахали и засеяли одиннадцать десятин. Сам знаешь,

по-нашему это много. Хлеба снимали большие суммы. Менять он его стал. Роялью выменял, кустюмы. Садов по комнатам наставил...

Я вспоминаю отзывы о культурном хозяине Петре Ивановиче Климове. Горожане останавливались у него. Восхищались. Предупреждали, чтоб я обязательно зашел. Говорили о его первом в краю пчельнике. Расхваливали медок. О коровах вспоминали. О свиньях. О травосеяньи, введенном замечательным Петром Иванычем. Неужели они не замечали этой женщины с синеватой кожей лица, с глубоко упавшими внутрь глазами? Повидимому, нет. А я? Разве я замечал?

Бил он ее регулярно каждую ночь. Сначала сапогами, потом предметами домашнего обихода. Затем он выменял за два фунта печеного хлеба стэк.

— Когда он повесил над кроватью эту штучку, я заплакала. А он таким ласковым голосом говорит: «Это я тебе в подарок купил, чего, дура, плачешь!» Снял со стены и играет, а он как змея вьется. «Знаешь, говорит, как это называется? Стег это, для таких кобыл, как ты»,— и раз! И не то больно, что бил он меня,— многие у нас баб бьют,— а то, что с ехидством он бил, с выдумкой. Неужели я всех несчастнее уродилась? О, господи!..

Она рыдает, упав на руки, вспоминая и «стег» и все остальное, столь же унизительное и больное.

Но культурный Петр Иванович был неистощим. Осенью двадцать второго года он привез из города человека с ящиком. Тот попросил холст, разложил краски и принялся за работу.

И вот, извиваясь под одним взглядом хозяина, Олимпиада разделась донага перед ними. Художник опытным взглядом оценивал еще не успевшее отцвесть тело женщины. Он написал за пуд ржи ее портрет. А Олимпиада дрожала в животном ужасе, прикрывая руками свою наготу, пока Петр Иванович не брался за «стег».

Я видел потом этот портрет. Художник не поставил своего имени, и нет биографии произведения. Но рисунок полон злобной экспрессии. Очевидно, и художник был принижен, как Олимпиада, сбит с ног голодом и чудовищным рычанием той эпохи, если он согласился на этот блуд. Голая женщина вьется на темном фоне, и лицо судорожно затушевано ужасом перед чем-то, находящимся вправо за пределами картины. Рука ее падает вниз и снова обрывается перед страхом наказания.

Но Петр Иванович не бросал жену. Очевидно, он слишком ценил рабский труд этой женщины и свою роль палача, дающую наслаждения «высокого порядка». По ночам он заставлял приносить картину в комнату, раздевал Олимпиаду и ставил их рядом. Он плевал в стыдные места, истязал жену горячей бутылкой и, избив ее, ложился спать.

Утром он уходил исполнять обязанности бессменного секретаря сельсовета с 1922 по 1930 год. Его соседи и восхищавшиеся им гости не знали этой ночной жизни. Да и увидав синюю женщину, дважды родившую мертвых недоносков,— они одинаково отворачивались.

Последний предел этой странной и страшной жизни наступил в конце 1929 года. В село неисчерпаемым потоком хлынули новые люди. О женщине вспомнили по-настоящему. Зашевелилась учительница, стала собирать крестьянок на посиделки, читать им книги, вести беседы. Впервые заработал ликпункт.

А через месяц она сбежала, испугавшись вымазанных дегтем ворот и похабных частушек, сложенных в ее честь. На смену приехала вторая, которая выстрелами из веллодока отпугнула хулиганов и покорила серьезных мужиков, входя в мелочи повседневной их жизни. Она приняла на

свои узкие плечи всю тяжесть работы во взволнованном селе, пробуждая почтительность наравне с враждою.

От нее первой узнала Олимпиада о возможности развода, все же не рассказав правды. От нее она узнала о коллективизации в короткие промежутки коротких встреч и составила особое понятие о колхозе. По ее мнению, колхоз должен был знать все, что делается между мужем и женой. Это не было примитивное понятие «сорокаметрового одеяла, под которым все вповалку спят», распространенное в этот переходный момент кулаками и церковниками, но она верила в контроль колхоза.

— Может, он бы тогда и постыдился. Ведь все бы вместе жили. Люди бы ходили к нам, и я бы с ними говорила. А то ведь одна я, одна, как былинка. Он сидит в совете, а я заперта, как на замке. К нам зайдут, а я подам что надо — и на черную избу. Ежели выйду куда аль зайду без спросу — значит, ночью вдвойне мука!.. Пойми, товарищ, жить невмоготу стало...

Ей было давно невмоготу. Но тут она уловила призрак освобождения и только тогда поняла это...

Ночами Петр Иванович напивался. Глаза его становились красными и твердыми. Но он никогда не хмелел до беспамятства, до паденья на месте. Напившись, он брал в руки стэк и командовал:

— Кричи: «Да здравствует колхоз!» Не так! Громче! — он щелкал стэком по столу и, извиваясь всем телом, в безумии кричал:

— Теперь: «Долой колхоз!» Слышишь! — и в два голоса они выкрикивали в ночь сумасшедшие слова.

— Ты такая красотка, что там тебя в очередь будут...— и мерзкие ругательства насыщали воздух.— Я им покажу колхоз! Так же запляшут, как ты! Ну, кричи: «Долой!» Ну!

Сегодня он напился еще омерзительней. Он разделся донага и плясал по комнате. Вздутая грыжа, понемногу превратившая его в импотента, болталась в ногах. Он оскорблял женщину, заставляя ее кричать циничные ругательства по адресу колхоза и советской власти. И женщина, убежденная во всесилии мужа, в гибели колхоза по его желанию, женщина, молчавшая двенадцать лет, внезапно заговорила. Под неумолимой тяжестью отвращения она вдруг сбила с ног это чудовище и в лицо ему выкрикнула все перенесенные ею оскорбления, всю ненависть к нему и ужас перед ним в одном слове:

— Врешь!

Петр Иванович так растерялся, что остался лежать на полу все время, пока она, гонимая омертвляющим тело и сердце холодом, бежала по селу. Она услышала его выкрики, подбегая к моему дому. Почему она, разбивая в кровь свои босые ноги, ворвалась ко мне? Потому ли, что горел огонь, когда все уже спали, или потому, что огненной ненавистью ко мне пропылали ночи Петра Ивановича?.. Она не сказала.

И вот мы сидим за столом, заваленным книгами, рукописями и газетами. Ее худое тело бьется в молчаливых рыданиях, доотказа наполненных отчаяньем. Я снова даю ей спирт, разбавленный водой. Я молчу.

4

Продолжается ночь. Я подвожу итоги. Розовые цветы косых керосиновых лучей пробиваются на столе сквозь груды бумаг. Жизнь сломана вдребезги, и косо склеиваются ее обломки. Наперекор ветрам и пурге, бьющей в лицо, собираются люди в колхоз. Они жмутся друг к другу, они говорят о возврате заявлений, которыми разбита несложная, но привычная жизнь, но они не берут их. Это первые.

И вот, разбивая босыми ногами лед и камень эпохи, идет женщина. Она кутается в разорванную рубаху и ищет огня. Она разрушает устои и рабство, ибо она верит в колхоз. Ибо черное пламя ненависти скопил Петр Иванович на слове «колхоз». Ибо страшен колхоз господину женщины. Значит колхоз силен? Значит он может ее спасти?

Должно быть, Олимпиада думала проще. Но именно эта вера в колхоз и это изуверство Петра Ивановича столкнулись в глухую ночь в последней схватке. И ненавидя его и подчиняясь ему, она проносила в безнадежном страхе свою веру...

Колхоз! Восемнадцать колеблющихся домохозяев. Колхоз! Глухое шипение по углам. Колхоз! Злоба до скрипа челюстей при одном слове. Колхоз! Надежда, бегство к нему. Вера, проносимая сквозь угрозы и побои, сквозь вековечный уклад забитой, гробовой тоски, сквозь весь «идиотизм деревенской жизни» — как сказал Энгельс, отчетливо провидя единственную силу, способную все победить, все принять, все претворить и переделать. Колхоз!

Я молчу. Разве можно нашими куцыми словами утишить горе, окостеневшее в своих формах? Ночь окружает нас. Над миром встает третий час безлунья. За печкой, отдуваясь, шуршат тараканы, как после тяжелой работы. Стекло лампы закоптилось сверху, и керосин выгорает. Я бросаю на лавку тулуп.

— Ложись! — говорю я. — Спи. Утро вечера мудренее.

Олимпиада уже обессилена. Не сознавая движений, она падает на постель. Ночь.

Не видя ее, я чувствую, что ее глаза широко открыты. Они ощущают тьму. Одни они живут в этот страшный и долгий час. Я наконец засыпаю. И уже цепляясь остатками сознания за ее голос, я слышу тягучие слова:

— Николай Олександрович, ты ему не скажешь? Не отдашь меня? Ведь убьет он меня теперя! Как же быть-то? Николай Олександрович!

— Спи, Олимпиада. Никто тебя не тронет... не-ет...

Я засыпаю.

Во сне я вижу Петра Ивановича в сельсовете. Я вижу, как из его прилизанного лица выползает вторая харя, которая, разинув рот, кричит мне, чтоб я отдал Олимпиаду хозяину. «Я ее убью!» — кричит рожа, и черный язык, похожий на жабу, вываливается из ее рта. Рожа хохочет: «Хи, хи, хи! Ха, ха! Хо, хо!»

Я не знаю, спала ли Олимпиада в эту ночь, или опять молча лежала, переживая в этот срок отдыха свою жизнь. Проснувшись, я увидел ее широкие, как окна, глаза, устремленные на меня. Она лежала в том же положении, как я ее оставил. Но страх, отраженный в глазах, был не покорен. Присмотревшись, я увидел под подушкой рукоять моего нагана.

Напоив ее чаем, я тщательно закрыл двери и вышел. Я еще не составил определенного плана действия. Я не знал, что предпримет Петр Иванович, сообразив, что жена все-таки убежала. Я осмотрел улицу. Она лежала совсем не страшная днем, прямая в своем пути к горам Урала и тихая по-утреннему. К сельсовету шли мужики.

В селе не было партячейки. Не было милиции. Были комсомольцы и я, уполномоченный по коллективизации. Начерно обдумав эпилог, я пошел к учительнице. Я шел через все село. Еще я искал одного нужного мне человека. Я остановился только у дома Ивана Ершова. Открыв дверь, я вызвал комсомольца.

Очевидно, на моем лице было отчетливо видно все страшное, что я узнал. Он выскочил, волоча пальто за рукав. Он задыхался.

— Что, что? Куда? — спрашивал он, уже седлая лошадь.

Я проводил его взглядом. Он скакал в селю Вильегорд за милицией.

Учительница была еще дома. Она встретила меня рассказом о необычном визите. Петр Иванович приходил осматривать ее комнату на предмет ремонта. Ей я рассказал все.

Неся на вытянутых руках сверток с женским бельем и платьем, укутав его в газеты и бумаги, чтоб не было понятно, я шел домой. Я опасался, что Олимпиада могла в порыве смертного отчаяния застрелиться или Петр Иванович мог найти ее. Я прибавил шаг. За один квартал я бросился бегом. Это было смешно, должно быть, но для меня страшно. С размаху я рванул дверь. Олимпиада лежала, повернувшись лицом к стене.

5

Все-таки она ушла. Пустыми глазами я осматривал комнату и сверток половиков, прикрытый тулупом. Это была детская наивная хитрость загнанного зверя. Вместе с Олимпиадой исчез мой наган. Посуда со стола была убрана в шкапчик, моя постель заправлена — именно это и заставило меня открыть ее уход. Но сверток половиков не успокаивал меня.

Той же рысью я бежал к центру села. Около сельсовета толпились мужики. Они кряхтели на морозе, похлопывали рукавицами и смеялись. Им не было дела до моего отчаяния. Я все же успел рассмотреть до десятка человек, на которых можно было надеяться.

Открывая дверь, я зажмурил глаза перед отчетливым видением момента, как я ударю Петра Ивановича в лицо, как перекосится оно страхом, как согнется спина его, и имя Олимпиады рухнет на его голову. Я шагнул вперед и замер, внутренно подымая себя на жесткий удар, который прозвучал бы, как выстрел.

Все оглянулись на меня. Ближе стоящие попятились, и я прочел на их лицах страх. Тогда я увидел.

Крестьяне злобно и часто дышали, подтягиваясь к столу. От овчинных полушубков порывами резкими и частыми бил гнилостный запах. Тут были колхозники и единоличники, слившиеся в одном движении вперед. Дым махорки и запахи сшиблись с единым гулом, напоминающим сдавленное рычанье. И над всем этим царило голое женское тело, исполосованное ударами и ранами, горевшими фиолетовым и багровым светом. Олимпиада стояла в центре, спустив до пояса рубашку. Она размахивала наганом перед косым лицом Климова и кричала надтреснутым голосом обвинения, слышанные мною в эту ночь.

Пронзительным воплем отдавались ее слова где-то в глубинах мозга. Резкими ударами сокращалось сердце, и мучительно ныли кости, тревожимые желанием сжаться и слиться в одном мускульном напряжении удара.

— Мужики! — кричала она.— Кого вы секретарем сделали? Кого вы боялись? Мужики! Он вас запугивал, мужики, он вас измотал, мужики! Где колхоз, мужики? Он его с'ел, мужики! Где ваши труды, мужики? На его полях ваши труды! Вы трусы, мужики, напугались его слов. Змеиные его слова! Он вас в плен взял, он из вас веревки вил! Отдайте меня ему, пущай он меня убьет! Врете! Не отдадите! Не то теперь время! Вот его руки! Вот они на моем теле. Он из вас то же делал! Эй, миряне, проснитесь! Жизню нашу он с'ел! О-о-о-о!..

Тяжелыми телами налегали на стол мужики, и дикие их лица грозили смертью Петру Ивановичу...

Я прошел сквозь толпу без сознания. Это было рельефно, но невозможно. Оплеванные, грязные стены были, казалось, покрыты кровью. Увидев меня, Климов завопил долгим голосом, бросая ко мне руки:

— Что же это, товарищ Ассанов! Они убить нас хотят! Это же заговор! — вопил он, и слова сбивались в один вопль.— Спасите меня, товарищ!

Я выбил револьвер из рук обезумевшей Олимпиады. Я встал перед ним, смотря прямо в темные глаза крестьян.

— Не слушай его! Не слушай, товарищ уполномоченный! Он нас обманывал и обманет тебя! Мы терпели! Терпели мы, но больше не можем! Не слушай его!

— Я уже знаю,— сказал я и почувствовал, что тело за моей спиной превращается в комок. Оно сжималось. Подожди, ребята. Сейчас приедет милиция...

Меня перебила Олимпиада.

Тусклым светом сверкали ее зрачки. Она извивалась, как помешанная, сияя багровыми и фиолетовыми полосами обнаженного тела. Двери хлопали, как выстрелы; я вспомнил, что именно на этот час было об'явлено собрание. Крестьяне заполняли свободное пространство от дверей до стола. Она же визжала пронзительным голосом, и жалкое существо Климова дрожало под ударами резких слов.

— Он вас предал, мужики! Я хочу говорить с миром!— это и еще многое кричала она.— Где колхоз, мужики? Где лучшая, лучшая хорошая жизнь? Как меня он мучил, так мучил вас! Пьянков! Суслов! Федоров! — Она рыскала глазами по толпе, выкрикивая фамилии, как мобилизационные списки, и названные ею отшатывались за других.— Не вас ли он приводил к себе? Не вы ли пили его мед и водку? Не вы ли, эй, мужики, не они ли травили вас всех на колхоз? Слышишь ты, мучитель! Как меня ты метал и мучил, так ты вертел миром! Ты кулак! Ты сосал нашу кровь! Ты, ты, ты! — Она задыхалась.

Мужики надвигались. Рыжие бороды курились огнем. Я боялся неожиданного. Комсомольцы крутились впереди, но их обуяла первородная злоба. Впоследствии они признавались мне, что кинулись бы даже на меня, если б я стал защищать Климова. Где-то вдали вскипали воспоминания: как тогда-то Климов дал пять пудов хлеба и взял восемь; как тогда-то он вспахал чужими руками на своих конях полосу за половину урожая; как он издевался над приходившими просить помощь. Все это вспомнили мужики в горячий час злобы и ненависти...

Они подвигались на стол, где сидел скорчившийся человек. Я хотел, чтоб милиция была здесь. Я почти знал, что Ершов не успеет привести ее, но я страстно желал. Мужики брали меня руками, чтоб отбросить в сторону, и я не удивился своему покорному движению на их кулаки, висящие в воздухе. Я не удивился бряцанию шпор и резким окрикам милиции, я воспринимал дальнейшее как бред.

Они прискакали во-время. Ворвавшись в избу, они растолкали толпу. И в тот же момент раздался звон, отчаянный звон разбиваемого стекла. На одно мгновение разбитое стекло зачернело повисшим в пространстве телом, и разом стало свободней дышать. Мороз врывался в разбитое окно сорокаградусной тяжестью. Олимпиада ахнула и впервые упала без чувств на грязь, на воду, стекавшую с валенок, на окурки. И раздались крики: «Лови, лови!»

Но дверь была узка. В двери сбились десятки тел, и, когда Ершов вырвался на улицу, Петра Климова не было видно. Мороз был стоячий, и, разрывая его на части, толпа кинулась к двухэтажному дому Климова. Милиционеры ловили разбежавшихся лошадей.

Выбравшись на улицу, я увидел снежную плоскость, зажженную солнцем в миллион отблесков. Пересекая ее, стремились наклонные вперед

косые фигуры. Они дробили горящие отблески солнца. Улица сплошь состояла из наклонных косых и огней. Хлопали двери, косо устремлялись крыши с наметенными на них суметами. Из домов выбегали раздетые женщины, наклонившись вперед и в одну сторону. Мимо меня пролетел старший милиционер, и лошадь падала со всех четырех ног. И все это было залито больным светом распластанного в снегу и вновь отраженного солнца. По глазам ударила тьма, и, что-то крикнув в ответ на косые упрямые вопли, я, тихо качнувшись, сполз вниз по косяку.

6

Дом Климова плыл в огне подобно невиданному кораблю. С крыши угрожающе полз снег и рухнул, обнажив зеленое железо... Он придавил мужика, тянувшего шланг. С коротким воплем мужик захлебнулся его тяжестью.

Горели пристройки. Сам дом не был охвачен кругом, но уже лопались стекла, и разлитый по комнатам керосин, звеня, вырвался на улицу. Ворвавшись в дом, Климов разбил два бочонка керосина, которым он приторговывал потихоньку, и поджег его. Затем он сунул огонь в сено, и стал ждать, выбив летнюю дверь на балкон второго этажа. Когда подскакал старший милиционер, пламя уже било со двора, и животные, запертые в хлевы, кричали мучительными голосами.

Климов не последовал примеру отца Финогена, о котором уже шли легенды по Уралу. Он не ушел в горящий дом. Не дожидаясь нападения толпы, Климов спрыгнул с балкона под ноги лошадей. Но толпа увидела огонь. Она уже не нападала. Она бросилась тушить. И шесть милиционеров, окружив Климова, уводили его к Вильегорду, под звон стекла, рвущиеся стоны огня и скота, под команду Ивана Ершова, одиноко приказывавшего мужикам. Климов шел, не оглядываясь на пламя пожара, может быть, даже не слыша и не видя ничего, кроме танцующего круга лошади. Шел, уронив голову...

Сбивая запоры, лезли во двор крестьяне. Визжали насосы, и, вытащив шлангу из-под снега, другой уже поднимался на крышу. В окна выбрасывались ящики, мебель, разбитая посуда. Обезумевший жеребец-трехлеток прыгнул через обитый гвоздями забор и повис на разорванном животе, хрипя и истекая кровью. От колодца гремели ведра и ругань. Ершов командовал.

Олимпиаду принесли на руках воющие женщины. Они несли ее, как икону, сложив руки. Раненый жеребец сорвался с забора и, гонимый предсмертной болью, топтал толпу. Кузнецов и Пьянков, бывшие друзья Климова, с почерневшими от дыма лицами возились во втором этаже. Жалобно крякнув, упал сломанный фикус. На огородах растаскивали двор. Его несли по бревну.

Олимпиада что-то шептала синими губами. Нагнувшись к ней, я разобрал только: «Пускай горит...» Эти слова она повторяла постоянно. Но пожар утихал. Залитый водой, разгромленный дом понуро смотрел разбитыми окнами. Уже по комнатам ходили мужики, поливая стены, срывая тлеющие обои. Тогда я увидел портрет Олимпиады.

— Держите икону,— крикнул рыжий и ражий Крюков, глумливо хохоча. Тяжелая черная рама сверкнула в воздухе и, глухо крякнув, упала перед нами. В како-то мгновение я успел охватить все. И вьющееся тело, и дрожащие руки, и волосы, льющиеся, как слезы. И тут же Олимпиада рванулась вверх, внезапно вырастая, и всем телом рухнула на картину, закрывая свой жестокий позор. Никто ничего не понял! А она уже рвала

зубами и ногтями полотно, кровавя пальцы и давно раскусанные губы, в ленты, в клочки, в ничто превращая душивший ее кошмар.

Когда ее подняли — картина висела рыжими клочьями. Взяв раму, я подумал немного и бросил ее в догоравшие головешки. Против Климова было много улик, так что окончательное уничтожение этой не играло роли.

И выждав, пока рама и обрывки полотна запылали, Олимпиада тихо и, очевидно, в первый раз за свою супружескую жизнь улыбнулась. Удивленно смотрели женщины. Пожар кончался.

7

Четырнадцать больших дней. Белых в полусознании и четырех стенах. Багровых в свете ночей и керосиновых ламп. Тишина и страх умереть, когда пришло освобождение. Смертельный страх и бред.

Село переживало полные дни. Крестьяне старались пронести их, не расплескивая. Говорили тихо. Посиделок не было. Даже вечерами не стонали гармонии.

Олимпиада хворала. Она лежала в больнице. Под ее диктовку следователь записывал показания. Ему было холодно, и он кутался в черное пальто, зябко поводя плечами от тихих больных слов. В селе было много приезжих. Приезжали товарищи из города, близоруко видевшие Климова. Они удивлялись и раскаивались

Почти все село давало показания. Старики приносили в школу свои ветхие воспоминания бережно, как кувшины с пивом. Женщины поддерживали свои слова руками, прижатыми к щекам. Они качали головами жалостно и осуждающе. Мужики скрипели челюстями, говоря о поборах, долгах и отработках, о запугивании перед колхозом и своем десятилетнем молчании. Ребята тихими голосами говорили о ночных стонах.

Так приближался суд. И рядом с судом приближалось торжество земледелия. Колхоз.

Мы работали без выходных дней. Мы производили учет, обобществление, сбор задатков, запись. Мы сбивались со счету и с ног. Но нас становилось больше.

Очевидно, в первый день суда Климов почувствовал себя очень скверно. Потому что ему не оставили надежд даже его соумышленники вроде Пьянкова. И почувствовав, он замолчал. Он тупо сидел на низкой парте, представляя согнутым телом тупой угол.

У меня болит голова. До четырех часов утра мы сидели с новым советом колхоза. Обнаженные лучи, падая от окон, ударялись в густые завесы махорочного дыма и рассыпались, чтоб разбежаться осколками по полу. Женщина говорила на совете. Первая женщина в селе.

Она стала более прозрачной. Она говорила тихо, но это был ее новый символ веры, вот почему так молчаливо мы слушали ее наивные слова. Олимпиада говорила о тяжелой, о черной, о ничтожной и горькой доле женщины, а мы забыли наши важные дела. Мы молчали. Слушали и подчинялись ее тишине.

Утром суд должен был вынести приговор. К дому Маркова, где жил суд, пока пронесли хлеб и молоко. Завтракали. Учительница, Олимпиада и Ершов сидели у меня. Мы читали почту, принесенную за неделю. У кузницы гремели молотки сквозь двойные рамы. Чинили инвентарь. Ребятишки гнали коней на водопой. Приходили женщины к соседкам. Было обыденно и тихо. Разве только чересчур тихо, да обилие газет было удивительным.

Желтые вырезки из них я храню на память об этих, именно этих больших днях. А также об Олимпиаде. Желтые вырезки с нечеткими зна-

ками, расплывшимися чуть-чуть по плохой бумаге районной газеты. «Завтра приговор по делу Климова». «Что скажет суд». «Показания Ассанова, Букина, Пьянкова, Климовой и др.» «Экономический кулак».

В этих вырезках, а тогда в живых номерах газет, была сосредоточена темная правда о забитой деревне.

... Мы сидим за столом. Проносится исполнитель верхом. Он стучит в ворота. Пора итти в школу. Пожалуй, на улице слишком обыденно, только разве особая тишина да сто двадцать семь из ста семидесяти дворов, которые вошли в новый колхоз, говорят о чем-то, страшном и значительном. Да еще отовсюду спешащие фигуры, да толпа у здания школы. Это, кажется, все.

8

Может быть, мне отступить от дальнейшего? Может быть, мне оставить Олимпиаду на этой победе? Она тяжело пережила болезнь темноты и выздоровление. Перейти ли мне к колхозу, который героически растет, который делит урожай и привлекает новых членов, который победил все сопротивления и победит еще, если они будут? Сделать ли так?

Или вспомнить все страшное, обнажить его, чтоб видеть ярче и основательней? Чтоб гнилое лицо его можно было изучить на данном примере. Познать его конец.

Я долго спрашиваю себя. Я отказываюсь. Но немедленно беру бумагу и сгибаюсь над ней. Кто расскажет еще историю Олимпиады? Мои друзья заняты каждый своей работой. Я просыпаюсь ночами от громкого гула их голосов, и когда они засыпают, я берусь за свой труд...

Климов приговорен к расстрелу. Его похудевшее лицо вывернулось наизнанку в последнем вопле голой души. Сквозь сжатые зубы и скорчившиеся падающие губы кинул он в лицо людей последние циничные ругательства. Он грозил сообщниками и побегом. Он кричал, пока освобожденный от суда Пьянков в исступлении не ударил его. Тогда он замолк. Его вывели. Вернее, вынесли на руках.

Мы разошлись до ночи по своим делам, которых у нас было много. Уже теплело, и снег оседал под ногами. В городе осужденный писал апелляции, но нам было не до него. Даже Олимпиада молчала, обходя женщин, собирая списки желающих открыть ясли и детплощадку.

И ночью было сонно и тихо. Только у учительницы, где жила и Олимпиада, горел усталый огонь, да я сидел за своей работой, слушая Ершова, говорившего об отчаянном и последнем пути Климова.

С утра мы сидели в совете. Мы готовились к нарезке земли колхозу и ругали опаздывающего районного агронома. На полях снег осел настолько, что можно было нащупать межи. Дни не ожидали нас. Они становились в ряд перед нами. Это мы должны были учесть их движение.

Говорили мало. Олимпиада кривыми буквами переписывала свои списки. Ершов щипал странные волоски, торчавшие на подбородке, и подсчитывал количество гектаров на едока-колхозника. К нему пришли комсомольцы. Все приезжие уже уезжали. Я только что кончил разговор с секретарем райкома и вышел на улицу проводить его.

Прямо передо мной упала на колени лошадь, и человек свалился с нее. Он прохрипел что-то непонятное и остановился отдышаться. Уже все выскочили на улицу.

Махнув рукой на дверь, человек вошел внутрь. Мы торопливо за ним.

— Агроном убит около Вильегорда. Лошадь, оружие и деньги взяты. Есть основания думать, что это Климов...

Как?!

— Ночью он бежал, обезоружив смотрителя. Как? Знаете, какая у нас тюрьма. Из нее днем уйти можно...

— Ну ладно, ребята. Охать нечего. Меры приняты, а вы здесь смотрите. Я предупредить заехал. Еду дальше. Дайте лошадь.

Мы молчали. Олимпиада вышла и через пять минут привела своего жеребца. Товарищ Кравченко, секретарь райкома, шумно вдохнул воздух, проверяя карманы. Затем он пошел к кошевке.

— Да... Будет дело...— понизив голос, сказал он.— Беречься вам надо...

Затем они уехали в разные стороны. Мы снова зашли в совет.

Так начался день.

9

Думали ли мы о смерти? Представляли ли себе последствия этого заранее обдуманного побега? Чувствовали ли мы приближение к нам трагического бытия приговоренного к расстрелу или нет? Впоследствии я часто задумывался над этим.

Я могу говорить о себе лично. Первое ощущение значительности случившегося пришло ко мне долго спустя после от'езда Кравченко. Тогда было неприятное удивление и жалость к убитому агроному. И даже смерть агронома почти не связывалась с бегством Климова. Для меня он остался просто трусом, как видел я его в день ареста перед толпой.

Олимпиада и Ершов приняли это, очевидно, глубже. К четырем часам дня они втянули и меня. Начиналась игра, строгая по правилам и результату.

Мы намечали дружину для окарауливания села, когда сын Пьянкова, побледневший и утративший всю резвость своих десяти лет, качаясь вошел в школу, где мы беседовали. Он остановился у дверей.

— Дяденьки, идите к нам... Тятьку...— и не договорил, смотря в наши глаза широким взглядом. Мы выскочили из-за парт и подбежали к нему. Первая схватилась Олимпиада. Она всмотрелась в мальчишку и вдруг тихо сказала:

— Неужто убил?..

Я помню, как мы бегом бежали по улице, как остановились у ворот Пьянкова, где понуро стояла заморенная лошадь и женщина билась о розвальни, охватив руками искаженное страхом и смертью лицо мужа. В толпе — откуда она собралась так скоро?— стонали женщины и говорили, что Пьянкова убили по дороге с мельницы, и лошадь пришла домой сама, везя смолотый хлеб мертвеца.

В тот момент, когда Ершов бросился домой за оружьем и лошадью, сзывая добровольцев, с церкви хлынул набат. Он бил в уши непрерывным потоком угроз. Мы не сразу поняли причину. Только какой-то дед, оглянувшись, ткнул палкой на север и тихо сказал:

— Гумно горит...— И, помолчав, добавил:— Сусловское, кажись. Оно и есть...

Так значительны были паузы между словами, что мы ждали еще чего-то значительней, и дед добавил:

— Сподвижников, значит, наказует наперво...

И только тогда мы кинулись к пожарному обозу, оставляя женщину одну с мертвым и горем.

А по дороге уже пылил снегом Ершов с пятью отчаянными сорванцами, и ружья центрального боя да дробовики прыгали на хребтах неоседланных лошадей.

Гумно сгорело к вечеру вместе с овином, соломой и недомолоченным хлебом. Мы отстояли только одну кладь ржи. От остального остались тлеющие бревна и пыль.

Ребята вернулись ночью. Они загнали лошадей, но не нашли даже следов.

— Куда он может деться в снегу? — говорил Ершов, вытирая холодный пот.— Нет ему дороги, однако он может навредить. Как думаешь ты?..

Олимпиада зашла в то же время. Не говоря ни слова, она взяла со стола мой наган и вышла. Она была бледна.

Я молчал. Ершов налил стакан водки и сказал:

— Решилась. Худое дело, товарищ!..

Всю ночь мне слышалось скрипенье валяных сапог за окном и дверью. Может быть, ходили бригадники? В четыре я вышел сменить Ершова. Я посмотрел на суровые тени домов, на улицу и... кинулся к церкви. Но там уже гудел набат, и опять распахивались двери, как полы пальто. Горел дом Федорова.

Становилось скучно. С полуобгоревшего дома все еще капал дождь, застывая на лету. Тяжелые в своем молчании, расходились люди. Ершов на свежих лошадях скакал где-то в полях. Меня не пустили мужики.

10

Олимпиада исчезла к вечеру. Я разослал ребятишек искать, но они вернулись ни с чем. Учительница Фролова сказала, что Олимпиада взяла кусок хлеба и ушла.

Две ночи по селу и вокруг него скакали верховые. Две ночи мужики, сжав охотничьи ружья в мертвеющих пальцах, берегли свои дома. По утрам выходили на улицу, с глазами, красными от бессонницы и гнева. Я глотал сожженной глоткой неразведенный спирт и проклинал в бреду милицию, которая не делала ничего.

По утрам над селом вставало солнце. Оно пламенно катилось по небу, утверждая приход весны. Но кузница стояла черная и пустая, инвентарь лежал грудой. Чужие руки владели им и нами.

Мы собирались в кучки и грозили кулаками на далекий горизонт, обведенный каймой леса. Мужики неприязненно встречали нас — комсомольцев, учительницу и меня. Им казалось, что это мы вовлекли село в напасть.

Они уже не стыдились произносить вслух свои обвинения. Девятнадцать заявлений о выходе получил я в один день, а зайдя в сельсовет, обнаружил там еще двадцать восемь. А Ершов и четверо милиционеров не могли найти даже следов. Мы ничего не знали...

Олимпиада пропала. Двое суток мы не видали ее. Втроем мы ездили в Вильегорд, чтоб позвонить в город, но там не знали ничего и только посмеялись над «нелепым страхом двухсот взрослых людей перед одним негодяем». Так сказал мне председатель райисполкома.

Тогда-то мы и решились на последнюю меру, о которой думали все, но не говорили. Мы решили ценой скольких-нибудь жизней уничтожить призрак бандита, тяготевший над нами. Дело шло об облаве.

И вот в ночь на 1 апреля 1930 года, собрав наиболее опытных крестьян села, милицию и комсомол, мы начали обсуждение плана облавы. Она заключала особую трудность ввиду сплошного массива лесов, окружавших село и уходивших на Урал и к коми-зырянским пармам [1].

---

[1] Парма — местное название тайги.

Из этого собрания я помню только слова старика Демидова, злобно кричавшего об убежавшей Олимпиаде, из-за которой, по его словам, заварилась вся беда.

— Пущай бы она,— кричал он,— ежели она енерал, сама идет под пулю мужика. Она под им лежала, при чем мы? Может, я не хочу отдавать свою голову. Это как?

Меня поддержали комсомольцы и некоторые мужики. Олимпиаду уже успели понять.

— Что ей на смерть лезть? И так всю жизнь при ней ходила. А что до убийства, то грешно, сосед, каркать...— сказал положительный Тимин.— Он на всех зол, а убьет он Липу али нет, а село сжегти должен. Вот.

Мы решили вести облаву редким строем, начиная от Пиняшерского урочища, больше всего надеясь на следы. Наше общее желание сформулировал тот же Тимин, когда мы решали, как вести облаву:

— Он, я думаю, не бесплотный. Должон, я думаю, где-нигде следы оставить. А ежели мы редко пойдем, то и убитых альбо раненых будет меньше.

Для верности облаву назначили на вечер первого апреля, с тем чтоб к утру уйти до сплошных массивов леса, так называемой пармы. Село могло поставить на лыжи и вооружить до восьмидесяти взрослых мужчин. Если б мы к утру не нашли хотя следов, то на помощь должен был прийти камегордский отряд. С ним мы могли обследовать ближайшие массивы. хотя все были убеждены, что Климов скрывается поблизости, ввиду чего лучший отряд направлялся на его собственные «гари» — лесо-луговые делянки. Итак все было предусмотрено.

11

В три часа дня под безмолвные слезы женщин восемьдесят вооруженных людей против одного вышли из села. За нами бежали мальчишки. Впереди лайки. Я не знаю, почему мы забыли при подготовке о собаках. Уже собираясь, мы увидели «Дамку» Тимина. Вогульские лайки могли нас выручить лучше, чем толпа пеших, шедшая сзади, при отыскивании логова или преследовании. Потому все охотники шли с собаками.

В беспокойстве о безмолвно пропавшей Олимпиаде я с'ездил еще раз в Вильегорд и заодно уговорился с сельсоветом в Камегорде. Никаких следов ее пока нигде не нашли.

Лес, из села казавшийся сплошной стеной, при нашем вступлении в него расступался по сторонам. Мы шли в молчании. Только шелест оленины о наст да глухое биение сердца слышали мы. На пятнадцати метрах один от другого мы изучали глазами белесый под деревьями снег, ища знака. Занимая пространство до полутора километров шириной, то есть охватывая весь мыс Пиняшерской засеки, к пяти часам мы вышли на Починок. Здесь мы перестроили ряды, встав на двадцать пять метров.

Сухая тишина охватывала нас. С деревьев изредка падал снег. Он зарывался в мягкий пласт, напоминая следы. Заячьи следы ромбами вымеряли полянки. Под кедрами крутились мельчайшие следы белок. Бурундук, горностай, а иногда куница пестрили снег. Несколько раз мы видели этих зверей, бестолково, но быстро скользивших в промежутки. Раз за разом мы пересекали старые следы человека, отделяя товарищей на проверку до дороги.

Мы шли с короткими перерывами всю ночь. И каждый из нас запомнил безмолвие и белый, призрачный свет приполярного ночного неба. То стягиваясь к центру, то раз'единяясь по горизонтали, мы ощупывали лес, надеясь наткнуться на логовище. Мы исследовали массу старых следов,

уходя по пять человек далеко в сторону к зародам[1] сена, к дровам, к дорогам сквозь белую ночь. «Дамку» Тимина захлопнул волчий капкан, сломав сразу две ноги. Сосредоточенно осмотрев раны, Тимин перекрестился, взял из-за пояса топор и разбил ей голову.

— Не выздоровеет...— коротко об'явил он мне и зашагал снова.

Я понял, что к большим грехам Климова прибавилась смерть лучшей собаки, и смолчал.

Обшарив Починок, мы вышли за девять километров от села на урочище Керандеиху. Здесь были гари Климова. Было пять часов утра. Уже светлым был лес, и теплыми тонами сияли кроны кедров, лиственниц и пихт.

Мы пересекали луговые пространства, шли через овраги с отчаянной мыслью о тишине. Мы жаждали тишины и следа. По дороге шли топорники, пешие и конные. Мы думали о нем, одиноком, вооруженном и ждущем. Ибо он должен был ждать...

— Климовщина! — передал мне сосед справа, и я забыл его. Отсюда до пармы было не более пятисот метров.

Мы обходили последнюю пустошь, стягиваясь к зароду, зеленым, вернее, серым островом дыбившемуся в центре, когда по цепи тихо проползло:

— Есть!..

И восемьдесят человек отчетливо увидели этот след, ведущий к зароду, увидели глазами одного. Они одинаковым движением подняли ружья, наклонив дула вниз по обычаю охотников. Они не были солдатами даже здесь.

Кольцо стягивалось, как петля, когда от дороги прибежал Каменогоров сказать, что они нашли лошадь. Но это не было интересно, и он остался с нами.

Над нами светало. Поле из серого становилось белым, как покрывало. И тогда от огорода поднялась тень и упала навстречу нам, взмахнув черными рукавами.

— А-а-а-а-а...— встало над нами во весь рост, и все мы ринулись вперед.

Это был смертельный бег. И смертельная остановка над мертвым телом. Над окоченевшим уже давно, над застывшим, твердым, как камень, телом Климова... На груди его черными язвами пузырились потоки крови. Они были липкими и захрустели под рукой Тимина

— Он убит еще, может быть, вчера...— медленно протянул Тимин.— Он упал от тяжести. Он стоял у прясла и, когда мы подходили, упал. Но он мертвый...

Мы теснились у трупа. Милиционер поднял ружье и открыл затвор. Пустой патрон вылетел оттуда. Рядом с ружьем лежал тоже пустой кольт.

— Агроном...— бросил милиционер.

И резкий вопль оборвал его. Это за зародом бился в припадке истерии Ершов, упав на легкое тело Олимпиады...

Пятна крови на снегу похожи на следы зверя. Как она могла уползти так далеко, раненная в живот и грудь тремя пулями? Зачем она несла сослуживший свою службу наган? Куда она хотела уйти от мертвого мужа и врага? Как они встретились? Разве может ответить она, скованная двухдневным морозом и трудной смертью?..

Сняв шапки, стояли мы над женщиной, которая восстала, победила и умерла. Над нами был день и абсолютная тишина Урала...

[1] Зарод — местное название стог

Песня об урожае

Бронзовым басом врагам угрожая,
Встает эта песня об урожае,
О пахнущем хлебом — перистом небе,
О пахнущем солнцем — пшеничном хлебе!

Паром восходит с затонов Поволжья,
Росой обмывает высокие травы,
Бредет полнозвучной, жиреющей рожью
Дорогой — налево, межою — направо.

Зноем стеклянным она шевелится
Над рыжеусатой донскою пшеницей.
Ветром влекомая через Кубань,
Дрожит на горячих девичьих губах.

Во мхах отдыхает, ныряя по лесу,
И вдруг, оборвавшись под зубьями жнеек, —
Встает, обескровив, в клубничных порезах,
Восходит к закату, октавой нежнее.

И вновь тяжелея от крупного пота,
Бригады рабочих ведет на работу...
Опутав соломой, ее колотили
Колени цепов, кулаки молотилок.

Потом под жужжание злобных наветов,
Пыльные рты широко разевая,
Веялки песню пылили на ветер,
Брезгливые сита ее просевали.

Но я, собирая ее по пылинке,
Увязывал ткани соломенной ржинкой,
Принес на ладонях, как россыпь зерна,
Чтоб братскою нежностью дрогнул журнал!

Чтоб песня шуршала под шелест листов,
Черной росою звенела на нотах,
Вязала воедино полет голосов,
Вела молодежь на любую работу!

Чтоб после, под вечер, забыв про усталость,
Песня на струны зерном осыпалась,
Чтоб, бронзовым басом врагам угрожая,
С винтовкой хранила покой урожая.

К. Митрейкин

Мы входим в лес

Болотной зыбью, следом лесоруба
Мы входим в лес.
Под шаг походки грубой,
Утратив на цветение права,
Ложится мягкотелая трава.

Привыкли мы, и в сущности не плохо,
Как рыхлый волк, бродить по низким логам,
Бродить и разделять без возражений
Звериный дух,
дымок от испарений,
Удобство коммунальное луны...

Обманчивы на прочность зыбуны.
Опасность нам такая понутру.
Мы отдаем канавам и болотцам
Свой верный глаз,
чутье —
и этот труд
Мелиорацией почтительно зовется.

Нам каждый куст и стебель подневолен
Все учтено и в точности знакомо.
Облечены доверием мы полным
Райземотделом
и райисполкомом.

Не отступая от нивелировк ,
Мы режем дерн напористо и ловко.
Под заступом,
работающим рьяно,
Летят богульник
и валериана
В одну водоотводную канаву...
Честь землекопам!
Хлеборобам слава!

В прокуренной берлоге сельсовета
Восторжествует после добродетель.
А мы пока по-своему здесь горды,
И констатировать нам можно смело,
Что, наконец, и косная природа
Узнала движущую силу земотдела.

Павел Вячеславов

История

Внизу гремят последние трамваи.
Заснул этаж. Окаменел этаж.
Остынувшую полночь разрывая,
Автомобиль идет в гараж.

А я, в утробе кирпича и щебня,
В московском доме из больших в большом,
Из-под кровати вытащив учебник,
Его поля черчу карандашом.
И абажур зеленый тусклой яшмой
Над головой повис. Высок.
И бродит, спотыкаясь, карандаш мой
По глухоманным перекресткам строк.
Над морем крови, над пустыней праха
Поднялся он, и я — его пилот...

Над троном — грохот медного размаха,
Колоколов колышущийся плот.
Последний звук из гулкой глотки вытек,
Припал к земле толпы цветной кафтан.
И вот встает скуфейный сифилитик,
Державный царь всея Руси — Иван.
Секиры стражников сверкнули люто,
Толпа прислушалась к своим словам.
Кривую саблю кровянит Малюта,
Гуляя по опальным головам.
Я лиловею от бессильной злости,
Ищу людей в истрепанных листках.
Кругом лишь кости, черепа и кости,
И кровь, заплесневевшая в веках.
Любой листок учебника открой ты:
«Красавцы», «благодетели», «отцы» —
Такой-то Павел, Александр такой-то,
Поток имен и бесконечность цифр.
Чистейший взгляд. Изящнейшее тело.
Порфира, поднятая высоко.
А где же те, которые потели
Над шелком, над пищалью, над сохой?..
Цари в учебнике все как один — святые,
Но запекалась кровь на топоре
При лже-Димитрии и при Батые,
При Чингисхане и при Петре.
Стоят в глазах кровавые преданья,
Мне хочется бумагу рвать.

Учебник дооктябрьского изданья
Швыряю я обратно под кровать.

Смертельный яд воспоминаний горек,
Но время все положит на весы.
Пришел рожденный Октябрем историк,
Который старых дернул за усы.

Карандашом в историю нацелься,
Рви с фотографий бутафорский лоск.
И по векам, по бесконечным рельсам
Меня Покровский в прошлое провез.
И я увидел —
Мир не так обычен,
Хранят страницы кровь и пот.
Рубцами розог, хрустом зуботычин
Россия из его страниц встает.
Окно в Европу. Каменные тверди.
Звенящий блеск. И кровь. И пот.
Построен город на скелетах смердов,
На Балтике владычествует Петр.
Года молчат.
Но вот грохочет выстрел —
Ни юности, ни жизни не щадя,
Идут, не спотыкаясь, декабристы
По чинным петербургским площадям.
Архиереи тянут: «Паки, паки!..»
Страной накормлены, напоены,
Встают холеные салонные рубаки
На голову склоненную страны.
Оправивши суконный китель
И сытыми приподнят до небес —
Самодержавный царь «освободитель»
Подписывает манифест...
О, доброта!
Тебя пронзила дата!
Запечатлели под стекло лета.
И ты легла архивным экспонатом,
С корнями выдранная доброта.
Я наполняю строчки, как обоймы,
Зарядом слов.
Строка моя, возьми
Скелеты, смятые турецкой бойней
И мясорубкой мировой резни.
Смертельный яд воспоминаний горе
Но время все положит на весы.
Пришел рожденный Октябрем историк,
Который старых дернул за усы.
И слышны мне винтовок переборы,
Горячий пульс рождающихся книг.
В них разведет прожектора «Аврора»,
И снова встанет вождь на броневик.
Да, он уронит время на колени,
Заставит ветры дуть наоборот.—

И встанут Октябри над поколеньем
Дорогами, ведущими вперед.

И я глаза над книгой поднимаю.
За окнами заря свежа.
Внизу грохочут первые трамваи,
Автомобиль идет из гаража.

Игорь Строганов

Грязь

Сюда за пятерку в один конец,
Верст двадцать от ближней станции,
Привез старик на кривом коне
Столичных, как иностранцев.

Еще при царе, бывало, возил:
Напасть одна, не дорога.
Походят, штиблеты измажут в грязи,
Плюнут и гаркнут: «Трогай!»

Кочки, кустарник, змеиный шип,
Тина затянет всякого.
Глазом моргнул — и по уши влип,
И топь пузырями квакает.

Но эти до ночи мяли луга,
Болото изнюхали молча.
Ходили —
Где ни одна нога
Не ступала, кроме волчьей.

И только к вечеру из уст в уста
Бросалось слово в упор...
Ложился у ног
И вновь вырастал
Разговор.

Старик не вытерпел:
«Затвердили одно.
А луг-то хитер, как змий:
Что торф на дне — знаем давно,
Да пойди-ка его возьми».

Возьмем!
И старший, взглянув на ко[illegible]
Сказал: «Я поеду в трест,
А вы, Иванов,
С завтрашнего дня
Приготовляйте лес!»

Лопаты и песни спугнули жаб,
Жирных и злых от опоя,
Болото увидело горожан
В ржавой воде по пояс.

Машины кромсали столетний ил.
На дне ворочались топком.
И черные плиты, жар затаив,
Двинулись к ждущим топкам.

И как потом ни суди да ряди,
А дым над заводами гуще.
Так поднялось и стало в ряды
Болотного дна могущество.

Возница-дед,
Тех краев старожил,
На это на все насмотрясь,
Сказал: «Я лет семьдесят грязь сторожил
И не знал, что сильна грязь».

Но вспомнив болото без края, без дна
И труд среди кочек и пней,
Подумал:
«Грязь, конечно, сильна,
Но эти люди — сильней».

И. Асаров

Боевая большевистская программа борьбы за социализм

Из итогов об'единенного пленума ЦК и ЦКК ВКП(б)

И. Гронский

Об'единенный пленум ЦК и ЦКК ВКП(б), заседавший с 17 по 21 декабря 1930 года, собрался через 5 месяцев после окончания работ XVI с'езда партии. Эти истекшие 5 месяцев целиком подтвердили правильность той линии, которая была намечена XVI с'ездом партии.

В политическом отчете ЦК тов. Сталин заявил, что мировой капитализм переживает острейший экономический кризис, который является одновременно и кризисом всей капиталистической системы. Этим кризисом захвачены все страны капитализма, и только один Советский Союз бурно развивает свое народное хозяйство, реконструирует экономику и изменяет социальный облик одной шестой части мира.

За истекшие 5 месяцев кризис мирового капитализма не только не ослабел, но еще больше обострился, вскрыв перед трудящимися массами безвыходность их положения при капитализме. Для иллюстрации глубины кризиса нам достаточно привести данные о развитии важнейших отраслей промышленности важнейших капиталистических стран.

Вот, например, какие изменения произошли в производстве стали и чугуна в 1930 году по сравнению с 1929 годом.

Годы и месяцы	САСШ		Англия		Германия		Франция	
	Чугун	Сталь	Чугун	Сталь	Чугун	Сталь	Чугун	Сталь
1929 г. июль	3846	4916	783	818	1204	1466	873	815
» август	3816	5006	693	765	1169	1402	893	927
» сентябрь	3554	4583	675	862	1110	1234	851	762
» октябрь	3646	4607	700	904	1158	1378	894	817
1930 г. июль	2682	2980	494	631	771	906	861	790
» август	2564	3145	423	459	739	897	845	776
» сентябрь	2314	2914	432	590	653	814	801	767
» октябрь	2200	2764	422	521	637	856	—	—
Изменение к 1929 г. за 4 мес.	−34,3%	−38,2%	−35,6%	−34%	−38,6%	−36,7%	−5,1%	−4,5%

Приведенная выше таблица едва ли нуждается в каких-либо комментариях. Она достаточно красноречиво говорит о грандиозном свертывании

металлургического производства во всех без исключения руководящих странах современного капитализма. Примерно такое же положение, характеризующееся огромным свертыванием производства, мы наблюдаем и в других отраслях промышленности капиталистических стран. Уголь, нефть, общее машиностроение, судостроение и производство стройматериалов (не говоря уже о легкой индустрии) захвачены кризисом не меньше, чем металлургия. Совершенно естественно, что этот грандиозный кризис капитализма прежде всего и раньше всего отражается на положении рабочего класса и трудящихся масс. Вот маленькая таблица, характеризующая движение безработицы по трем капиталистическим странам и в СССР.

Страны	Количество безработных (в тысячах)	
	1929 г.	1930 г.
САСШ	1550	10000
Англия	1308	2306
Германия	1350	3997
СССР	1600	0000 [1]

К XVI с'езду партии во всем капиталистическом мире насчитывалось 20 млн. безработных. К 15 января 1931 года количество безработных перевалило за 30 млн. Эти цифры тоже не нуждаются в комментариях. Они рисуют жуткую картину обнищания рабочего класса, страданий миллионов трудящихся в царстве капитализма. Совершенно естественно, что этот кризис ведет к обострению противоречий не только между трудом и капиталом, но и между отдельными капиталистическими государствами. Кризис обостряет борьбу за рынки сбыта между капиталистическими державами, ведет к ухудшению отношений между ними и нарастанию конфликтов, могущих на известной стадии развития перерасти в открытое военное столкновение. Именно этим нужно об'яснить тот, на первый взгляд поразительный, факт, что, несмотря на жесточайший кризис, поразивший все народное хозяйство капиталистических стран, военная промышленность их не только не сокращает об'ема своего производства,— наоборот, лихорадочно развертывает. Теперь уже и буржуазные политики в своих высказываниях все чаще и чаще сравнивают современное положение с тем, какое существовало накануне империалистической войны 1914 года. Больше того: они прямо заявляют, что капиталистический мир идет навстречу новой империалистической войне, к которой готовятся все без исключения империалистические державы. Правда, в этой подготовке империалисты все больше и больше оглядываются на Советский Союз, на единственную страну, которая ведет последовательную борьбу за мир, разоблачает организаторов войны и мобилизует внимание всего трудящегося человечества для предотвращения надвигающейся войны. Разоблачения последних месяцев со всей очевидностью показывают, что некоторые капиталистические государства пытаются эту военную машину направить прежде всего против Советского Союза, чтобы сорвать социалистическое строительство, чтобы уничтожить пролетарскую революцию в потоках крови. Влиятельные правящие группы французского империализма, вкупе с авантюристическими правящими кругами Польши, Румынии и Прибалтийских стран, готовили и готовят интервенцию против СССР.

[1] Ноябрь 1929 г., ноябрь 1930 г.

Они создают на нашей территории, в наших хозяйственных органах диверсионные и вредительские отряды из старых буржуазных специалистов, которые, как теперь установлено, своим вредительством подготовляли интервенцию. Процесс «промышленной партии» со всей убедительностью показал и доказал наличие организации, ставившей себе целью свержение советской власти путем интервенции. «Промпартия», так же как ее секция по деревенским делам, возглавляемая Кондратьевым, так же как и меньшевистская группировка Громана-Суханова, ставила себе целью реставрацию буржуазно-помещичьего строя со всеми вытекающими из этой реставрации последствиями. Осколки буржуазной интеллигенции, выступающие в роли реставраторов буржуазно-помещичьего строя, пытались остановить победное движение социализма, которого теперь не решаются скрывать даже наши от'явленные классовые враги. Да и как будешь скрывать то, что является очевидным, чего нельзя уже скрыть? Вот красноречивая таблица развития капиталистического мира и СССР, демонстрирующая две кривые: кривую развития капитализма и кривую развития социализма.

Прирост (+) или снижение (—) продукции в 1929/30 г. (в %% к 1928/29 г.)

Страны	Октябрь декабрь	Октябрь март	Октябрь июнь	Октябрь июль	Октябрь август
			с л ь		
Англия	+ 8,8	+ 3,8	+ 1,8	+ 0,8	— 0,8
Германия	+ 14,5	+ 7,5	+ 0,2	— 1,7	— 3,6
Франция	+ 5,7	+ 6,7	+ 4,4	+ 3,8	+ 3,0
Бельгия	— 1,3	+ 0,3	+ 0,4	+ 0,3	+ 0,3
Польша	+ 13,3	+ 3,3	— 8,2	— 6,8	— 8,1
САСШ	+ 1,9	— 3,5	5,0	— 6,0	— 6,9
Всего по 6 странам	+ 5,7	+ 0,5	— 2,2	— 1,2	— 2,5
СССР	+ 19,7	+ 24,3	+ 26,3	+ 24,2	+ 21,4
			Чугун		
Англия	+ 20,6	+ 17,7	+ 8,8	+ 5,0	+ 0,1
Германия	+ 54,6	+ 33,4	+ 2,6	— 2,0	— 5,4
Франция	+ 1,4	+ 1,2	+ 0,4	+ 0,2	— 1,0
Бельгия	+ 2,1	+ 1,7	— 3,8	— 5,9	— 8,1
Люксембург	+ 7,4	+ 6,8	— 0,9	— 4,2	— 3,8
САСШ	— 4,4	— 9,3	— 12,2	— 13,9	— 15,0
Всего по 6 странам	+ 6,5	+ 1,2	— 5,7	— 6,1	— 10,8
СССР	+ 34,5	+ 29,2	+ 26,8	+ 26,2	+ 25,3
			Сталь		
Англия	+ 7,5	+ 2,1	5,0	— 6,9	— 10,2
Германия	+ 38,7	+ 13,6	— 6,1	+ 13,8	— 16,1
Франция	— 0,7	+ 0,4	+ 0,1	— 0,2	— 1,1
Бельгия	— 0,4	+ 0,4	— 5,9	— 7,9	— 7,7
Люксембург	+ 4,5	+ 3,5	— 4,7	— 7,2	— 9,1
САСШ	— 15,6	— 11,1	— 17,3	— 18,3	— 20,0
Всего по 6 странам	— 3,4	— 6,4	— 11,8	— 13,6	— 15,6
СССР	+ 16,5	+ 19,0	+ 19,2	+ 19,2	+ 18,3

Мы извиняемся перед читателем за то, что привели такую большую таблицу, характеризующую развитие важнейших отраслей тяжелой индустрии по ряду стран, в том числе и по СССР. Но эта таблица дает довольно яркую картину хозяйственного развития капиталистического мира и страны строящегося социализма. Там, у капиталистов, упадок производства, кризис Здесь, в стране строящегося социализма, бурный под'ем производства. Эти наши успехи теперь, как мы уже заметили, начинают признавать буржуазные ученые и политики. Так, например, господин Гувер, американский профессор, посетивший СССР, пишет:

«Издавна считалось, что проблема осуществления достаточных сбережений для поддержания и расширения основного оборудования (фондов) являлась бы наиболее трудной проблемой, с которой встретился бы социалистический режим. Размер капитальных вложений СССР за последние годы доказал, что расширение основного оборудования совместимо с социалистической экономикой. Крайне редко такая часть национального дохода оберегалась и посвящалась капитальной реконструкции. Возможно, что в военное время и большие части национального дохода в некоторых странах могли быть из'яты из потребления и истрачены на военные издержки. Но редко такие пропорции сберегались и вкладывались в конкретные капитальные ценности».

Американскому ученому вторит вождь II Интернационала Эмиль Вандервельде, которого никак нельзя заподозрить в симпатиях к СССР Вот что пишет Вандервельде в своей статье «Что я видел в Советской России», напечатанной в еженедельнике «Эропеен» от 10 декабря 1930 года:

«В продолжение тех шести недель, которые я провел в Москве в 1922 году, я могу сказать, что мне не пришлось видеть укладку хотя бы одного кирпича. Тогда Советы только что вышли из гражданской войны и жили остатками старого режима. Сегодня, напротив, первая вещь, которая поражает при прибытии в Москву — это исключительно лихорадочное и, можно сказать, поражающее усилие в области строительства и экономической реконструкции».

И дальше, передавая свою встречу с японским дипломатом и свой разговор с ним, Вандервельде замечает:

«Японский дипломат нам говорил: «Я возвращаюсь из Москвы. Мне там казалось, что я вижу Токио на другой день после землетрясения». И действительно, город кажется в настоящий момент необозримый стройкой; большие улицы мостятся или асфальтируются, заканчиваются работы по реставрации Кремля, строятся громадные здания для жилья, воздвигаются на американский манер промышленные здания по последнему слову техники, и достаточно открыть номер советского журнала «СССР на стройке», который составлен целиком из фотографий, сделанных в различных частях страны, чтобы отдать себе отчет в том, что пресловутая пятилетка, пятилетка в 4 года,— это не простая теоретическая конструкция или блеф вроде потемкинской деревни, но это усилие весьма реальное, весьма могущественное, проводимое железной рукой и направленное к тому, чтобы из Советской России сделать крупную индустриальную страну. Тут сразу же возникает вопрос: каким образом СССР обеспечит себе, сможет ли он себе обеспечить гигантские ресурсы, которые необходимы для того, чтобы достигнуть этой цели?

При существующем положении в отношении с другими странами извне совершенно нельзя ждать помощи и кредитов. В целом несомненно, что СССР, бойкотируемый капиталистическим миром, может рассчитывать только на самого себя в смысле финансирования своих планов индустриализации и осуществления своей пятилетки».

Для того чтобы дать законченную картину высказываний врагов об СССР, приведем еще одну небольшую выписку из статьи бывшего английского премьер-министра и одного из организаторов интервенции 18—20 гг., г-на Ллойд-Джорджа, напечатанной в венской «Нейе Фрейер Прессе». Вот что пишет Ллойд-Джордж:

«Коммунистические вожди поставили перед собой задачу осуществления плана, который по размаху и по значению оставляет далеко позади все крупные и смелые предприятия, какие только знает история. Задача Петра Великого бледнеет по сравнению с замыслами Сталина. Сталин собирается обеспечить новейшими фабриками, машинами и орудиями Россию, которая по размерам больше, чем вся Европа, которая в то же время изо всех европейских стран является наихуже организованной...

...Как же обстоит дело с успехами, которые делает его план? Еще рано дать ответ на этот вопрос. Прошло только два года с тех пор, как Сталин начал эту работу, и еще три года он имеет перед собой. Но успехи им уже достигнуты... Везде возникли новые металлургические заводы, фабрики и прядильни. Общая продукция зерна превышает продукцию 1914 года».

Мы привели мнения буржуазного ученого, вождя современного социал-фашизма и крупного буржуазного политика. Несмотря на оговорки, все они признают огромные успехи Советского Союза. Как видим, потребовалось очень немного времени для того, чтобы убедить наиболее умных представителей капиталистического мира в реальности намеченных большевиками хозяйственных планов. От пренебрежительных насмешек над пятилеткой буржуазные ученые, публицисты и политики переходят к признанию реальности пятилетки.

Правда, признав эти успехи, представители капиталистического мира начинают ими пугать буржуазное общественное мнение, прикрывая криками о советской опасности, «демпинге» и прочей чепухе свою подготовку к интервенции. Но не все буржуазные политики умеют так хорошо скрывать свои мысли, как Ллойд-Джордж и Вандервельде. Некоторые из них выбалтывают замыслы империализма, сводящиеся к стремлению уничтожить ненавистный им Советский Союз. Так, например, официоз французского правительства, газета «Тан», в номере от 22 декабря 1930 года, напечатала статью «Русская опасность», в которой открыто призывает капиталистический мир к об'единению для борьбы с Советским Союзом. В этой статье «Тан» прямо заявляет: «Самая главная и самая срочная обязанность руководителей промышленности и финансистов всего мира — это: остановить движение техников, капиталов и машин, которое направляется в последние месяцы в сторону Москвы. Прибавим, что этим будет оказана услуга тем самым людям, которые думают, что делают прекрасные дела».

Как видим, встревоженная нашими успехами французская буржуазная пресса открыто призывает к установлению самой настоящей блокады Советского Союза. Не нужно обладать большим умом, чтобы понять, что это мероприятие, будучи проведенным, означало бы начало интервенции против СССР. Эти призывы к интервенции неизбежно будут нарастать по мере нарастания наших успехов. Поэтому перед лицом готовящегося к нападению на Советский Союз врага рабочие и крестьянские массы нашей страны должны усилить свою борьбу за разрешение поставленных перед ними историей хозяйственных задач, памятуя, что этим они в сильнейшей мере укрепляют обороноспособность Советского Союза.

Другими словами: трудящиеся массы должны обеспечить выполнение пятилетки в 4 года и тем самым превратить нашу страну в неприступную крепость мирового коммунизма.

Наш читатель достаточно хорошо знает, как была встречена пятилетка, принятая V с'ездом Советов СССР, правыми оппортунистами и «левыми» троцкиствующими оппортунистическими элементами нашей партии. В своих выступлениях правые и «левые» оппортунисты потратили немало усилий для того, чтобы доказать утопичность пятилетнего плана. Они утверждали, что этот план неизбежно провалится, ибо в стране нет тех ресурсов, на которые рассчитан план. В настоящее время, после двух лет борьбы за пятилетку, мы можем подвести основные итоги выполнения «утопического» плана и посмотреть, что осталось от предсказаний правых оппортунистов и троцкиствующих элементов нашей партии. Как известно, за первые два года пятилетия государственно-социалистическая промышленность должна была дать продукцию, равную 29,3 млрд. рублей. В действительности она дала народному хозяйству таковую на 30,5 млрд. рублей. Таким образом по промышленности задание пятилетки на первые два года оказалось не только выполненным, но и перевыполненным. Для нас особенно важно подчеркнуть то обстоятельство, что наибольшие успехи мы одержали на фронте борьбы за тяжелую индустрию. Продукция отраслей тяжелой индустрии составила за эти два года 13,8 млрд. рублей вместо 12,5 млрд. рублей, запроектированных на эти два года пятилетним планом. Такого же рода успехи мы имеем и по сельскому хозяйству.

Посевные площади по всем культурам возросли с 118 млн. *га* в 1928/29 году до 127,8 млн. *га* в истекшем хозяйственном году, превысив как по зерну, так и, особенно, по техническим культурам (хлопок, сахарная свекла и т. д.) проектировки пятилетнего плана.

Это расширение посевных площадей повело к значительному увеличению сбора как зерновых, так и технических культур. Зерновых хлебов в 1930 году собрано 87,4 млн. тонн против 71,7 млн. тонн в 1929 году; хлопка — 13,5 млн. центнеров против 8,6 млн. центнеров в 1929 году; сахарной свеклы 151,7 млн. центнеров против 62,5 млн. центнеров в прошлом году. В результате этих успехов в области сельского хозяйства мы в основном уже разрешили зерновую проблему и успешно продвигаемся по пути ликвидации всякого рода затруднений, порожденных отсталостью сельского хозяйства, которую мы успешно преодолеваем на путях совхозно-колхозного строительства.

На 1 декабря 1930 года коллективизацией было охвачено 24,1% всех крестьянских хозяйств Советского Союза, а в основных зерновых районах этот охват составляет 49,3%. Пятилетка намечала коллективизацию 20,6 млн. *га* в конце пятилетки. В 1930 году мы уже имели 43,4 млн. *га* колхозных посевов. Таким образом вся пятилетняя программа не только выполнена, но и перевыполнена в два слишком раза. Это обстоятельство лучше всего показывает полное банкротство правооппортунистической оппозиции, особенно рьяно выступавшей против развития совхозно-колхозного строительства. Партия в борьбе с правыми и «левыми» оппортунистами добилась грандиозных успехов в области социально-технической реконструкции сельского хозяйства, выразившихся в переходе целого ряда областей к сплошной коллективизации и ликвидации на ее основе последнего серьезного капиталистического класса нашей страны — кулачества. Двинув вперед дело совхозного и колхозного строительства, разрешив зерновую проблему, добившись большевистских темпов развития производства технических культур, партия осуществляет сейчас борьбу за разрешение живот-

новодческой проблемы, этой главнейшей проблемы сельскохозяйственного развития, от разрешения которой зависит улучшение снабжения населения продуктами животноводства, и в первую очередь мясом и жирами. В настоящее время едва ли нужно доказывать, что эти исключительные успехи на фронте борьбы за развитие производительных сил сельского хозяйства, на фронте борьбы за перестройку деревни сделались возможными благодаря правильной ленинской политике всемерного укрепления союза между рабочим классом и средним крестьянством через создание машинно-тракторных станций, организацию колхозов и строительство совхозов, через подведение под коллективизирующееся сельское хозяйство прочной технической базы в виде тракторов, комбайнов и других сложных сельскохозяйственных машин. Едва ли нужно доказывать, что все это сделалось возможным благодаря успешному продвижению рабочего класса на фронте индустриализации страны. Форсированное развитие легкой индустрии и торможение развития тяжелой индустрии, чего, собственно, добивались правые, породило бы топтание на месте или — в лучшем случае — движение вперед со скоростью черепахи. Партия, следуя указанию Ленина, ухватилась за главное и основное звено — за тяжелую индустрию, и, подняв и укрепив ее, получила возможность невиданного еще развития производительных сил и беспримерного размаха реконструктивных процессов, что и создало лестницу большевистских темпов по всем без исключения отраслям народного хозяйства. Правые оппортунисты, потерпев жесточайшее поражение и политически обанкротившись, вынуждены теперь признать правильность генеральной линии партии, против которой они еще недавно вели ожесточенную борьбу.

Лучшим подтверждением правильности линии партии является народнохозяйственный план на 1931 год. Резолюция об'единенного пленума ЦК и ЦКК ВКП(б) о народнохозяйственном плане на 1931 год, вопреки заявлениям право-«левого» блока, намечает дальнейшее гигантское усиление темпов хозяйственного развития. Выполнение намеченного на 1931 год хозяйственного плана вплотную приблизит нас к завершению всей пятилетней программы строительства социализма. Другими словами: выполнение хозяйственного плана, намеченного на 1931 год, обеспечит претворение в жизнь лозунга партии о выполнении пятилетки в четыре года.

Ход борьбы за выполнение пятилетки и намечаемый для 1931 года скачок в развитии народного хозяйства довольно хорошо отображены в таблице, опубликованной в «Экономической жизни» в № от 1 января 1931 года.

Из приведенной нами (на стр. 114) таблицы видно, что по целому ряду важнейших отраслей народного хозяйства мы уже в 1931 году по масштабу производства оставим позади наметки пятилетнего плана для последнего, т. е. 1933 года пятилетки. По другим отраслям мы вплотную подходим к тем цифрам, которые были записаны в пятилетнем плане для 1933 года. Эта таблица показывает, что лозунг нашей партии о выполнении пятилетки в четыре года успешно претворяется в жизнь. Больше того,—эта таблица цифрами доказывает, что мы одержали величайшую победу на фронте борьбы за социализм, победу, которая позволяет с полным правом заявить о том, что мы вступили в период социализма и сейчас завершаем построение фундамента социалистической экономики СССР. И именно поэтому вся капиталистическая пресса изменила тон, перешла от высмеивания пятилетки к признанию ее торжества. Не нужно быть особенно умным человеком для того, чтобы понять ту простую истину, что успехи пятилетки есть успехи социализма, ибо пятилетний план в переводе на политический язык означает план построения социализма в нашей стране.

	1929/30 г.	1931 г.	Последний год пятилетки (1932/33)	1931 г. в %% к последнему году пятилетки (1932/33)
Народный доход (в млн. руб.)	36 000	49 000	49 700	98,6
Единый финплан (в млн. руб.)	24 000	31 000	23 200	134,1
Госбюджет (в млн. руб.)	12 600	21 200	14 080	150,6
Капитал, вложенный в промышленность планируемую ВСНХ (в млн. руб.)	3422	5500	3500	157,1
Валовая продукция промышленности (в млн. руб.)	18 092	26 200	30 447	86,1
Капитальные вложения в электростроительство (в млн. руб.)	513	850	837	101,6
Капитальные вложения в транспорт (в млн. руб.)	1876,6	3185	3100	102,7
Грузооборот (в млн. тонн)	235	330	281	117,4
Капитальные вложения в обобществл. сектор народного хозяйства (в млн. р.)	10 000	17 000	14 961	113,6
Капитальные вложения в сельское хозяйство (в млн. руб.)	3354	3800	1938	196,1
Посевная площадь (в млн. га)	127,8	143,0	141,3	101,2
В том числе зерновые (в млн. га)	102	109,0	111,4	97,8
Посевной план колхозов и совхозов (в млн. га)	48,2	75,9	18,9	400
Валовой сбор зернохлебов (в млн. центнеров)	874	994	1054	94,3

У нас принято называть 1931 год решающим годом борьбы за пятилетний план. Это безусловно верная характеристика текущего года, ибо на протяжении этого года мы должны будем разрешить, и безусловно разрешим, целый ряд задач, которые будут иметь определяющее значение для дальнейшего развития народного хозяйства и, в частности, для успешного завершения борьбы за пятилетний план. Достаточно сказать, что 1931 год будет первым годом массового вступления в строй новых заводов-гигантов В настоящее время в стройке находится примерно на 4,5 млрд. рублей фабрик и заводов. Планом предположено ввести в эксплоатацию новых фабрик и заводов стоимостью около 4 млрд. рублей. Значение этого мероприятия, намеченного планом, настолько очевидно, что о нем едва ли стоит говорить. Здесь достаточно вспомнить тактику вредителей на омертвление капиталов, на затягивание строительства новых заводов, чтоб понять эффект этого большевистского мероприятия, дающего возможность по целому ряду отраслей окончательно ликвидировать последствия вредительства. Кроме этого, вступление в строй такой массы заводов-гигантов, и в частности, машиностроительных заводов, значительно освобождает Советский Союз от иностранной зависимости в технико-экономической области. До сих пор развитие народного хозяйства, и в частности тяжелой индустрии, в значительной мере определялось размерами ввоза из-за границы необходимого оборудования. Развитие своего собственного машиностроения позволяет нам базировать строительство новых фабрик и заводов на своем собственном машиностроении, т. е., другими словами: строительство новых фабрик и заводов не будет лимитироваться ввозом из-за границы оборудования. Это обстоятельство необходимо подчеркнуть со всей настойчивостью, ибо развитие машиностроения есть по сути дела создание технической базы для индустриализации страны и для социально-технической ре-

конструкции сельского хозяйства. По машиностроению план намечает доведение продукции наших машиностроительных заводов в 1931 году вместо 1 300 млн. рублей за истекший год до 2 443 млн. рублей, и по сельхозмашиностроению — до 760 млн. рублей вместо 360 млн. за истекший год. Такой бурный размах машиностроения, и особенно сельскохозяйственного, открывает перед нами огромные возможности в реконструкции народного хозяйства и, в частности, позволяет значительно расширить и укрепить техническую базу совхозов и колхозов, что диктуется всем ходом борьбы за социалистическую переделку сельского хозяйства. На путях реконструкции сельского хозяйства в 1931 году мы сделаем следующий гигантский шаг вперед. В 1931 году мы должны в основном завершить коллективизацию сельского хозяйства и ликвидировать кулачество как класс по целому ряду областей (Украина — степь, Северный Кавказ, Нижняя Волга, Средняя Волга, Заволжье), в которых охват крестьянских хозяйств колхозами должен составить не менее 80%. Кроме того, в 1931 году мы должны в гигантских размерах развернуть совхозное строительство и охватить коллективизацией не менее 50% всех крестьянских хозяйств страны. Вот программа переделки сельского хозяйства на 1931 год. Столь бурные темпы развития совхозно-колхозного строительства бесспорно позволят нам закрепить успехи, которые мы имеем в области производства зерна, или, другими словами, окончательно снять с порядка дня зерновую проблему, разрешенную в основном уже в истекшем году. Вместе с тем они позволят поднять на невиданную еще для нашей страны высоту производство технических культур и добиться в этой области таких успехов, которые позволят снабдить легкую промышленность необходимым количеством сырья и тем самым в колоссальных размерах увеличить производство предметов широкого потребления. Эти темпы коллективизации придвинут нас вплотную и к разрешению животноводческой проблемы, являющейся в настоящее время важнейшей проблемой сельскохозяйственного развития. В этой области уже за истекший год мы имели довольно значительные успехи, отмеченные и в резолюции об'единенного пленума ЦК и ЦКК ВКП(б). В этой резолюции мы читаем:

«За период, прошедший со времени постановления ЦК от 20 декабря 1929 г. «О мероприятиях по разрешению мясной проблемы», организована сеть специальных мясных социалистических фабрик (129 совхозов «Скотовода» с поголовьем скота в 1 012 000, 116 совхозов «Овцевода» со стадом в 2 680 000 голов, 308 хозяйств «Свиновода» со стадом в 177 000 голов, и остальные совхозы и пригородные хозяйства рабочей кооперации со стадом 186 000 голов рогатого скота, 456 000 голов свиней и 218 000 овец).

Эти успехи позволяют широко развернуть животноводство в колхозах и уже к концу 1931 года довести стадо крупного рогатого скота в «Скотоводе» до 2 800 000 голов, в «Свиноводе» — 1 900 000 голов, в «Овцеводе» — до 4 400 000 голов и в фермах рабочей кооперации — до 130 000 свиноматок и 1 200 000 свиней на откорме».

Выполнение этой гигантской программы развития животноводства и не менее грандиозной программы по развитию огородного хозяйства безусловно должно будет повести уже в 1931 году к значительному сокращению продовольственных затруднений и к улучшению снабжения населения, в первую очередь рабочего класса, всеми необходимыми продуктами питания. Можно уже сейчас говорить о том, что мы вошли в полосу значительного смягчения продовольственных трудностей, и уже недалек тот день, когда мы окончательно их преодолеем. Эти трудности, порожденные в основном отсталостью нашего сельского хозяйства благодаря примитивности техники распылен-

ных мелких и мельчайших крестьянских хозяйств, в значительной мере усугублялись и усугубляются плохой работой кооперативного аппарата и наличием в снабженческом аппарате вредительских организаций, которые не так давно были раскрыты и ликвидированы органами ОГПУ. Поэтому борьба за улучшение снабжения, за преодоление трудностей должна развиваться не только по линии увеличения производства продуктов питания и предметов широкого потребления, но и по линии улучшения работы снабженческих, в первую очередь — кооперативных организаций.

Борьба за действительно большевистский, четко работающий советский и кооперативный аппарат на данном этапе развития приобретает исключительно важное значение. Именно поэтому пленум ЦК, сосредоточивший свое внимание преимущественно на хозяйственных вопросах, заслушал также и доклад тов. Калинина о перевыборах в советы и принял по этому докладу резолюцию, приковывающую внимание партии к этой важнейшей политической кампании. Советы, как органы диктатуры пролетариата, должны осуществить поворот лицом к производству, лицом к рабочему снабжению, лицом к коллективизации. Они должны возглавить борьбу масс за выполнение хозяйственных планов, за претворение в жизнь лозунга партии о выполнении пятилетки в четыре года.

Об'единенный пленум ЦК и ЦКК ВКП(б), собравшийся на пороге нового хозяйственного года, дал целостную боевую большевистскую программу борьбы за социализм. Он со всей настойчивостью выпятил проблему качества всей нашей работы. Для выполнения этой боевой программы необходимо мобилизовать всю партию, весь рабочий класс, всех колхозников и крестьян-единоличников, ибо эта программа есть программа построения социализма в нашей стране. Мы развиваемся гигантскими темпами. Наше развитие приводит в бешенство капиталистический мир, переживающий жесточайший экономический кризис. Поднимаясь по лестнице большевистских темпов, мы можем спокойно смотреть в будущее, ибо наша страна, под испытанным руководством ленинской партии, превращается в непобедимую крепость мирового коммунизма. Она становится страной передовой индустрии, совхозов и колхозов, она становится страной социалистической, завершающей в 1931 году построение фундамента социалистической экономики.

Что бы ни говорили изолгавшиеся вожди II Интернационала, рабочий класс Советского Союза вместе со своей партией может сегодня сказать, что он одержал победу всемирно-исторического значения и идет навстречу новым победам, которые завершат дело, начатое на баррикадах Октября.

Предшественники вредительства

2. Чаяновщина

Р. Катанян

Рука-об-руку с Промпартией, с Торгпромом, с вредителями Рамзиным, Ларичевым и К° работали представители Трудовой крестьянской партии, так называемые ТКП.

Рамзин на суде по делу Промпартии между прочим показал: «В 1929 г. состоялось совместное заседание ЦК обеих партий (т. е. Промпартии и ТКП) в Госплане. Здесь обсуждался вопрос блокировки в смысле создания кризиса и интервенции 1930 г., а именно, был поставлен вопрос относительно помощи ТКП в смысле создания кризисов в области крестьянского хозяйства, продовольствия, кооперации. Кроме того подвергался обсуждению и финансовый вопрос, именно валютный вопрос. Промышленная партия все время держалась одних и тех же директив: максимальное требование импортных заказов, т. е. импорта машин и максимальных затрат на это дело. С другой стороны, ТКП должно было проводить директиву возможной придержки валюты. Таким образом, путем комбинированных действий этих двух организациий и должны были усилиться валютные затруднения, а также затруднения в выполнении импортных планов». (См. «Известия» от 27 ноября. Показания Рамзина.)

«Из общего контура этой (т. е. Промпартии) программы совершенно ясно видно, что эта программа защищала интересы крупной промышленной буржуазии и крепкого единоличника-крестьянина.— Эти основные установки в значительной степени разделяла Трудовая крестьянская партия, что служило в значительной степени стимулом для искания взаимного контакта этих двух организаций и блокировки с целью возможной поддержки и помощи при совершении контрреволюционного переворота». (Показания Рамзина — см. «Известия» от 26 ноября.)

Правда, такая позиция чаяновской партии противоречит их словесным декламациям и утверждениям, что «бесспорно было (для членов ТКП) одно общее политическое положение, что государственный строй политически должен явиться сотрудничеством двух основных классов — пролетариата и крестьянства». Такие формы были блудливой теорией. В действительности же ими проводилась яркая, ничем не прикрытая подмена сотрудничества крестьянства с пролетариатом сотрудничеством кулачества с крупной буржуазией, совместно боровшимися за свержение советской власти и установление военной диктатуры. «Эта военная диктатура рассматривалась как средство успокоения, после которой можно было бы говорить о реформах»,— говорит один из вредителей-инженеров.

Члены Трудовой крестьянской партии на словах не признают военной диктатуры над народом. У них на этот счет существует даже специальная теория, которая, как и полагается болтунам, расходится с печальной действительностью.

Кондратьев, товарищ по партии Чаянова, писал: «Диктатура одного класса **возможна и прогрессивна** лишь при условии, что другие классы или уже сходят с исторической сцены или, наоборот, еще только появляются на ней. При иных условиях, поскольку классы существуют, диктатура всегда грозит вылиться в форму насилия одного живого прогрессивного класса над другим, также живым, сильным и еще прогрессивным классом или классами».

Кондратьевцы допускают диктатуру над классом умирающим или только нарождающимся,— причем это, по их мнению, не будет насилием. Спрашивается, как же быть с пролетариатом? К какой категории отнести пролетариат — к классу ли умирающему или только нарождающемуся? Ведь ТКП ставила вопрос об осуществлении военной диктатуры над пролетариатом на другой же день после победы контрреволюции, ведь Рамзин и Кондратьев, промышленная буржуазия и кулацкая часть крестьянства готовились всей тяжестью навалиться на рабочий класс.

Не впервые и не из тактики текущего момента Чаянов мечтал о неизбежности падения диктатуры рабочего класса и о диктатуре над пролетариатом. Об этом г. Чаянов писал еще 1920 году в книжке: «Путешествие моего брата Алексея в страну крестьянской утопии». Книжка эта показывает подлинное лицо чаяновцев, и потому не мешает рассмотреть повнимательнее политфизиономию чаяновских сторонников.

Действие происходит в советской Москве в 1920 году. Страна наша закончила гражданскую войну, она готовилась к переходу на мирную работу. Был готов план электрификации, делались первые наметки будущих великих работ. Демобилизующаяся страна думала не о безмятежном отдыхе, не об уютном домашнем очаге. Она решала вопросы о способах восстановления промышленности как первого шага в реконструкции и переустройстве всего нашего народного хозяйства. А в это самое время Чаяновы мечтали о повороте вспять.

Герой и будущий деятель Трудовой крестьянской партии с особым значением цитирует слова Герцена: «Слабые, хилые, глупые поколения протянут как-нибудь до взрыва, до той или другой лавы, которая покроет их каменным покровом и предаст забвению летопись. А там? А там наступает весна, молодая жизнь закипит на их гробовой доске, варварство младенчества, полное недостроенных, но здоровых сил, заменит старческое варварство, дикая свежая мощь распахнется в молодой груди юных народов, и начнется новый круг событий и третий том всеобщей истории.

Основной тон его можно понять теперь. Он будет принадлежать социальным идеям. Социализм разовьется во всех фазах своих до крайних последствий, нелепостей. Тогда снова вырвется из титанической груди революционного меньшинства крик отрицания, и снова начнется смертная борьба, в которой социализм займет место нынешнего консерватизма и будет побежден грядущей неизвестной нам революцией».

Такой момент, по мнению г. Чаянова, наступил. Социализм в Стране Советов занял место консерватизма, пришло время «грядущей неизвестной революции», и начинается новый том всеобщей истории.

В утопии Чаянова дана картина торжества этой новой революции, передан весь уклад якобы новой жизни.

Нам неизвестно, из какого «домостроя» взяты описания жизни граждан чаяновской республики, но несомненно одно — близка его сердцу жизнь «античной Руси». Обстоятельно рассказывает он о том, что «в Архангельском за 80 лет не разучились делать ванильные ватрушки к чаю», что «семья есть семья — и всегда останется семьей», что древне-русское платье самое совершенное в мире и т. п.

Жизнь идет крепкая, мужицкая. «В районах хуторского расселения, где семейный нáдел составляет 3—4 десятины, крестьянские дома, на протяжении многих десятков верст, стоят почти рядом друг с другом, и только распространенные плотные кулисы тутовых или фруктовых деревьев закрывают одно строение от другого».

Чем и как живут крестьяне за толстыми стенами, отгороженные тутовыми деревьями друг от друга и от всего света — мы не знаем? Об этом автор утопии нам не рассказывает. Но судя по царящему в этой сказочной стране типу хозяйства, нужно полагать, что крестьянин в поте лица своего зарабатывает хлеб и ватрушки свои. Он прикреплен к земле, он является рабом этой земли.

По рассказам Чаянова, в его стране господствует хуторское хозяйство. Оно дает высокие урожаи, до 500 пудов с десятины. Обработка ведется ручным способом, практикуется «чуть ли не индивидуальный уход за каждым колосом».

Вся мечта карликовых мечтателей не поднимается дальше карликового хозяйства, до знаменитой грядковой культуры, о которой во времена царизма рассказывали реакционные писатели из «Нового времени», указывавшие, что разрешение земельного вопроса нужно искать не в передаче земли крестьянину, а лишь в интенсификации хозяйства, «в индивидуальном уходе чуть ли не за каждым колосом». Такое хозяйство должно повести лишь к закабалению человека, к подавлению его личности. И такие мечты преподносились гг. Чаяновыми в то время, когда перед массами были открыты широкие перспективы зерновых фабрик, когда уже были проделаны первые опыты совхозов и колхозов.

Кто мог приветствовать утопию г. Чаянова? Беднота круто повернулась бы к Чаянову спиной. Ибо нарисованная последним картина не дала бы ничего бедноте, кроме надежд поступить в качестве батрака к хозяину, получающему по 500 пудов с десятины. Середняку такое хозяйство не обещало ничего хорошего, так как хозяйство это возможно было бы вести только наемным трудом. Ведь за каждым колосом требовался индивидуальный уход! Один только кулак-хуторянин мог вести прославленную черносотенцами грядковую культуру.

Вполне последовательная картина: защищая кулака, мнимый революционер Чаянов повторял зады черносотенцев из «Нового времени». Точно так же, как в наши дни, тот же Чаянов, защищая интересы того же кулачества, попадал в об'ятия Торгпрома и Промпартии, реакционной белогвардейщины и сознательно расчищал путь к военной диктатуре.

Как же случился переворот, после которого в стране чаяновской утопии была низвергнута диктатура пролетариата? Каким образом наступила «грядущая неизвестная нам революция»?

«Прошлая эпоха городской культуры», «печальной памяти государственный капитализм» оказались неприемлемыми для кулацкой части крестьянства. Получив большинство на с'езде, крестьянство мирным путем получило власть в свои руки. Каков был этот мирный путь — мы увидим в дальнейшем. Победившее крестьянство довело Украину через два года до восстания, в котором участвовали металлисты и текстильщики, пролетариат вновь побежден, и упрочивается власть крестьянская. Через три года после этого вновь вспыхивает восстание, которое было «последней вспышкой политической роли городов, после чего они растворились в крестьянском море».

Автор не дает описания подавления восстания рабочих масс, но судя по заявлению, что кулацкие пулеметы работают не хуже большевистских, нужно полагать, что пулеметы эти побывали в работе. Зато дана довольно подробная картина расправы над рабочими после восстания.

«Когда власть оказалась в руках крестьянских партий,— рассказывается в книжке,— правительство Митрофанова, убедившись на многолетней практике, какую опасность представляют для демократического режима огромные скопления городского населения, решилось на революционную меру и провело на с'езде советов известный и у вас, в Вашингтоне, декрет об уничтожении городов с населением свыше 20 000 жителей. В результате в течение 10 лет шла разгрузка городов. Рабочих целыми предприятиями выселяли из крупнейших городов. Фабрики постепенно были эвакуированы по всей России на новые железнодорожные узлы».

Операция изгнания рабочих из городов и центров вызвала серьезное сопротивление рабочих, был организован заговор Варварина, в результате чего властями «сотнями уничтожались московские небоскребы, нередко прибегали к динамиту». Достаточно этого описания грандиозной насильственной переброски, чтобы хоть несколько представить себе жестокость расправы с рабочим классом, осмелившимся выступить против деревенщины. Правда, в наброске картины подавления и уничтожения рабочих масс не упоминается о виселицах и массовых расстрелах. Но если после победы нужны были меры, о которых говорилось выше, то ясно, что сама эта победа далась не без пролития крови. Ведь рабочие покушались на кулацкую демократию, представляли опасность для ростовщическо-демократического режима, и потому они должны быть обречены на лишение крова, воды и огня.

Так грезилось г. Чаянову усмирение пролетариата. О таком подавлении тоскуют все современные контрреволюционеры, начиная от белогвардейцев и кончая фашистами.

Из утопической фантазии г. Чаянова можно сделать лишь один вывод: подготовка к военной диктатуре была не праздной болтовней размагниченных интеллигентов, а политической программой Трудовой крестьянской партии.

Из-за чего шла такая жестокая, кровавая борьба крестьянской верхушки с рабочим классом в стране утопии?

«В сущности нам были не нужны какие-либо новые начала,— говорит один из героев Чаянова,— наша задача состояла в утверждении старых вековых начал, испокон веков бывших основой крестьянского хозяйства». «В основе нашего хозяйственного строя, так же как и в основе античной Руси, лежит индивидуальное хозяйство».

Мы что-то мало лестного слышали об этой античной Руси. Индивидуальное хозяйство крестьянина там часто подвергалось разграблению и расхищению, сам крестьянин был прикреплен к своей земле и ходил под властью землевладельца. «Во-первых,— говорит Г. В. Плеханов,— смерд в Суздальской Руси нередко, хотя на первых порах и реже чем в Киевской, попадал в такие неблагоприятные условия, которые лишали его возможности вести самостоятельное хозяйство. Тогда он должен был искать помощи на стороне. И если он находил ее у более или менее крупного землевладельца, он становился «арендатором на чужой земле». Во-вторых, удельные князья северо-восточной Руси уже рано стали рассматривать занятые «смердом» земли как свою собственность» [1].

Так индивидуальное хозяйство грезилось г. Чаянову? Нет! Он думал не о смерде, его помыслы направлены были на защиту столыпинского крепкого крестьянина, не того хуторянина, который заведет грядковую культуру. Об античной же Руси г. Чаянов сбрехнул для-ради красного словца. Речь шла, очевидно, не о временах Изяслава или Святополка, а о более близких к нам

[1] Г. В. Плеханов — История русской общественной мысли, т. I, стр. 67.

временах. А именно — в лучшем случае о природе Февральской революции, когда у представителей мелкой буржуазии была надежда на буржуазное разрешение земельного вопроса. С другой стороны — речь о земельной программе, впоследствии выставленной Торгпромом, полагавшим, по крайней мере на первое время, необходимым сохранение земли за крестьянами, но обязательно в индивидуальном порядке. И выходит, что чаяновские планы крестьянской революции, подавления диктатуры рабочего класса только предвосхищали программу Торгпрома и Промпартии.

В дальнейшем Чаянов рассказывает о развитии крестьянской кооперации.

Но и эта кооперация носит торгпромовский характер. Наряду с индивидуальным хозяйством развивалась крестьянская кооперация. Она, «обладая гарантированным и чрезмерным об'емом сбыта, задушила для большинства всякую возможность конкуренции». Но разве такая сбытовая кооперация чем-либо может помешать господству Гукасова, Нобеля и К°? Ведь чаяновский крестьянин-индивидуалист является вернейшей опорой капиталистов. И не случайно в чаяновской утопии нет указаний на то, как организована кооперация и как поставлено дело распределения продуктов. Нет указаний на то, как и кем устанавливаются цены на предметы питания, как эксплоатируются рабочие этими самыми крепкими крестьянами.

Ликвидация революции идет и по линии промышленности. Из всей обобществленной промышленности в руках государства остается нефтяная, лесная, каменноугольная промышленность. Остальное переходит к кооперации и частнику. «Частная промышленность капиталистического типа у нас,— рассказывает герой утопии,— все же существует: в тех областях, в которых бессильны коллективно управляемые предприятия, и в тех случаях, где организаторский гений высотою техники побеждает наше драконовское обложение». Из этого следует, что транспорт и вся крупная тяжелая индустрия, где требуются высота техники и организаторский гений, отымались от государства, денационализировались и передавались частникам.

Другими словами, в стране утопии оказалось осуществленным то, что было впоследствии написано в программе Торгпрома и Промпартии и о чем говорил на суде г. Рамзин.

В вопросе о промышленности, точно так же как в вопросе о земле, г. Чаянов сходился с вредителями из Торгпрома и Промпартии. Это, конечно, не значит, что Чаянов списал свою программу Нобеля, точно так же не значит, что Нобель списал свою программу у Чаянова. Разными путями эти группы дошли до одних и тех же выводов, исходя из одних и тех же предпосылок.

И потому блок Трудовой крестьянской партии с Промышленной партией является вполне естественным, как продиктованный одинаковыми классовыми интересами. Характерно, что член центрального комитета Трудовой крестьянской партии развивал вредительскую установку еще в 1920 году, когда помину не было ни о Торгпроме, ни о Промпартии.

Изменения, происшедшие в стране крестьянской утопии, должны были найти свое отражение в литературе и искусстве. Не осталось ни малейшего следа от марксизма и коммунизма. Появились книги под странными названиями «От коммунизма к идеализму».

В утопической Москве на Театральной площади стояли три бронзовых гиганта, обращенных друг к другу спиной и дружески взявшихся за руки. Это были — Ленин, Керенский и Милюков. По словам героя утопии Крем-

нева, в стране чаяновского будущего в революционной борьбе Ленин является сотоварищем Милюкова и Керенского, утописты «не очень-то помнят, какая между ними разница».

Для Чаяновых Октябрь не является переломным моментом в истории человечества, Октябрь, по их мнению, не был началом нового мира. Империалист Милюков, слуга империализма Керенский и представитель коммунизма Ленин делали единое дело — расчищали путь к приходу на историческую арену чаяновщины и кондратьевщины. Проект такого памятника является клеветой на историю. Никогда невозможно было бы соединить два мира, поэтому такое историческое толкование является безграмотным и недобросовестным. Но Чаяновы лгут не только на Ленина и коммунизм. Они лгут и на самих себя. Они, сторонники военной диктатуры, они, мечтавшие и мечтающие об изгнании рабочих, о раскассировании рабочего класса, о распылении его,— они вдребезги разбили бы все, что напоминало бы оголтелой Вандее о героизме рабочих масс, о борьбе за освобождение человечества, они стерли бы с лица земли имя Ленина.

Какова форма правления в утопической крестьянской республике? Как будто само название говорит за то, что страна демократически-республиканская. Но это только внешняя видимость. На самом же деле наряду с мнимой советской властью в утопии в зависимости от местных условий существует и иная власть. Так, в «Угличе любители монархии завели удельного князя, правда, ограниченного властью местного совдепа». Вот это так! Наряду с советами да удельный князь! Любой монархист будет приветствовать такие советы.

В Якутской области правят путем парламентаризма.

В Монголо-Алтайской территории единолично правит «генерал-губернатор» центральной власти.

«Нашей задачей,— говорит один из героев утопии,— являлось разрешение проблемы личности и общества. Нужно бы построить такое человеческое общество, в котором личность не чувствовала бы на себе никаких пут, а общество невиданными для личности путями блюло бы общественный интерес». Право, неизвестно кого хотел обмануть т. Чаянов. Неужели удельный князь, хотя бы ограниченный в своей власти, неужели неограниченный генерал-губернатор, парламент в Якутской области могут способствовать разрешению проблемы общества и личности? Да ведь эти институты способны только подавлять личность человека.

Что за странная борьба между личностью и обществом! Может итти борьба между классами в государстве, класс господствующий и класс подчиненный будут антагонистами друг другу, говорить же о проблеме личности и общества значит подменить классовую борьбу нытьем скорбного, неприспособленного к жизни интеллигента.

На самом же деле в стране утопии власть сосредоточивалась в руках интеллигентов-кооператоров, которые бесконтрольно управляли страной. Эта интеллигенция кооператоров является тенью Бонапартов. «Они (т. е. мелкое французское крестьянство) бессильны защищать свои классовые интересы,— говорит К. Маркс,— от своего имени в парламенте или Конвенте. Они не могут представлять себя, они должны быть представлены. Их представитель должен быть их господином, должен явиться перед ними как авторитет, как неограниченная власть, защищающая их от других классов и посылающая им сверху и дождь и ведро» (см. «18 брюмера Людовика Бонапарта»).

Кучка интеллигентов-кооператоров выступает в роли самодержавцев и на практике осуществляет бонапартизм.

И в этом случае Чаянов сходится с Рамзиным. Трудовая крестьянская партия мечтает о режиме, при котором власть будет сосредоточена в руках интеллигентов-кооператоров. Промпартия, в свою очередь, мечтает об управлении страной через инженеров. И те и другие мечтают о кастовой власти, и те и другие являются бонапартистами; и те и другие в одинаковой мере думают свергнуть диктатуру пролетариата.

* * *

Причиной падения власти пролетариата, оказывается, было не только сопротивление крестьянства, отстаивавшего индивидуальное хозяйство. Большевизм был уничтожен во всем мире,— рассказывает г. Чаянов. «Мировое единство социалистической системы держалось недолго, и центробежные социальные силы весьма скоро разорвали царившее согласие».

«Постройка мирового единства рухнула» во Франции. Там Эрве произвел социальный переворот и установил «олигархию ответственных советских работников». (Ну и советские работники, которые могли об'единиться вокруг фашиста Эрве!) Вскорости в Англо-Франции олигархия советских служащих выродилась в капиталистический режим. Америка вернулась к парламентаризму, частично денационализировала промышленность, сохранив, однако, в основе государственное хозяйство в земледелии. Японо-Китай быстро вернулись к монархизму.

В неприкосновенности советский режим сохранила лишь одна Германия. И вот эта самая Германия об'явила войну, желает путем аннексии расширить свою территорию. Оказывается, захватническую политику проводят не капиталистические державы, а советская социалистическая Германия. Не чувствуется ли в этом отзвуке сказки о пацифизме буржуазии и красном империализме советов!

Да, г. Чаянов умеет сеять клевету. «Идея военного реванша не могла быть вытравлена из германской души никакими догматами социализма», и по пустячному поводу раздела угля Саарского бассейна немецкие металлисты и углекопы вооруженной силой заняли Саарский бассейн. Но и этого оказалось мало. Верная кайзеровской политике — Drang nach Osten — советская Германия напала на русских. «Три армии германского всеобуча, сопровождаемые тучами аэропланов, вторглись в пределы Российской крестьянской республики». Правда, за содеянное зло Германия понесла наказание. В этой войне она была побеждена и принуждена была подписать договор, несколько напоминающий Версальский. Германия должна была уплатить контрибуцию, в состав которой входило 1 000 племенных быков-производителей знаменитой породы nur für Deutschland.

Большевизм терпит крах не только в российском масштабе. Он гибнет во всем мире. Большевизм является источником многих тягчайших преступлений и зол. Он является врагом последовательной демократии, он устанавливает олигархию советских работников, он выступает поджигателем войн. А посему,— мечтает г. Чаянов,— он подлежит уничтожению. К этому положению присоединяется вся контрреволюция.

Но жизнь течет своим путем, далеко оставляя позади Чаяновых, Кондратьевых, Рамзиных и прочих прихлебателей реакции.

Группа журнала «Экономист»

На процессе Промпартии вредитель Федотов показал, что у белоэмигрантских экономистов типа Бруцкуса «возрастало нетерпение в отношении осуществления интервенции».

Бруцкус в деле контрреволюции не является новичком. В бытность свою в РСФСР он возглавлял довольно значительную группу полуученых, полу-

политиканов, собравшихся вокруг журнала «Экономист». Эта группа тоже ратовала за развернутый нэп и в своих письменных документах доказывала, что нэп является началом неукоснительного и неизбежного отступления на капиталистические позиции. Из номера в номер эта группа писала о несостоятельности компартии и советской власти удержать экономические и политические завоевания Октябрьской революции. Враждебная Октябрю, она в своих бессмысленных мечтах тянула назад, к февралю. Она доказывала неминуемость нашего краха и упорно пропагандировала ликвидацию революции. Общеизвестно положение Ленина: «Мы сейчас отступаем назад, но мы это делаем, чтобы сначала отступить, а потом разбежаться и сильнее прыгнуть вперед. Только под одним условием мы отступаем назад в проведении нашей новой экономической политики... чтобы после отступления начать упорнейшее наступление вперед» (т. XVIII, ч. 2, стр. 103). Это положение открыто не критиковалось, но зато каждая статья пяти вышедших книжек «Экономиста» была полна доказательств неизбежной капитуляции перед буржуазной Европой и полнейшего удовлетворения требований как европейской, так и отечественной буржуазии.

«Новая экономическая политика,— говорил г. Рафалович,— в современном об'еме ее мероприятий в состоянии дать лишь очень немного» («Экономист» № 2, стр. 133).

Буржуазное устройство государства — буржуазные государства, порядки — вечны, они абсолютны, и нарушение предопределенных богом-капиталом законов грозит стране неисчислимыми бедствиями. «Экономические законы незыблемы и непреложны, и только меры, принимаемые в пределах этих законов, могут дать благоприятный результат для хозяйственного организма страны» («Экономист» № 1, стр. 155). Незыблемые законы экономики — по мнению журналистов этой группы — говорят за крепкого хозяина города и деревни — за кулака, фабриканта, домовладельца и ростовщика. Нарушители законов экономики (буржуазной) совершают преступление перед страной, ведут ее к гибели, разорению. «Отмена принципов, на которых строится хозяйственная жизнь в современных исторических условиях, превратила цветущие поля в пустыни, потушила фабричные трубы, остановила железные дороги, заставила умирать от голода население... (Разрядка наша.) Можно было победить Колчака и Юденича, Деникина и Врангеля, но пришлось сложить оружие перед гранитной стеной законов, управляющих экономическим бытом народов». (Рафалович,— Новая экономическая политика, «Экономист» № 2, стр. 121). Яснее ясного сказано, что виновницей ужасов, описанных выше, была не гражданская война, не интервенция, а великая Октябрьская революция. И эта беззастенчивая ложь красной нитью проходит через все писания друзей гр-на Бруцкуса.

«Подобное положение народного хозяйства (т. е. непрерывное усиление разрухи) явилось своего рода категорическим императивом к изменению проводившейся с 1917 года экономической политики, направленной к возможно быстрому упрочению в стране коммунистического хозяйства. Эта политика была основана на огосударствлении всего производственного процесса, на учете и распределении государством всех результатов этого процесса, на уничтожении частной собственности, на аннулированиии денег и т. д. Теоретические построения не выдержали соприкосновения с суровой жизненной действительностью»,— поет все тот же г. Рафалович.

Сам собой напрашивается вывод: если действительно наступало банкротство принципов Октябрьской революции, если коммунисты проиграли все свои позиции, то выход должен быть один: коммунистам неизбежно нужно уйти в отставку и уступить место иным людям, якобы знающим се-

крет правильной экономической политики. Кто же эти люди? Конечно, Бруцкусы, Рафаловичи и иные верноподданные сгруппировавшихся впоследствии вокруг Промпартии капиталистов.

Политическая и экономическая программа разбираемой нами группы не нова. Она стара, как стара сама буржуазия. Она формулирована еще до Великой французской революции, она служила знаменем борьбы во второй период Конвента, в эпоху термидора. И не случайно Рафалович цитирует доклад члена Конвента Эшассерно-старшего от 24—25 декабря 1794 года.

«Необходима свобода во всех и для всех. Чтобы страна стала великою, необходимо, чтобы процветала торговля. Для этого необходимо, чтоб промышленность была свободной. Для того чтобы промышленность была счастливой, нужна свобода сельского хозяйства. Необходимо даже, чтобы роскошь пользовалась свободой, так как она питает торговлю и дает толчок к ее развитию. Когда нарушаются эти основные принципы, неизбежным результатом является разрушенная промышленность, опустевшие мастерские, повсеместная приостановка производственной деятельности, необходимость тратить за границей огромные капиталы, чтобы снабжать страну потребными ей товарами, затор во всех областях обмена, администрация, противоречащая природе вещей, которая всем ведает и всем управляет... Необходимо вернуться к свободе, а через нее и благодаря ей восстановить нарушенный порядок. Общество, как и природа, управляется только постоянными законами: все — беспорядок и хаос, когда нарушается их нормальное действие, и в особенности в области торговли всякое нарушение принципа вызывает затруднение или бедствие. Необходимо поэтому вернуть торговле ее свободу, ее элементы, ее поощрения, ее значения, и для того, чтобы она процветала, нужны не новые законы, а небходимо разрушить поставленные ей препятствия»...

«Экономическая политика хороша,— говорится в конце доклада, когда и земледелец, и промышленник, и торговец пользуются свободой в своей собственности, в своих произведениях, в своем труде, в своем промысле... Экономическая политика хороша, когда ясные и точные законы и опытные администраторы направляют финансы, когда власть поощряет и содействует развитию всех видов производственной деятельности, не стремясь сама что-либо производить» (там же, стр. 135).

Что же нужно сделать для скачка назад? Приведя требования французской буржуазии и вполне солидаризируясь с ней, г. Рафалович утаил, что эта декларация относилась ко второму периоду национального Конвента, ко времени победы термидорианцев, т. е. к началу заката Великой французской революции. Как раз в это время был уничтожен так называемый максимум, т. е. такса на хлеб. Поднявшая голову буржуазия стремились сторицей наверстать пропущенные в дни Робеспьера прибыли, заработать на голоде, царившем в рабочем квартале Парижа и прочих промышленных центрах. Недаром одним из первых шагов, поднявшей голову реакции было требование свободы, по платформе Эшассерно, и отмена максимума, того максимума, которого французская беднота добилась после упорной и продолжительной борьбы. В одной из поданных Конвенту в 1792 году петиций говорится: «Вы обратите внимание на то, что этот класс капиталистов и собственников, благодаря безграничной свободе в повышении хлебных цен, является таким же хозяином и в установлениях заработной платы». И дальше: «Неограниченная свобода торговли хлебом тягостна для наиболее многочисленного класса народа. Народ не может ее пережить. Значит, она несовместима с нашей республикой». И еще дальше: «Необходимо справедливое соотношение между ценой хлеба

и заработной платы, и дело закона поддержать это соответствие, для которого свобода торговли является препятствием» (С. А. Фалькнер— Бумажные деньги французской революции, стр. 119—120.)

Рафаловичи солидаризуются с контрреволюцией не только наших дней. Их реакционность засвидетельствована и закреплена историей европейского революционного движения.

Напрасны были их крики: назад от коммунистической революции к термидору, от советской конституции к аббату Сиесу, к его работам о третьем сословии.

Что же нужно сделать для рекомендуемого нам реакцией скачка назад? На это даются ответы по всем ответвлениям народного хозяйства. Каждый спец по своей отрасли дает указания и готовые рецепты, которые только и могут вывести нашу страну из кризиса и тупика.

Издавна, еще до революции 1905 года, известный своим ренегатством г. Изгоев делал ставку на крепкого мужика. А после, жонглируя нашим земельным кодексом, вкривь и вкось толкуя статьи земельного закона, он, а наряду с ним и его сотоварищи, пытался доказать, что единоличное хозяйство на селе подлежит всемерному укреплению. В статье «Общинное право и будущность крестьянства» Изгоев, разбирая земельное право, проповедует:

«Общинное право, хотя и не исключает государственной собственности на землю, по существу своему есть право индивидуальное, личное. Дальнейшее развитие его должно привести к тому, что оно получит характер вечно наследственный. После революции крупные домохозяева должны владеть землей на вечно наследованном общинном праве. Национализация земли найдет себе выражение в том, что государство установит пределы дробления и об'единения в одних руках участков земли, владеемых на вечно-наследованном общинном праве» («Экономист» № 2, стр. 90).

Итак, Октябрьская революция произвела национализацию земли для того, чтобы оберегать интересы «крупных домохозяев», т. е. кулаков, чтобы обеспечить их владение землей на правах вечного наследования и чтобы оберегать эти земли от большего дробления. Это кулацко-кондратьевское извращение закона в конце концов должно было бы ликвидировать завоевания Октябрьской революции в деревне, т. е. деревню превратить в опору контрреволюции. Интересно, что как раз о таком превращении мечтал Торгпром, об этом грезилось Трудовой крестьянской партии, об этом рассказывал на суде вредитель Рамзин. Наряду с фактической денацоанализацией земли должна быть денационализирована и промышленность. В статье «Накануне Генуи» г. Зверев предсказывает: «Для чисто физического спасения нации и вообще нашего прогресса придется подписать в Генуе «кабальную запись». Такая установка Зверевых сходилась с позицией международной буржуазии, которая была уверена, что в Генуе им удастся диктовать советам условия капитуляции. Но ошиблись они, а вместе с ними и политиканы из «Экономиста». Тот же г. Зверев в другой статье, «О путях нашего прогресса», пишет: «Переходя к вопросам строительства русской промышленности, нам пока трудно их конкретно наметить, ибо здесь весьма многое зависит не только от собственного желания... Одно ясно. Если Россия будет денационализировать предприятия, принадлежащие иностранным подданным, то очевидно, что придется применять эту меру и в отношении российских подданных. Но тогда здесь возникает вопрос — восстанавливать ли полную хозяйственную свободу владельцев или же, в целях усиления влияния государства и рациональной

постановки промышленности, организовать ее как-то по-новому, на новых началах, в духе гарантизма Фурье...» («Экономист» № 3, стр. 7).

Г. Зверев не указывает, почему нужно денационализировать предприятия иностранных подданных. Но если вспомнить его предсказания о неизбежности в Генуе подписи нами кабальной записи, тогда все станет ясным. В Генуе нас принудят вернуть фабрики и заводы прежним собственникам из иностранцев. А дальше Зверев рассуждает: ну, если иностранцам можно вернуть, то почему же не вернуть и собственным буржуям? А дальше само собой напрашивается, если вернуть собственность контрреволюции, то почему же заставить ее пребывать в эмиграции? Разрешить контрреволюции вернуться на старые пепелища. А еще дальше — если можно денационализировать фабрики и заводы, то почему же исключения для земледельцев, для домовладельцев и т. д. и т. п. Словом, все вернуть, всех вернуть, повернуть колесо истории назад. Таков должен был быть конец развиваемой г. Зверевым мысли, но он не осмелился договорить ее до конца по причинам вполне понятным.

Сотоварищ Зверева г. Штейн — человек, очевидно, более практический, он не любит терять время на теоретические догадки. Он хочет стоять на реальной почве. Он тоже за углубление нэпа, он стоит за «увенчание здания». И это увенчание, по его мысли, должно повести к передаче частнику крупной промышленности. «Машиностроительная промышленность,— изрекает г. Штейн,— в современных условиях должна быть крупной. А между тем крупная промышленность еще под запретом частной инициативы» («Экономист» № 2, стр. 22). Для оживления машино-паровозо-вагоностроения необходимо привлечение частного капитала,— утверждает тот же Штейн. Иностранец, а за ним и свой буржуа требуют полной ликвидации Октября и грозят кулаком, а в случае надобности пригрозят и штыком западноевропейской буржуазии. Они надеются на то, что в Генуе на мировой конференции, за мирным столом представители советской власти согласятся на мирную интервенцию. Ну, а затем, после возвращения на «родину», Лукомские, Милюковы и Деникины покажут, как нужно управлять страной. Да ведь это почти что то же самое, что впоследствии организовывали торгпромовцы. Да, недаром друг Зверевых и Штейнов Бруцкус работал за границей на интервенцию!

В своей готовности капитулировать перед буржуазией г. Зверев не знает пределов и границ. «Нам нужно,— говорит он,— итти на полный мир с другими народами, нам нужно призвать их к себе на помощь, нам нужно их всячески компенсировать за оказанную поддержку» («Экономист» № 2, стр. 9). В чем будет выражаться «поддержка» буржуазии — нам это хорошо известно. И вот за подготовку интервенции, за безграничную ненависть к нам рабочим рекомендуется добровольно надеть на себя ярмо оплаты царских долгов. «Соотношение сил,— говорит все тот же Зверев,— таково, что ничего не поделаешь: платить придется по ним (т. е. по царским долгам) всему нашему народу» (там же).

Наряду с признанием долгов необходимо, конечно, ликвидировать и монополию внешней торговли. «Россия в настоящее время более, чем когда бы то ни было раньше, заинтересована в развитии своей внешней торговли,— только восстановив свои прежние связи с международным рынком, только вновь вступив в семью цивилизованных наций, сможет Россия постепенно выйти из той катастрофы, в которой ныне гибнут ее силы, ее достояние и ее население. Но, для того чтобы пойти этим путем, необходимо, чтобы самая система внешней торговли была

вполне приспособлена к той задаче, которая на нее возлагается» (ст. Рафаловича «Экономист» № 4, стр. 49).

Надо вступить в семью цивилизованных наций, и для этого надо изменить систему внешней торговли, т. е. ее монополию. А ведь монополия внешней торговли является одним из краеугольных камней нашей конституции.

Но и такой капитуляции оказывается недостаточно гг. экономистам Они идут дальше. Вместе с ликвидацией советской экономической политики и основ, на которых зиждется эта политика, они хотели бы разоружения нашей страны. «Нации именно нужно все свои силы и средства употребить на внутреннее строительство. В связи с этим было бы крайне необходимо сократить наши военные расходы, оставив лишь особо квалифицированный кадр армии, но с достаточно большим запасом вооружения для нужд мобилизации, и возможно развить военную подготовку вообще всего населения, при этом не отрывая его надолго от производительного труда».

Этот вражеский совет, как и все их прочие советы, был бы вполне приемлем для наших лютых врагов из стана международной контрреволюции.

Уничтожить национализацию фабрик и заводов, вверх ногами поставить национализацию земли, отменить аннулирование долгов и монополию внешней торговли и, наконец, распустить Красную армию. Да разве Торгпром с Пуанкаре вместе, Промпартия и ТКП не облобызали бы авторов таких программ?

Да, не случайно г. Бруцкус в Берлине работает на гг. интервентов.

Но и этой программы оказалось мало. Нужно для проведения политико-экономической линии будущих агентов Торгпрома изменить и состав людей, входящих в госаппарат. Руками пролетариев контрреволюции не проведешь! Все тот же хитроумный Зверев пишет: «Нам нужно дать дорогу народным вождям, откуда бы они ни были своим «родом и племенем»,— происходят ли они от предков, всегда занимавших «ответственные посты» в тех или иных областях общественной жизни, или же из глубоких рудных залежей народных» («Экономист» № 3, стр. 9). Итак, договорились до конца. Пустите в «народные вожди» тех, чьи предки управляли страной, пустите к власти дворянство, буржуазию — князей Львовых, Терещенко и Милюковых.

Мечты гг. экономистов крахнули. Ни экономика, ни политика советской власти не изменились, графы и миллионеры остались за границей, Генуя не помогла. Пришлось приступить к прямым действиям. И вредители начали свою работу...

ОТ ЗЕМЛИ И ГОРОДОВ

Краем советской земли

Макс Зингер

Недогруз и перегруженность

Мощный теплоход «Красноярский рабочий» пришел на Диксон к вечеру седьмого сентября. Диксон был неузнаваем. Несколько дней назад он чернел своими скалами. Лишь отдельными пятнами выделялся снег в ложбинах, розовея от красной каменной пыли. Сегодня весь остров Диксон затянуло снежным покровом. Быстрыми шагами надвигалась зима. Остров становился не только суровым, но и унылым. Табунились гуси, собираясь в теплые края. Раскормившаяся дичь летела низко над водой, с трудом неся свои жирные тела.

Олени, почуяв запах дыма пароходов, ушли далеко в глубь материка. Случайно, милях в пяти от берега, доктор «Малыгина» Чечулин обнаружил небольшое стадо оленей и пошел им в обхват с двумя охотниками. В самый разгар охоты показался в воздухе самолет Чухновского и громом своего мотора разогнал испуганных зверей. Охотники вернулись с пустыми руками на ледокол.

За день до прихода теплохода на Диксон забрела опять белуха. Михаил Ильич Буторин накрыл сетями штук сорок зверей, несколько из них вырвались и ушли в море, но тридцать семь были заколоты гарпунами и кровавыми тушами покрыли каменистый берег.

Чухновский, летавший на северо-восток от острова Диксон к Миддендорфу, видел неисчислимые стада белухи, которая шла, близко держась берега, по направлению с востока на запад.

Этот зверь, которого так ценили за его кожу и сало, жил где-то на востоке, и там, на этом востоке, и должен быть большой промысел белухи. Туда шло моторное судно «Белуха», чтобы проведать о звере, имя которого оно носило на своем борту и спасательных кругах.

Белуха, тюлени, песцы, платина, уголь, свинец и лучший в мире лес – вот будущее этого края. С каждым годом сюда все больше и больше будут приходить люди промышлять зверя, копать уголь, грузить лес.

Норильские уголь и платина, экспорт леса из Игарки, островные богатства пушниной и зверем через несколько лет сделают этот край, мертвый и унылый, неузнаваемым.

После зимовок во тьме полярной ночи люди не будут выходить на улицу с лимонно-пожелтевшими лицами. Ученые найдут средства, чтобы сохранить здоровье человеку на далеком и богатом Севере.

Совсем недавно люди боялись входить в Карское море, когда в Новоземельских проливах они встречали льды.

В 1924 году только три парохода прошли Карским морем. Но как постепенно возрастало это количество!

В 1925 году уже четыре парохода приняли участие в Карской операции, в 1926 — пять, в 1927 — шесть, в 1928 — восемь, в 1929 — двадцать шесть и, наконец, в 1930 году пятьдесят пароходов прошли через Карское море под конвоем советских ледоколов к сибирским портам на Оби и Енисее. Об этом и не снилось пионерам Карских экспедиций, купцам Сибирякову, Михайлову и Сидорову.

В просторной кают-компании «Красноярского рабочего» председатель правления Комсеверпути Лавров развивал передо мною гигантские планы будущего этого богатейшего и непочатого края.

К концу пятилетки пятьдесят тысяч стандартов леса должна была перекинуть Сибирь через Карское море за границу.

И эта цифра преуменьшена. Весь этот экспорт дадут лишь два завода: Игарский на Енисее и Березовский на Оби.

Но стихия Арктики далеко еще не побеждена. Если льды благоприятствовали в этом году Карским операциям, то на могучих реках Сибири штормы раскидали плоты по берегам, разбили их, и целыми челеньями сидел на мелях комсеверпутьский экспортный лес. Сегодня шторм, а завтра неожиданный спад воды,— вот откуда шли угрозы Карской экспедиции, угрозы оживлению Севера Советов. На реках не хватало буксиров, и плоты нередко шли на-авось, самсплавом.

Никогда еще Карское море не видало столько вымпелов, не слыхало столько гудков, никогда так не был загружен эфир радиостанциями, как в этом, 1931 году. Никогда одновременно не проходили из Карского в Баренцово море два парохода, огибая глетчеры и ледники северного мыса Желания, Новой Земли.

Но никто не мог поручиться за то, что во-время проведенные суда северным морским путем в сибирские порты не уйдут обратно с порожними, незагруженными трюмами.

Комсеверпуть решал вопрос об устройстве рыбацкого и зверобойного караванов в Игарском порту. Полуморские суда такого типа, как бот «Диксон», сооруженный Михаилом Ильичем Буториным, учившимся грамоте у ссыльных на Мезени,— вот что нужно было сейчас для овладения зверем Карского моря и его бесчисленным рыбным богатством.

— Мы пустили лиственницу вместо грейнхарта, попробуем крепость нашего сибирского дерева, может быть, лиственница не уступит иноземному грейнхарту. Мы колонизуем Север. На первое время поселим в Усть-порте двести семейств и двадцать пять семейств на Диксоне. Это будут рыбаки и зверопромышленники — пионеры края,— так говорил Лавров.

Десятки тысяч рублей тратил Комсеверпуть на гидрографические работы в Карском море и около миллиона — на изыскательские и геологические.

В этом году впервые была выпущена полярным исследователем Н. И. Евгеновым лоция Карского моря,— шестьсот экземпляров об'емистой книги о море, которое десяток лет назад считалось малодоступным.

Евгенов, предвидя нехватку экспортных грузов в Игарке, приказал по радио двум судам, шедшим к Юшару, следовать в Архангельск. Радиограмма-молния путешествовала по станциям трое суток, и в результате суда прошли уже за кромку льдов.

Устаревшие искровые береговые станции нужно было заменить новыми, усовершенствованными, и кроме того поставить рации на о. Белом и на мысе Желания. Восемь мощных станций Севера владели бы всем бассейном Карского моря и давали бы возможность синоптикам СССР правильно строить прогнозы погоды. Юшар, Вайгач, Матшар, Маре-Сале, Ямал, Диксон, о. Белый, мыс Желания должны быть радиоцентрами Севера. И тогда

не будет такого положения, чтобы один ледокол с другим не мог сноситься по неделям. Ледокол «Ленин» стоял у Юшара, «Малыгин» у Диксона. Телеграммы «Малыгина» передавали на Диксон, с Диксона на Матшар, с Матшара на Юшар, с Юшара, наконец, их ловил «Ленин». Молнии шли целыми сутками, и Евгенов, ложась спать в своей заваленной запоздалыми радио каюте, не знал порой, сколько у него прошло, сколько вышло из Карского моря лесовозов.

Север требовал новые радиостанции, новую радиоаппаратуру взамен устаревшей и пришедшей в негодность.

Волхвы Карского моря

Союзные военные корабли стояли в Балаклаве. Союзное морское командование помогало своим десантам громить русские форпосты Крымского побережья. В России еще не было железных дорог, и подмога шла пешим порядком, погибая от холода и тифа.

Но вот четырнадцатого ноября 1854 года в Балаклаве разразился небывалый шторм, и весь союзный флот — грозу Крыма — уничтожили не русские снаряды, не артиллерия береговых крепостей, а стихия, непредвиденная слепая сила неразгаданной природы.

Французский математик Леверье, открывший планету Нептун, получив впоследствии сведения о том, что 11 ноября 1854 года был шторм в Провансе, провинции Франции, 12 ноября в Адриатическом море, 13 ноября на Дунае, и сопоставив эти данные с тем, что 14 ноября штормом уничтожен французский флот в Крыму, пришел к заключению: шторм, впервые отмеченный во Франции, прошел до Крыма, разрушая по пути все ему попадавшееся. Значит, еще 11 или 12 ноября можно было, находясь во Франции, предвидеть шторм в Балаклаве. Эта мысль и привела знаменитого Леверье к истокам синоптики. Не только планету Нептун открыл математик, но он подал человечеству мысль узнавать, предугадывать ветры, штормы, непогоду на нашей планете. И ныне, трижды в сутки, на всем земном шаре метеонаблюдатели делают записи о погоде, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, температуре, облачности, осадках, особых явлениях.

Наблюдения для удобства передачи шифруются цифрами, и сотни тысяч пятизначных столбиков ежедневно перелетают по всему миру, сообщая о погоде во всех его уголках. Но не только метеонаблюдатели сообщают о состоянии погоды,— корабли, находящиеся в море, дают радио о погоде со своего пути.

На ледоколе «Малыгин» в просторной каюте, за столом, склонившись над картой, будто в оперативном штабе фронта, сидели два молодых синоптика — Синягин и Вительс. Они сторожили суда Карской экспедиции от туманов, от нордовых ветров, которые в два-три дня могут пригнать с севера лед и сжать ребра лесовозам, находившимся в Карском море.

Но не только суда Карской экспедиции прислушивались к предостерегающим прогнозам бюро погоды ледокола «Малыгин». Стоявшие на дальнем севере «Седов» и «Белуха» запрашивали «Малыгина» о видах на погоду. Профессор Визе с Северной Земли благодарил по радио погодчиков «Малыгина» за верные прогнозы, не раз помогавшие в трудные минуты плавания по неизведанному краю.

К полудню в каюте синоптиков-погодчиков столбики цифр разнесены по немой карте. Около полутора тысяч пунктов сообщили свою погоду, и нужно обладать большой памятью, иметь большую практику, набить руку и наметать глаз, чтобы верно раскидать значки погоды по немой карте.

Стрелки от кружков-городов покажут направление ветра, перышки — силу его, около кружков выставятся цифры температуры, степень зачернения кружка покажет количество облаков, две точки у кружка обозначат дожди, а звездочка — снегопад.

Сегодня Норвегия и Финляндия омываются северными ветрами,— значит, завтра там можно ожидать похолодание. Северные ветры сделают быстро свое дело: на своих могучих крыльях они принесут холод. Вот прогноз синоптика. Он следит за ходом ветров по карте, чертит кривые, замыкает их, находит циклоны и предугадывает их дальнейший путь.

У синоптиков мира уже имеется большой опыт. Синоптики знают повадки циклона, так же как охотники выслеживают зверя у водопоя, к которому он обязательно придет. Циклоны стремятся с запада на восток, они любят проходить по воде, сторонясь берегов. Им просторнее, вольготнее мчаться ветрами по морской глади и не цеплять хребты материка. Если циклон движется на Норвегию, то синоптик заранее знает, что ветры изберут свой путь проливами.

Циклон не любит ни теплого, ни холодного воздуха и он проходит всегда между обеими струями, стараясь попасть в старую колею, которой шел предыдущий циклон. По проторенной дорожке и циклону ходить удобнее.

Легко синоптикам Парижа или Вены в тиши своих метеорологических кабинетов прослеживать ветры, разгадывать капризы погоды на ближайшие дни. К услугам этих синоптиков все станции мира. А вот в Карском море, где нет ни городов, ни сел, ни даже становищ, где считанные зимовки с радиостанциями,— здесь не проследишь, куда уходит ветер. А порой не слышно раций, нет метеосводок, и тогда синоптикам в Карском море приходится полагаться на свое метеочутье.

Метеочутьем, но без всякой синоптической подготовки, обладает и капитан «Малыгина» Чертков.

— Так вы говорите, какая завтра будет погода?— спрашивает он синоптиков.

— Мы еще не получили всех сведений и прогноза не делали.

— Так я вам сейчас скажу,— говорит Чертков.

Он медленно, не спеша подходит к окну кают-компании и с минуту всматривается в даль.

— Штиль с небольшим морозом,— можете проверить мои слова.

И назавтра действительно штилеет и морозит.

— Я за двенадцать часов всегда вам определю погоду. Дома, у себя в Архангельске, тоже предсказываю погоду, и люди верят, потому что ошибиться могу незначительно.

Старый капитан с легкой иронией смотрит за тем, как синоптики вычерчивают изобары на картах погоды. Чертков не консерватор: он охотно превозносит заслуги самолетов в полярном бассейне — и как разведчиков льда и как разведчиков промыслового зверя, но над погодчиками любит подтрунить и зовет их «ветродуями». Но за смешком старого капитана все же чувствуется, что сила — в руках предсказателей-синоптиков, смотрящих не в иллюминатор, но в карту, расчерченную изобарами.

Несомненно одно: наши синоптики в тяжелых условиях полярного плавания и при отсутствии систематических сведений, работу ведут блестяще, давая верные прогнозы, своей рукой отводя от лесовозов и льды и штормы, предупреждая корабли о коварных туманах, которые жаждут накрыть их своим косматым телом.

Основатель и покровитель полярного бюро погоды, начальник Карской экспедиции Евгенов может заслуженно гордиться своим детищем.

Первый медведь

Капитан Бурке ощупью подошел к отмелому берегу острова Шокальского. Красавец «Зверобой» стал на якорь в полутора милях от острова, и на фансботах стали перевозить груз зимовщиков к безлюдному берегу. Разборный дом сплотили по бревнам в плот и прибуксовали к тому месту, где безыменная река размыла себе вход в море. Решено было строить первый дом вблизи реки, чтобы легче жилось первым людям на острове Шокальского и не пришлось, как на Маре-Сале, таскать пресную воду за километр. «Зверобой» ушел, отсалютовав зимовщикам, а те, прощаясь, стреляли в воздух.

Это было ровно год назад.

Ушел «Зверобой», и трое, оставшись в одиночестве на острове, занялись спешным делом. Обошли берег, сложили в шатры раскиданный прибоем плавник, будто ружья в козлы.

Весь груз перетаскали в свеже-пахнувшую рубленой сосной избу. Это была первая изба на острове и первые люди на нем.

В тесной избе коротки были койки, дымила печь. В одном из бревен продолбили небольшую дыру — она служила форточкой, и в стужу полярной ночи ее затыкали тряпкой. В тесную избу, после поездки на собаках по тундре, нельзя было втащить обледенелые нарты, чтобы оттаять полозья, и приходилось скалывать лед на улице в сорокаградусные морозы.

Худой, обросший черной бородкой, зимовщик Василий Чернобородов был хозяином метеорологической будки, оставленной ему «Зверобоем», и ежедневно вел метеорологические наблюдения.

По острову расставили примитивные пасти, которые щемили тяжелыми комлями песцов, приходивших на приманки.

Двести шестьдесят четыре песца, сорок диких оленей, несколько моржей добыли зимовщики. Это был богатый промысел. Место зимовки капитан Бурке выбрал удачно.

Но медведи почти не заходили на Шокальский.

Охотник Кузнецов, тринадцать раз зимовавший за полярным кругом, каждый день ходил проверять пасти, не запустил ли их зверь, не попался ли песец. Забыл однажды Кузнецов свои дымчатые очки, они предохраняли глаза от снежной слепоты. Собаки хорошо тянули нарты, и Кузнецову не хотелось возвращаться за очками.

«Дед мой, отец всегда без очков ходили и не слепли,— не пропаду и я»,— подумал промышленник.

— Пырь! Пырь!— крикнул Кузнецов, и собаки лавиной понеслись по блестевшему в полярной ночи снегу. Несколько раз он подтолкнул отстававших собак хореем, на конце которого был круглый набалдашник. А когда вернулся Кузнецов домой, распряг собак, очистил полозья нарт ото льда и поставил их к стене возле сеней, то и почувствовал, будто в глазах темнеет, и ощупью вошел в избу. Лег на печь и заснул в темном углу, куда не доходил свет лампы. Кузнецов ослеп от снежного блеска, от сияния льдов, торосившихся у берега унылого острова. Дня через три промышленник стал понемногу прозревать, но из дома не выходил; за него работали два товарища.

С утра мела пурга, а к полудню, когда стояли полярные сумерки, пурга стихла. На дворе вдруг залаяли голосисто собаки.

«Должно быть, песца поймали»,— подумал Кузнецов. Но собаки продолжали лаять у самой избы. Нащупал Кузнецов винтовку, щелкнул затвором и вышел тихонько из избы. Собаки между ног путаются у охот-

ника, а другие вперед забегают. Слышит Кузнецов, что близко зверь ходит, ворчит на собак.

— Эк тебя принесло рано, подождал бы ты, когда ко мне зрение вернется!— приговаривал Кузнецов, стреляя в зверя, которого не видел.

Собаки хватали медведя за лохматые штаны и заднюю мягкую часть, которую больше всего берег зверь.

Неповоротливый медведь не успевал отбивать нападения визгливых врагов, так их было много. Сначала, когда он шел к избе, его влекла новизна и разбирало любопытство: он никогда не видал жилого дома, незнакомый запах собак приятно щекотал черный пятачок медвежьего носа. И собаки никогда не видали медведя и внимательно следили за этим большим неуклюжим зверем. Медведь долго смотрел на собак, а собаки на медведя, и потом неожиданно залаяли.

Из тундры к избе подходил другой зимовщик. Он видел, как зверь, пряча зад от укусов собак, присел и раскидывал собак в стороны; одну, самую назойливую, так хватил лапой, что она легла возле и не поднималась более; у другой оторвал ухо, но остальные не унимались, а при виде крови становились злее.

Сел медведь и сидит, собак отгоняет. Подошел к нему полуослепший Кузнецов и выстрелил почти в упор. Повалился зверь замертво на снег.

— Ты у меня выстрел отнял,— сказал Кузнецову подошедший зимовщик.— Только было я нацелился и хотел нажать курок, вижу, ты, рыжий, возле медведя. Ну, думаю, Кузнецов рукой медведя нащупал, а потом и стреляет.

Собакам бросили внутренность медведя, и они, рыча, перемазавшись в крови, жадно рвали на части желудок и кишки зверя. Уже несколько месяцев ни люди, ни собаки не ели свежего, вкусного мяса. Не прошло и получаса, как от огромного медведя была отделена мохнатая шуба и мясо убрано подальше от собак.

Огни северного сияния, вспыхнувшие несколько раз, поблекли, и зарядами налетела пурга. Завтра с утра зимовщикам нужно было уже раскапывать свою избушку из-под сугробов снега.

Ждут «Зверобоя»

«Зверобой» уходил в свой последний рейс из Архангельска к устью Пясины. Там, в Пясине, должен быть богатейший промысел рыбы и зверя. Бегичев, некогда зимовавший в Пясине, находил там много мамонтовой, хорошо сохранившейся, не из'еденной временем кости. Зимовщики делали из этой древней кости себе мундштуки и трубки. Стальные сверла едва брали эту необычайно твердую кость доисторического зверя. Кости скупал Госторг и отправлял за границу. И зверя пушного много было в Пясине.

У зимовщиков Шокальского было на исходе продовольствие, и «Зверобой» должен был снабдить их до конца лета консервами и солониной и, кроме того, для будущей зимовки оставить на год продовольствия и спецодежды.

Красавец «Зверобой» уходил с острова Шокальского ненадолго в Пясину, где нужно было найти фарватер этой, неизвестной еще человеку реки и затем вернуться на Шокальский и дать смену зимовщикам.

Ушел «Зверобой», и смена не приходила долго. Десять дней оставалось до октября, а на горизонте не было видно ни трубы, ни дыма парохода. Люди на голом острове не знали о том, что «Зверобой» («Браганца»), смело ходивший в полярные льды на северо-восток от Шпицбергена искать

Нобиле, теперь беспомощно лежит на борту в Пясинском заливе. Волна бьет «Зверобоя» о камни, и он стонет словно живой, но смертельно раненный воин, воин севера.

Синоптики ледокола «Малыгин» предсказали на девятнадцатое сентября в районе Шокальского «переход ветров на юго-восточную и восточную четверть с последующим усилением до свежих и сильных (пять-шесть баллов). Постепенное увеличение облачности до пасмурности, осадка (дождь или мокрый снег), ухудшение видимости. Небольшое повышение температуры (от нуля до плюс двух градусов)».

— Эти ветры нам не страшны, время осеннее неустойчивое. В районе же Шокальского нам опасны лишь норд-весты,— сказал Евгенов.

И ледокол «Малыгин» пошел к Шокальскому, он заменил «Зверобоя».

На «Малыгине» находились три зимовщика,— это была смена шокальским промышленникам. Они только отзимовали на Пясине и были свидетелями гибели парохода, который доставил их в это не обжитое человеком место.

Синоптики дали верное предсказание. «Малыгин» скрипел, стонал на волне. Соленые воды стучали в борты ледокола, словно паровой молот, тяжело и глухо. Механики обошли по обоим бортам корабля и наглухо закрыли иллюминаторы, в которые било море. «Малыгин» падал стремительно на правый борт и, вздрагивая, переваливался неожиданно на левый, принимая воду на спардек.

В буфете со звоном рассыпалась по полу чайная посуда, и люди, держась за поручни и стены, ходили, пошатываясь, и говорили о том, кто уже отдал дань морю и кто собирается травить. Многие, заметно побледнев, уходили к себе в каюты и, как пласт, заваливались на койки.

Летчик Иванов запрашивал ледокол о погоде, но, не дождавшись ответа, дал радио о том, что вылетел по направлению к Гыдояме. Там были оставлены три плотника на летние работы, и самолет должен был их снять на Диксон. В разбушевавшемся море кидало ледокол «Малыгин», сильные ветры бросали самолет над морем, которое низко было закрыто облаками. Трое на острове Шокальского и трое в Гыдояме ждали «Зверобоя».

Люди атакуют Север

Ледокол «Малыгин» отдал якорь милях в двух от острова Шокальского. На старых картах этот остров назывался Агнессой. Судно «Агнесса», открывшее остров, дало ему свое наименование.

Морскую воду, омывавшую остров, мутили грязные обские воды. Могучая Обь столько воды отдавала Карскому морю, что даже у Шокальского она была еще почти пресная.

На Диксоне камни громоздились холмами, в ложбинах белыми полосами залегал никогда не таявший снег, возле рации ютилось несколько строений. Остров Шокальского распростерся над морем ровной и тонкой полосой, и на этом длинном острове был всего один дом, первый дом в этом пустынном месте.

— В Пясине куда лучше было,— говорили пясинские зимовщики, которых доставил сюда ледокол на смену шокальцам.— Здесь на острове охотнику спрятаться не за что. Ни холмика, ни бугорка — ровно, как на ладони. Начнет пурга валить — до дома не доберешься, опознаваться не по чему будет,— говорил старый зимовщик.

Осень, ранняя полярная осень уже давала о себе знать. С утра моросил дождь и набегал туман, то закрывая, то открывая этот печальный кусок земли, облюбованный песцами и оленями. И целый день, не переставая

и не изменяя своего направления, дул сильный ветер, поднимая мутную, рыжую волну. Не кричали чайки у ледокола, не вставал из воды зверь. Как только показалась черная труба ледокола с красным обводом, будто колечком у самого верха трубы, люди заметили его с берега и спустились навстречу в фансботе. Целыми неделями они говорили об одном: о пароходе, который должен был доставить их к родным очагам. Словно дети, радовались зимовщики пароходу, с которым было связано столько мыслей, надежд и мечтаний. Но волной сносило шлюпку зимовщиков в сторону.

— Им не выгрести в такую погоду,— сказал пясинский зимовщик.— Смотрите, они приветствуют ледокол. Стреляют! Второй выстрел! Третий! Четвертый! Пятый!

Выстрелов не было слышно, их удары относил шумливый ветер, но отлично виднелось каждый раз облачко дыма у винтовки, когда промышленник стрелял в воздух.

— Это приветствие промышленника. Здесь принято так приветствовать стрельбою судно. Когда «Зверобой» в начале навигации приходил сюда и зимовщики впервые за год увидали судно — такую стрельбу подняли, будто на фронте. Как малые дети, радовались.

Так говорил промышленник, обрекший себя на зимовки.

«Копейка», так звали собаку, числившуюся в инвентарном списке ледокола «Малыгин», стояла на палубе и тянула воздух, упиваясь им, как девушка розой. Третий штурман закрыл ей морду своею шапкой; тогда «Копейка» оттолкнула ее лапой и продолжала впивать в себя воздух, который шел с далекого берега. Сильный ветер гнал сюда на ледокол раздражающе-знакомые «Копейке» запахи. Более десяти собак находилось на острове Шокальского, и это почуяла «Копейка»: она тоже томилась в одиночестве на большом корабле, где у нее не было ни четвероногих друзей, ни врагов. Ей хотелось скорее на берег, увидать своих сородичей, порассказать им последние новости о том, как ей было хорошо на «Малыгине». Как повар баловал ее, бросая ей большие кости, как сладки были оленьи и медвежьи потроха. Собаки с острова Шокальского ей рассказали бы о долгой полярной ночи, о том, как тяжело было без привычки ходить в упряжке.

Из-за волнения в море нельзя было сгружать зимовщиков на берег. Уже два дня стоял ледокол на якоре, и погодчики не предсказывали штиля. На верных картах погоды, составлявшихся синоптиками, возникали, упорствовали циклоны. Осенние штормовые погоды — вот что сулили предсказатели ветров, талантливые синоптики Синягин и Вительс.

Низко над морем висели хмурые облака, сквозь дымку тумана едва различался мертвый остров Шокальского.

По рыжей воде пенились от ветра беляки.

Воздушный корабль «Комсеверпуть 2» не давал о себе знать, и люди на ледоколе стали тревожиться за судьбу его отчаянного экипажа.

Первый пилот Иванов,— «батя», как звал его экипаж,— был старый морской летчик, впервые летавший на севере, но уже влюбленный в него. Иванов не знал непогоды и летал, несмотря на свои полвека, в туман и ветры, над льдами, над сушей, над бушующим морем, шумящей тайгой и отвесными скалами безлюдных островов.

Вторым пилотом шел Страубе, спасавший с Чухновским экспедицию Нобиле. Улыбка не сходила с резко очерченного молодого лица пилота. Его смех всегда оживлял и кают-компанию ледокола и неуютные комнаты рации Диксона, где квартировала летная часть.

Летчик-наблюдатель Вердеревский, ходивший в прошлом году на «Зверобое» до самого Миддендорфа, был военным моряком, радистом, летчиком,

навигатором и владел пером. Вместе с Ларисой Рейснер он был на Волге, когда по военному приказу ее нужно было сделать честной советской рекой.

Борт-механиком шел Побежимов. Орден Красного знамени, прикрепленный к его синему кителю, говорил о героическом полете на остров Врангеля в туман и непогоду.

Евгенов запрашивал Диксон о «Комсеверпути 2», но не получал ответа. Никто не знал о том, где сейчас самолет и что сталось с экипажем в эту жестокую погоду.

А летчик Иванов со своим экипажем шел бреющим полетом над сам водой разбушевавшегося Карского моря.

Над самолетом низко бежали облака, а под ним, словно пиво, пенились лазурные воды моря.

Люди в Гыдояме не видали никогда такую огромную птицу, которая шумела сильнее ревущего моря. Им предложили сесть в самолет для того, чтобы увидеть скорее родную землю и близких людей. Плотники, захватив свои сундучки, ранним утром, как в сказке — на ковре-самолете, понеслись над облаками к острову Диксон. Туда должно было подойти судно и забрать людей на большую землю.

Воздушный корабль, как и морской, шел в тумане по компасу. Каждый час полтораста километров пролетал самолет. Пять летных часов находился в воздухе его экипаж.

Но вот открылась бухта Диксона. Здесь дули слабые ветры и слегка морозило.

У плотников с непривычки заложило уши от рева мотора самолета, и целый день они не слышали друг друга.

Это был первый пассажирский рейс над Карским морем.

Начальник Карской Евгенов, получив радио о прилете «Комсеверпути 2» на Диксон, поздравил летную часть с новым успехом на необжитом Севере Союза.

Остров безмолвия

Погодчики «Малыгина» предсказывали приближение норд-вестов. Северные ветры поднимали большую волну на море, и нельзя было подойти на шлюпке к острову Шокальского. Несколько раз мотор буксировал к берегу фансбот, на котором был груз зимовщиков.

Трое, прожившие год в Пясине, решили зимовать в этом году на Шокальском.

— А семьи как же?

— Мы их обеспечиваем своим промыслом.

— И они не против такой разлуки?

— Может быть, и недовольны, да мы об этом не знаем. Письма сюда не доходят. В навигацию получили радио: «Живы, здоровы, письмом подробно», а писем так и не читали. Где они гуляют, не знаем.

Мотор шел полным ходом по волнам моря к острову Шокальского. Все время захлесты били в лицо солеными брызгами. И ветер забирался под дождевик. Услышав стук мотора и почуяв людей, собаки забегали на острове около избы, оглашая воздух глухим лаем.

Отмель не позволила подойти к берегу, моторный катер чертил килем по грунту, и все время приходилось давать обратные ходы. Мы не могли найти фарватер. Из избы вышел человек и рукой стал показывать, куда нам итти с мотором.

— Давайте шлюпку! — зычно возгласил Евгенов.

Мы оставили мотор на якоре, пересели в шлюпку и через несколько минут были на песчаном берегу низкого и ровного острова.

Все собаки острова, которые не знали дней и бегали всегда на свободе, дружелюбно и звонко приветствовали нас.

— Они злы бывают только в упряжке. Если с хода собака налетит на человека, обязательно схватит, лучше не попадайся,— говорил зимовщик Кузнецов, первый житель этого острова.

Кузнецов за время зимовки смастерил маленькую четырехколесную телегу и приучил собак ходить в упряжке веером, погоняя длинным шестом-хореем. Прежде чем поехать в тундру, он подзывал к себе вожака, тот послушно подходил к зимовщику и вытягивал вперед свою шею, подставляя ее под лямку. За вожаком Кузнецов называл по имени остальных собак, и все подходили так же послушно, как ученые лошади к знаменитому Труцци.

Кузнецов выдрессировал за год дюжину собак и напромышлял с двумя товарищами более двух с половиной сотен песцов, несколько медведей и оленей.

— Слышу я, собаки мои залаяли, вышел я из избы, а медведь идет прямо на избу. Сбегал я за винтовкой. Собаки мои непривычные, их в Архангельске собирали. Были и хорошие, но больше все из разного сброда. Но за год одичали они и будто лучше стали. А еще забегáли сюда к избе бешеные песцы, покусали некоторых собак — пришлось расстрелять. Хорошо, что в малицах сами ходили. И на хозяина один раз собака бросилась, да оленьи шкуры защитили нас, а то бы смерть от бешенства. Прививок здесь никто не сделает. От железной дороги тысячи две километров будет. С чего они, песцы, бесятся — не знаю, но вред приносят нам, зимовщикам, большой. Собака — нам и друг и помощник. Ни один добрый конь того не сделает на этом острове, что вот эта собака,— сказал зимовщик, показывая на вожака.— А все вместе они полтораста-двести кило увезут, и меня в придачу. И бегать будут целый день. Километров пятьдесят отмахают, тогда остановишься, покормишь их, а то и все сто прогонишь, они ведь ничего не говорят, поспят немного и опять готовы бежать.

Кузнецов лихо ездил на своей упряжке, подталкивая иногда шестом-хореем отстававших собак.

Страшно было за человека — так летела, подпрыгивая по застругам тундры, тележка, на которой сидел кучер. В Парке культуры и отдыха он целыми днями катал бы детей и жил бы безбедно, а здесь, на этом унылом острове, над которым не кричали чайки, а моросил мокрый снег, то закрываясь туманом, то раздергивая его, Кузнецов работал шестнадцать часов в сутки.

— Сбегал я за винтовкой в избу, выстрелил в медведя, попал ему в левую лопатку, место это не убойное,— говорил зимовщик.— Завертелся зверь от боли, а тут моя собака одна наперед всех вылезла. Как хватит ее медведь лапой, так и разорвал, как бумажную. Дал я ему еще одну пулю, он бросился бежать и прямо к морю. Собаки мои — за ним. Он вплавь, и собаки поплыли. Медведь плывет, и собаки плывут. Вот звери! Кричу им: ля! ля! Значит — стоп! А они знай себе плывут за зверем. Я скорей в шлюпку. Догнал медведя, застрелил, прибуксировал к берегу. Собаки вернулись, из сил повыбились, думал, что некоторые пойдут ко дну,— нет, все добрались,— рассказывал Кузнецов.

Зимовщик был оживлен. Его рыжая борода, отпущенная за зиму, тряслась при разговоре, а голубые глаза горели огнем. Он давно не видал сразу много людей, и ему хотелось говорить со всеми сразу и без умолку. Он радовался, он был возбужден еще и потому, что завтра переходил на

«Малыгина». Ледокол должен был доставить его в Архангельск, оттуда недалеко и до Шенкурска, до близких ему людей, до его родины.

— Я девять зим зимовал раньше на Новой Земле безвыездно, а всего тринадцать раз уже зимую,— рассказывал зимовщик.— Первое время наши, русские, не знают, как с собакой обращаться, кричат ей: тпру! н-но!— она прет куда хочет. Потом научились по-ненецки (самоедски) кричать: вместо н-но — «пырь!», вместо тпру — «ля!» А вот пясинские теперь остаются здесь зимовать, придется им переучиваться, они там командовали по-юрацки: вместо н-но — «усь!», вместо тпру — «тобо!»

— Ты им скомандуй «пырь», возьми в руки хорей,— побегут, как волки, куда хочешь: в воду, так в воду; живо меня с тележкой перекинут через речку, не остановить,— радостно рассказывал Кузнецов.

— Веселый человек, с таким на зимовке не скучно, не зацынжаешь!— говорил пясинец, остававшийся вместо него в избе на целый год.

Кругом около жилья валялись пустые банки из-под консервов, кости, обручи, плавник и всякий хлам. В избе было дымно и тесно.

— Койки нам по росту не выходят. Видите, какие мы подобрались все высокие. Придется переделывать,— говорил оставшийся зимовщик.— Но первое дело у нас — груз перенести подальше от берега, чтобы не подмочило прибоем, а потом скорее собирать плавник. Через несколько дней пойдет снегопад, засыплет плавник, не достать его, не увидать под снегом, и останешься здесь без дров, без тепла, на этом диком острове.

— Был я в избе Ломакина в бухте Полынья, где сидит на камнях «Житков»: там настоящий свинятник. Неужели и у вас будет так же? — спросил один из малыгинцев.

— У нас этого не было и не будет,— решительно заявил зимовщик-пясинец.— У нас по неделям дежурство. И дежурный следит за порядком, готовит обед, избу подметает и все по дому делает. Если с промысла пришел поздно, все равно дежурный тебя накормит, напоит и за тобой ухаживает.

Зимовщики называли друг друга уменьшительными именами, хотя каждый из них не был моложе тридцати пяти лет.

— Еще две зимы проживем в этих краях — и будет, — говорил один из них.

Мотор покидал остров Шокальского. Зимовщики стояли на берегу, махая шапками, визгливо лаяли собаки, мокрый снег слеплял глаза.

С нами уходил первый житель острова, Кузнецов; там, на берегу, оставались другие люди.

Туман закрывал берег, который был безмолвен, как рыба.

На острове безмолвия люди остались затем, чтобы набить за зимовку побольше пушнины и сдать ее государству.

Далеко за белыми гребнями волн, в дымке тумана, стоял «Малыгин». Это был последний пароход, который видели зимовщики в этом году.

Только через год, если позволят льды, сюда придет судно и сменит оставшихся зимовщиков. Через год люди часто будут выходить из избы, прислушиваться к стонам моря, засматривать вдаль, не покажется ли где дымок парохода, не идет ли желанная смена.

Исчез самолет

Синоптики ледокола предсказывали плохую погоду. Нужно было торопиться с уходом от острова Шокальского, не защищенного от северных ветров, которые ополчались на материк. «Малыгина», стоявшего на якоре,

уже изрядно покачивало, и когда его машины дали ход, ледокол сразу заковылял по водяным ухабам. Океанская волна, которая шла сюда, быть может, за сотни миль, отделялась огромной бездной, зеленым провалом, от другой, бежавшей вслед за нею, с белым искристым гребнем. Ледокол стремительно падал в эти водяные ухабы и выскакивал из них словно мячик, ударившись об пол. Волны перекатывались через спардек, стучали в окна-иллюминаторы, били в борт корабля, захлестывали верхний мостик. Никого, кроме вахтенного, не было на верхней палубе. Звенела и дребезжала в буфете посуда, по каютам, словно живые, бегали чемоданы, мыльницы, зубные щетки. Терялось представление о том, где пол и потолок,— так опрокидывало ледокол. Это был только восьмибалльный шторм, и до полноты картины не хватало еще четырех баллов. Все ванты, взбегавшие к верхушкам мачт, поручни, вся палуба «Малыгина» обледенели, и ледокол был похож на сказочного героя полярных стран, на судно дедушки-мороза студеного Карского моря.

На острове Шокальского остались три человека, три зимовщика. До следующего парохода они не увидят больше людей, не получат вестей с большой земли. А следующий пароход придет через год, для того чтобы доставить сюда смену зимовщиков, продовольствие и патроны.

Банка в Югорском Шаре, которую неожиданно открыл «Малыгин», сделала его слегка аварийным судном. Вот почему командование щадило ледокол. С полсуток его бросало по волнам моря, и будто затем, чтоб отдохнуть, набрать силы для новых схваток со штормом, он лег в дрейф, держась против волны. Сразу уменьшилась качка, и размахи ее стали мерными.

Самолет Чухновского «Комсеверпуть 1», закончив свою разведывательную работу в Карском море, вылетел 24 сентября в одиннадцать часов по московскому времени в Игарку, направляясь в Красноярск. Так сообщало радио, в котором Чухновский посылал привет ледоколам-соратникам по овладению и освоению далекого Севера Советов.

От Диксона до Игарки шесть часов полета, но прошло двенадцать, и никаких сообщений о самолете ниоткуда не поступало.

Чухновский должен был пролететь над рацией Усть-порт и сбросить там посылку. Начрации Усть-порта был об этом предупрежден и ждал самолет, прислушиваясь к эфиру, не послышится ли работа радиостанции самолета или гулкий шум его моторов.

Но воздушный корабль не показывался над Усть-портом, не садился в Игарке, не возвращался на Диксон. Двое суток прошло с того момента, как, вырвав из воды лодку самолета, Чухновский взмыл в небо, взяв курс на юг Енисейского залива.

— Я думаю, ничего опасного не случилось,— говорил начальник Карской Евгенов.— Чухновский слишком осторожный летчик, чтобы нам предполагать о чем-либо скверном. Туман или снегопад заставили его временно снизиться и выжидать погоду. Если положение до завтра не выяснится, мы пошлем самолет «Комсеверпуть 2» на поиски экипажа Чухновского.

Но Иванов, командир самолета, стоявшего на якоре в Диксоне, сам сообщил о том, что считает начало поисков неотложным и с утра летит из Диксона искать Чухновского.

На рассвете Евгенов разбудил синоптиков и гидролога. Одного из синоптиков усадил за карту погоды, предложив дать ее ближайшее предсказание, другого послал делать метеорологические наблюдения, а гидролога — исследовать морскую воду, ее соленость, ее температуру, определить запасы ее тепла. Это был научный аврал.

— До глубины двенадцать метров температуры шли положительные, а ниже были отрицательные. Все обстоит сравнительно благополучно, и в ближайшие дни не предвидится замерзания,— так говорил молодой гидролог Алексеев.

Летчику Иванову нужно было дать несколько часов хорошей погоды для полета. Но не таков был летчик Иванов, чтоб выжидать погоду. Когда ледокол «Малыгин» гремел уже якорной цепью в бухте Диксона и с борта спускали моторный катер, самолет, сделав большой разбег, взвился в воздух.

Иванов, Страубе, Вердеревский и Побежимов ушли искать первого летчика Карского моря, первого, кто рискнул бороздить его коварное, изменчивое небо на самолете.

Черные скалы Диксона в несколько дней закрылись ослепительным голубевшим снегом. Диксон сразу принял зимний вид, только бухта еще не замерзла, но воды ее резвились уже последние, считанные дни. Температура воды падала с каждым днем, и скоро острова и островки бухты должны были соединиться надежным и крепким ледяным мостом.

Из-за туч, неожиданно набежавших, скупо и низко светило солнце. Промышленники из артели Буторина гребли на маленьких лодочках к ледоколу, который должен был доставить их в Архангельск.

Пять томительных часов ожидания — и вот низко над морем показался самолет. Он сел близко к берегу, у которого стояла рация, и подрулил в тихую бухточку, свое излюбленное место стоянки.

«Комсеверпуть 2» при сильном боковом ветре оставлял воды Диксона, взяв курс на Гольчиху.

У фактории Гольчихи к снизившемуся самолету набежали ненцы и, на расспросы летчиков, оживленно рассказывали о том, что видели такой же самолет, и он летел на юг.

— Во сколько часов?— спросил Вердеревский.

Ненцы молчали. Они не вели счет времени.

— Утром?— спросил еще раз летчик, видя, что его не понимают.

— Утром.

— Рано утром?

— Рано утром.

Чухновский где-то сделал вынужденную посадку, затем снялся и теперь летит в Игарку,— так рассуждали летчики «Комсеверпути 2».

Одновременно с прилетом Иванова по воздуху пришла весть от самого Чухновского из Усть-порта.

«Снежная пурга, отсутствие видимости заставили сделать остановку в бухте Север близ Майрановского. Пытались, но безуспешно, вызывать по радио Диксон. Связи ни с кем наладить не удалось»,— сообщал Чухновский.

— Только мы вылетели из Диксона,— рассказывал Иванов,— как нам навстречу два снежных заряда. Мы их обошли. Летели низко, метров на сто от воды. Местами накрывал туман, и при посадке чуть коснулись грунта в Енисее у Гольчихи. Грунт мягкий — песок, и все сошло ол-райт!

— Хорошо то, что хорошо кончается,— сказал Евгенов, провожая летчиков, уходивших с ледокола на рацию Диксон.

Ветер крепчает

«Малыгин» пришел с Шокальского снова к острову Диксон, к тому месту, где уже несколько раз он гремел своим якорным канатом. Но это был уже не тот остров, который мы видели неделю назад. Его занесло сен-

тябрьским снегом, будто тамбовскую деревню в декабре месяце. Чуть виднелись верхушки крыш, и победно маячила высокая мачта рации Диксона.

В бухте едва рябила вода и слегка задувал ветерок.

Но к вечеру зюйд-ост усилился, закрепчал и погнал воду пенящимися беляками. Ледокол развернуло кормою к проливу.

— Не потравить ли немного канат? — спросил вахтенный штурман капитана Черткова.

— Потравите четыре смычки, спокойнее стоять будет,— набежит туман, ни черта не разглядишь,— сказал капитан.

Ветер натягивал неимоверно тяжелый канат якоря. Бывали случаи, когда ветер дрейфовал судно, и оно шло на берег гибнуть на камнях, волоча по дну дрейфующий якорь, который не мог совладать с ветром. Так было со шхуной «Житков» в бухте Полынья возле Диксона два года назад.

Чем больше выпускали якорный канат, тем тяжелее было ветру выпрямить его провес в воде, и судно уверенней стояло на якоре.

На спардеке ледокола ветер мешал вахтенному передвигаться. Синоптики, вооружившись анемометром, определяли силу ветра.

Маленький анемометр показал огромную силу ветра, дувшего со скоростью двадцати метров в секунду. Это был девятибалльный шторм, а при двенадцати на море бушевал уже ураган.

— В такую погоду только и слушать «СОС»,— говорил радист в радиорубке.— Сейчас ответственная вахта. У нас «Зверобоя» не сразу услыхали. Наши приняли его «СОС», которое репетовало судно «Ленгосторг». Ведь каждый радист, получив «СОС», должен немедленно об этом доложить капитану судна и на большой волне передавать его дальше, чтобы возможно больше людей оповестить об опасности, которая угрожает судну.

— Надо отдать левый якорь на полторы смычки,— спокойней будет,— сказал капитан Чертков вахтенному штурману.— Пускай включат на баке, чтобы можно было смотреть за якорными канатами,— добавил Чертков.

И вахтенный побежал за электриком.

Зажгли огни на баке, и старый капитан долго всматривался вниз, в воду, шумевшую своими накатами о борты ледокола.

— Ничего, хорошо! Теперь я вижу, как канаты работают,— сказал Чертков и пошел, чуть отваливаясь назад, в свою походную каюту, ту самую, в которой зимовал с семьей в Карском море капитан Рекстин, когда «Малыгин» был «Соловьем Будимировичем»

Неожиданно пошел снег зарядами и вмиг накрыл белым саваном спардек корабля.

Закончив погрузку дома в Усть-порту для зимовщиков Пясины, «Белуха» медленно продвигалась вперед к Диксону. В коварном фарватере могучего Енисея разбирались только лоцманы. Только лоцманы проводили корабль по устью Енисея. Но «Белухе» не дали лоцмана, его не было в Усть-порту — он ушел с кораблями Карской экспедиции, и «Белуха» села на мель.

Мощный буксир «Кооператор» должен был стащить «Белуху» с мели. Грунт был песчаный и неопасный, и ветром при полной воде «Белуху» сняло с мели. А теперь она продвигалась вперед по малоисследованному краю, по неточным картам, в пургу и в девятибалльный шторм.

Видимости на море не было никакой, и люди шли только по счислению, откладывая на карте пройденное судном расстояние, доверяясь показанию лага.

В радиорубке ледокола была получена телеграмма с «Белухи». Шхуна просила ее запеленговать, определить место ее нахождения.

На ледоколе зажгли яркие электролампы, и ослепительно замелькали вокруг огней хлопья снега, кружась возле мачты. Какие-то маленькие птицы прилетели на огонь и тоже кружились вместе с снежными хлопьями возле сильных огней ледокола. Волны ударяли шумно в борты ледокола, и в каютах скрипели уже простенки. Ветер крепчал, и синоптики обещали его усиление к утру

Когда рассвело, я спросил вахтенного о «Белухе».

— Ей теперь не опасно. Ветер переменился, он несет с берега, а кораблю страшен ветер, который может нанести судно на берег,— сказал вахтенный матрос.

«Белуха» шла в Пясину ставить дом для зимовщиков. Она выполняла задачу, не решенную погибшим «Зверобоем».

Род распадается

Руд. Бершадский

С тех пор как в детстве видел я иллюстрированное описание суворовского похода по Швейцарии, навсегда мальчишеское мое воображение осталось потрясено мостом в горах. Французские кирасиры в мохнатых меховых шапках расстреливали в упор русских, рвавшихся через два бревна, связанные темляком. Нелепо раскинувшийся на них молоденький офицер махал еще одной рукой, зовя за собой верных солдат, но другая уже мертво свисала в пропасть. Я прочитал по складам всего два, написанных под картинкой слова: «Чор-тов мост».

Как часто, бродя по нашим горам, язык помимо воли твердит по складам эти слова! Спокойным туристом вступаешь на пляшущие качели моста, но все мнится, что перехвачены они французским темляком и что суровые кирасиры вот-вот встретят тебя отрывистым свинцовым чертыханием.

Да здесь вот — разве не тот же чортов мост? На середине его копошится, стоя на четвереньках, какой-то мужчина в высокой меховой шапке. Он невозмутимо постукивает молотком по бревну и, видимо, не страдает от головокружения. Завидя нас, он вынимает гвозди изо рта, но один позабытый костыль продолжает торчать, сжатый зубами. Этот «кирасир» кричит: «Здравствуйте!» Костыль бешеным штопором, не переворачиваясь, исчезает в реке, «кирасир» инстинктивно наклоняется за ним (гвозди дороги), но так же инстинктивно выпрямляется и улыбается во все два ряда фербенксовских зубов. Между нами завязывается занятный разговор, во время которого мы стараемся переорать Чегем и эхо.

— Что ты там лазишь на карачках?.. А?.. Что ты потерял?..

— Дырку потерял...

— Какую дырку?..

(Эхо гудит: «ырку...»)

— Обыкновенную... В бревне...

Мы ничего не понимаем. Наш проводник Ибрагим растолковывает:

— Это водопровод. Открыл ледник свой кран — течет вода, закрыл — бревно сохнет.

Мы снова ничего не понимаем.

Ибрагим смеется играющими глазами.

— До чего непонятный народ!.. Правда, водопровод. Чтобы всегда на поле вода шла, от самого ледника желобы проложены. Если по берегу надо воду вести, мы жолобы в самой земле выкапываем, канавы вроде. Если же с берега на берег воду провести надо — мы сосны перекидываем. А сосна тоже выдолблена, она тоже желоб. Вот сосна подгнила,— он и полез планкой дырку забить. Поняли теперь?

«Кирасир» кончил прибивать дощечку и идет на берег. Здесь — крутой спуск, и для того чтобы падение воды было равномерно, жолобы-со-

сны вознесены на специальные подпорки, упирающиеся своими широко расставленными ногами прямо в огороды. Легкие эти виадуки всходят, как нам теперь уже известно, к самым ледникам.

«Француз» догнал нас и, вытерев руку, поочередно здоровается со всеми. Он проходит мимо полющих женщин, и губы его складываются в полупрезрительную, полунасмешливую («ну, что взять с них, дескать?») улыбку.

Однако я бы не сказал, что балансирование на сосне, с которой он не так давно спрыгнул, много легче или приятнее их пóлки. Полупрезрительная улыбка — это от веков, в течение которых любая работа, исполняемая женщиной, не принималась всерьез: «бабья работа». Этой улыбкой встречались и заунывные песни о бабьей доле, тоже, конечно, не мужчинами составлявшиеся. «Француз» идет рядом с Ибрагимом, рассказывающим ему какую-то последнюю эльтюбинскую сплетню. «Француз» судачит вполголоса, но отдельные слова его доносятся до идущих сзади остальных проводников и немедленно вызывают у них смех.

Один из них, не обращаясь ни к кому в частности, упоенно говорил:

— Первейший бабник во всей Балкарии. Только Ибрагим с ним может сравняться.— Он старается расправить скрюченные плечи.— Когда-то и я таким был. Ей-богу...

«Француз» прощается с Ибрагимом.

Он подходит, галантно перебирая набор пояса, к какой-то балкарке, сгорбившейся над полосой. Она, напрягаясь, разгибает спину и рукавом от самого плеча вытирает лицо. Затем по-мужицки, указательным пальцем, вытирает нос и смотрит на «француза» прямо и строго. (Она немолода, ей, наверное, лет сорок.) Перебирание пояска немедленно прекращается, руки тянутся по швам, пятки смыкаются, вдавливая землю. Он опускает глаза и тихо рапортует свою просьбу. Женщина отвечает коротко, вразумительно и сухо и снова наклоняется к гряде. Аудиенция окончена.

«Француз» полупрезрительно улыбается и, небрежно перебирая пояс, легко уходит в другую сторону. Он опять обрел силу голоса и, что-то вспомнив, кричит Ибрагиму это «что-то» голосом столь мощным, что председательница вздрагивает. «Француз» этого, к счастью, не замечает.

Выводы напрашиваются сами собой. Именно поэтому я их и опускаю. К чему, в самом деле, доказывать, что мужчина уже во многих случаях уравнен с женщиной в работе, в количестве работы — вернее (да, да, мужчина с женщиной, а не наоборот, потому что раньше в горском хозяйстве женщина трудилась неизмеримо больше, хотя все ее труды не засчитывались за таковые),— к чему это доказывать, когда это и так ясно? К чему доказывать, что теперь мужчина стал относиться к женщине с бóльшим уважением именно потому, что почувствовал изнуряющую нудность ежедневного темного труда и иногда даже вытягивается перед нею в струнку? Но к чему это доказывать. Поезжайте в Балкарию, и в вопиющей азиатчине труда как мужчины, так и женщины вы все же разглядите это, разглядите невооруженным глазом, если только он намеренно не застлан дымкой экзотики.

В Чегем врывается Булунгу. Где-то у вершин и турьих мест шпорит ледник реку, и вот — саженным аллюром врезается она в Чегем. Мыло скачет на вздувшихся ее боках, взмывается над хребтом растрепанная пена, и неумолчен конский топот по каменистому ложу. Взлетев пращей со дна, на край обрыва плюхнулось село. Дома примялись, крыши расплющились и превратились в одну шкуру, наглухо прикрывшую его.

На Булунгу действительно одна крыша. Она идет над всеми постройками села — над избами, над хлевами, над воротами, создавая полутемные туннели, через которые, только сойдя с лошади (чтобы не расшибить голову), попадешь во двор. Родовой быт спаял деревушку в крепость, куда не сумеет проникнуть чужак, не запутавшись в сотнях переходов, и где в течение нескольких мгновений все живое население окажется у любого тупика, если его таранит враг. Слепые стены выставлены наружу. Все окна смотрят во двор. Улицы насторожены и молчаливы.

Ибрагим ведет меня к своим родственникам. Чистая полутемная комната устлана и завешана коврами, сундуки поблескивают чищенной медью оковок, и оружие на стенах рядится в солнечные лучи, пробивающиеся сквозь щели двери. Здесь прохладно. Ибрагимова тетка подает миску айрана, тщательно вытерев пальцем края ее, и садится напротив. Я пью айран, и старуха причмокивает губами (для аппетита.) Когда я лезу за кошельком, Ибрагим боязливо смотрит на тетку и на ухо говорит мне:

— Не надо, она обидится.

Я чувствую неловкость, что ничем не могу отплатить за гостеприимство. Торопливо, но горячо пожимаю ей руку и, чуть не сваливши скамейку, выскакиваю на свет и пускаюсь вдогонку за нашими.

Начинает смеркаться, когда мы подходим к нарзанам.

Собственно говоря, так сказано в путеводителе: «Нарзаны». И не то, чтобы путеводитель врал: они действительно существуют. Но в том тупике, в который мы зашли, нарзаны являются самой малозаметной частью пейзажа. Крупнейший из них притаился в гроте, образованном несколькими валунами, каждый валун ростом с человека. Это — озерцо, вода в нем мелко пузырится, и если нагнуться — шибает в нос. Тоненькая струйка, текущая из него, раз'ела камни «ложа»: они покрыли красноватой ржавчиной и горьки на вкус: скот их лижет с явным удовольствием.

Неподалеку от источника валяется (пока без толку) долбленое бревно. Я говорю: «без толку» — потому, что сезон начинается позднее — в июле. Сейчас оно лежит перевернутым. Обтесанное, оно похоже на гроб, уготованный великанам. В этом гробу, однако, перебывала не одна сотня людей, восстановив свое здоровье именно здесь.

Гранитные сплошные скалы зажали котловину, старый сосновый лес плотно налип на них, оседающий туман застревает меж ветвей, и тихонько журчит нарзанная струйка. Костер еще не разведен, и в котловине ни звука, ни шороха. Мы идем в слишком раннее время года. Через месяц, в июле, сюда соберется до ста человек из Балкарии и Сванетии, пещеры будут заняты знахарями и «курортниками», на редком ровном местечке окажутся выстроенными легкие летние постройки. (Впрочем, легкие летние постройки отнюдь не деревянные. Стены их сложены из камня, а крыты они либо мхом, либо войлочными настилами.) За долбленными колодами вырастет очередь, и Гара-Ауз-Су превратится в заправский курорт, где больные излечиваются без врачей, без медикаментов и без санаторных книжек.

Но все это будет через месяц. А пока мы варим суп с перловой крупой на кипяченом нарзане. Какой деликатес!

Мы идем по вечному снегу. Глаз устал от белизны и от дальности гор. Словно плавают в небе вершины Сванетского хребта, далек и недоступен Тихтенген, а взгляд соскучился уже по тесноте, по темным крас-

кам, по черному лесу, по синеватой реке. И еще одно тянет нас к лесу: где лес, там и вода.

И вот, вот оно — ущелье.

Показалась черная стена, высоченная,— аж голову так не задерешь, чтобы верхушка стены была видна. До нее километров шесть, но это значит час, ну полтора, а там Сванетия, там Жабеш, постель, еда, рукомойник, чай... Горячий чай!.. Там можно будет закурить, развалившись на траве,— поднажми, братишечки.

Жмём.

Жмем час, полтора, и только часа через два достигаем стены. Нет леса — он померещился.

Гранит.

Но здесь начинается ледник. Мы знаем, что километра через два он развернется во всей мощи, и смело едим снег,— отопьемся. Минут через двадцать от снега начинает тошнить, и последние минуты перед тем, как мы наконец услыхали журчание ручейка, были самыми мучительными.

Ледник начинается так: снег плотнеет, из рыхлой перины превращается в прессованный наст. Видно, как наст разрезает тоненькое лезвие подводного ручейка, когда ручеек пробивается на поверхность.

Однако не этому ножу от безопасной бритвы разрубить толщу льда. Он прячется, ручеек, снова под наст, пока не вырывается потоком, решительным и быстрым. Правда, перед этим он разливается еще по каменным наносам, где размещение такое: внизу лед, на нем вода, в воде, покрывая ее всю,— камни. Но это же не поток, это просто разлившаяся лужа.

А поток, настоящий ледниковый поток, напружив землю моренами (они горбятся, как мускулы боксера), разрывает наконец стены ледника, и тогда встает перед удивленным человеком живой разрез наслоений, наглядное изображение строения его.

С ледником связано представление чистоты Снегурочки. Это ошибочно. Фирновые поля более беспросветно белы. А ледник,— вот его разрез: внизу темносиние глыбы многолетнего льда, затем сахарно-белый слой, присыпанный грязной крупной кухонной солью.

Мы перепрыгиваем с камня на камень по разлившемуся ручью, осторожно огибаем слоеные стены ледника, одолеваем утомительные морены. На протяжении всего ледника нам попадаются здоровенные, в два-три человеческих роста, камни, на вершины которых наложены один на другой небольшие булыжники. Эти булыжники наверху — вехи, и если какой-нибудь из них свалился — мы забираемся к нему, чтобы водрузить его на место.

Так само собой зарождается в нас то чувство, которое заставляет утопающего пловца все же вытаскивать за волосы тонущего рядом, то чувство, которое заставляет пригласить к своему костру в лесу любого заблудившегося человека. Это первородное чувство человеческой взаимопомощи.

Мы идем первыми. Вехи часто сбиты, и мы так же часто влезаем на глыбы, не ленясь, несмотря на усталость, чтобы восстановить их все до одной.

Перед нами вырос шиферный отвес. На нем лес. И из последних сил карабкаемся мы на него, обдирая в кровь ногти и предвкушая обильные запахи нескончаемого ужина.

В лесу прохладно, солнце уже идет к закату, и мы бежим. Налево — еще одна морена. За ней небольшой под'ем, и снова лес.

— Там-то уж наверное Жабеш, Ибрагим?

Ибрагим не спешит:

— Там.

Взбегаем на морену и... застываем. В проруби ущелья, уже совсем близко, появилась зелень лугов. Поток Твибера бьет мощной своей струей о берег этой луговины, тянущейся к Тетнульду. Так вот какой он, Тетнульд, лучшая из гор Сванетии, самая мягкая по формам своим, самая красочная по переливам солнца и облаков! А на зелени лугов, на черноте рощ — стройные сванские башни, столько раз виданные на картинах, что знаемы, казалось бы, наизусть, и все-таки поражающие лаконичностью стиля и сторожевой своей строгостью и молчаливостью. И народ им, наверное, подстать в этой незнакомой Сванетии, куда так трудно пробраться и куда так стоит итти.

Мы несемся, обалдевшие, вниз, вниз — к самым башням, к самой Сванетии. Юноша с сучковатым бодожком в руках сторонится, испуганно пряча единственное, видно, достояние свое — самодельную пастушескую флейту. На спине его мешок из недубленой шкуры теленка с вывороченной наверх шерстью. Приколотая к шапке ветка делает его доподлинным Робинзоном, а тяжелое кремневое ружье, которое он легко несет на весу, отнюдь не разрушает этого впечатления. Мы безоружны. Однако парнишка не проявляет никаких воинственных намерений. Он робко улыбается и с явной жалостью смотрит на взрослых людей, несущихся, как оглашенные, по таким тропкам, где даже тур не рискнет бегать. Но мы даже не отвечаем на улыбку его. Что до того, что отлетают в кусты каблуки и шлепают по ветру оторвавшиеся подметки? Ведь внизу Жабеш, внизу Сванетия!

Немного арифметики. Мы вышли в два часа ночи. Сейчас половина восьмого вечера. Значит семнадцать с половиной часов прошли мы без еды и привала. Мудрено ли, что мы так мчимся к Жабешу?

В восемь часов нам удается, счастливо одолев последний лесной спуск, через узкий мост перебраться на тот берег реки, в которую впадает Твибер. Эта река — верховья Ингура.

Темно. Со всех концов сбегаются массивные телята. Они надрываются от лая, задирая высоко вверх острые, волчьи морды. Все в порядке Раз выскочили псы, значит сейчас появится и хозяин.

Мы в селе.

Мы — в Сванетии.

Лингвисты с легкой руки одного из первых исследователей Сванетии, грузинского царевича Вахушты, утверждают, что слово «Сванетия» происходит от «Севане», что по-грузински — убежище. Отгородилась, дескать, от мира горами да ледниками и пребывает от века в законсервированном состоянии. Я не лингвист, и спорить мне поэтому трудно. Но если читатель извинит меня, то высказал бы я свое предположение: 1) судя по перевалам в нее, на которых регулярно завьюживает не одного путника; 2) судя по недоеданию, на которое было обречено население ее до самого последнего времени по нескольку месяцев в году; 3) судя по бешеным набегам на Сванетию со стороны князей Дадиани и Дадешкелиани,— происходит Сванетия не только от «Севане», но и от «Сванга», что по-индусски — злой дух, или от русского «саван», что подразумевает всегда, в том числе и в данных трех случаях, одно — смерть.

А что касается «Вольной», то хоть и ясно, откуда это прилагательное, но не менее оригинальное, чем мое (и не менее вздорное), толкование названия приводит К. А. Бороздин в своих «Закавказских воспоминаниях». Бороздин пишет:

«Сванетия, названная как бы в насмешку «вольной», по суровости климата, скудной производительности и доступности ее лишь в течение трех месяцев в году, когда проходы ее не бывают покрыты снегом, более всего страна невольная и безусловно зависит от своих соседей, могущих, если захотят, не давать из нее выхода населению ее...»

Каждый, конечно, толкует все на свете так, как ему выгоднее. И представитель царской России Бороздин, «добрый сосед» Сванетии, представлял дело таким образом, что соседи смогут сделать с ней все, что им захочется. Однако сваны не послушались этих «милых» уговоров, и хоть русские снесли с лица земли деревню Халде, а независимость сваны отстояли. Скрепя сердце, Бороздин продолжает. Он чернит их густым дегтем — даже происходят они от сброда преступников, видите ли. Но не будем развивать его мысли, а дадим снова слово этому лишенцу.

«Предание говорит, что на тех местах, где живут теперь 12 обществ вольной Сванетии, жили прежде вассалы князей Дадешкелианов[1]; но, возмутившись однажды, они убили своего владетеля, за что и были поголовно истреблены. Обезлюдив это место, Дадешкелианы назвали его вольным в смысле полного отсутствия в нем населения, которого они не пожелали вовсе допускать тут снова; но с течением времени в пустые горные трущобы набрались-таки опять свежие пришлецы — сброд беглецов и отверженцев со всего Кавказа...»

«Таки опять» это — бесподобно!

И даром, что это предание. «Предание это, при ближайшем знакомстве с бытом дикарей (sic! — *Р. Б.*) этого уголка не лишено вероятия», — меланхолически добавляет Бороздин. Еще бы! Ведь они, эти «дикари» и «преступные сыны», не только своих «владетелей» коллективно убивали, но и его светлость князя Гагарина кокнули. Как же тут не впасть в меланхолию...

А своего князя они убили действительно коллективно. Легенда говорит, что ушкульцы заманили к себе Пута Дадешкелиани, усадили за пиршественный стол, поставили тайком в одну из бойниц, глядевшую на пиршество, осадную винтовку, к спуску ее привязали длиннейшую веревку, и когда винтовка была соответственно направлена, вся деревня рванула конец.

Одежда Пута, правда, хранится в церкви как реликвия, но Дадешкелиани в Ушкул больше не совались.

Соваться в Ушкул и Мулах (общество, в которое входит и Жабеш) с недобрыми намерениями вообще не рекомендуется.

Когда горец называет человека храбрецом, то эта похвала, по-моему, говорит о храбрости не меньше, чем орден Красного Знамени. Но когда горец говорит о человеке: «лев», то это ни с чем несравнимо. А ушкульцев даже сами сваны называют «львами».

«Случалось, что князья покоряли себе все в Сванетии, за исключением Ушкуля, но Ушкуля никогда взять не могли...»

«По сванским сказаниям и песням, ушкульцы — это львы, непобедимые герои, гордость Сванетии и ее вольности».

Ближайшее к Ушкулу общество — Мулах. И если ушкульцы заслужили себе такую славу столетиями борьбы, то в наше недавнее время, во время гражданской войны, когда месяц надо засчитать не меньше чем за год, — мулахцы сравнялись с ушкульцами.

---

[1] Обратите внимание, как «добрый сосед» даже в таком пустяке, как склонение фамилии, и то русифицирует «иноземцев»: Дадешкелианы вместо Дадешкелиани.

Еще до советизации Грузии, в самом начале 1921 года они свергли меньшевиков и избрали большевистский ревком.

И когда, изменнически перебив на тропе из Мингрелии шедший в Сванетию красноармейский отряд, меньшевики повели организованную осаду Мулаха, девяносто мулахцев несколько месяцев противостояли семистам противников.

Средневековые башни сослужили хорошую службу большевикам. Голодающие, но все-таки не сдавшиеся мулахцы дождались советских частей, пробравшихся, как и мы, через Твибер.

Теперь в Мулахе стоят новые дома, без бойниц, с широкими окнами, но тень от башен падает и на них. Даже в 1925 году председатель Верхнесванетского исполкома мулахец Сильвестр Наверьяни отсиживался в этакой башне от своих кровников и политических врагов, тоже прикрывшихся кровничеством. Последние, между прочим, целятся старательней и попадают метче.

Кровничество идет на убыль. О классовом расслоении этого не скажешь — оно лишь начинается.

Псы, здоровые псы с мохнатой свалянной шерстью разрываются от лая так, что стекла, по-моему, должны дрожать. Впрочем, в башне стекол нет. Не поэтому ли никто не откликается на их голоса? Сгрудясь в карре, мы ощетинились альпенштоками. Неужель разбивать палатки?

Мы боимся послать кого-нибудь на поиски жилья, так как не уверены, что собаки оставят «полпреда» живыми. Кроме этого, мы не знаем языка. Начинаем кричать, кричать до тех пор, пока чья-то коренастая фигура не пробивается сквозь блокаду псов и не произносит нежнейшим тенором, как нам кажется: «Здравствуйте, здравствуйте».

Тут сразу начинают ныть кости, тяжелеет голова, и лишь одной мысли удается пробиться: спать, спать.

Однако что-то не все ладно с радушным сваном: кроме «здравствуйте», он произносит только «Леон», а что это «Леон» означает — никому неизвестно.

— Леон — исполком? — коверкая речь и делая ее поэтому более понятной (как мы думаем), спрашиваем его.

— Исполком, исполком,— радостно повторяет он.

— Айда к Леону!

Странная башня! Мы всходим на деревянную террасу, поддерживаемую устойчивыми столбами, двойные рамы окон со стеклами пропускают ровный свет большой керосиновой лампы, в огромной же комнате с чисто вымытым деревянным полом сидит сам Леон у письменного стола, крытого зеленым сукном. На столе мраморный письменный прибор. Симметрично развешены портреты Ленина, Охуджавы, Руставели. Под Руставели такие же, как под другими портретами, серп и молот. Леон делает записи в большой бухгалтерской книге с ведущими «Дебет» на одной странице и «Кредит» — на другой.

Но нет особого желания рассматривать все это подробно, хотя сванские дома мы и предполагали видеть другими. Память фиксирует словарь Даля, стоящий на подоконнике, и мы в изнеможении валимся спать, даже не притронувшись к еде.

Утром комната кажется еще более нарядной. Как-никак — это новый дом, обстановка внутри его чисто европейская, и здесь к месту и портреты Ленина, и Руставели, и словарь Даля. Даль, впрочем, не Леона, а его дочери или племянницы, которая учится в Тифлисе и приезжает в Жабеш

только на каникулы. Теперь ее еще нет, Леон русского не знает, и Даль пылится на подоконнике.

Обходим Жабеш. Террасу запрудили сваны, которые принесли плохо выпеченные лепешки и мацони и настойчиво требуют за лепешку сорок копеек, а за миску мацони — рубль. Мы уж согласны были платить по такой же цене, если бы не Ибрагим. Он прикрикнул на торгашей (цены, действительно, беснословные) и заговорил зло и гортанно:

— Если не угощаете уж, как мы, балкарцы, то хоть седьмую шкуру не дерите! Сколько стоит пара твоих яиц, пацанок? Тридцать копеек, говоришь? Да? А за всего себя с одёжой и с яйцами четвертак хочешь?

Продавцы начинают смеяться над мальчишкой. Ибрагим устанавливает таксу, и мы, таким образом, почти обеспечены обедом.

Теперь легче обходить Жабеш: мы знаем, что будем сыты.

Группа молодежи стоит на пригорке у Леонова дома. Они одеты в европейские брюки и юбки, в большом ходу майки, и если бы не сванские шляпы, то никак нельзя было бы сказать, что это горцы. Они ждут нас, чтобы взглянуть на первых москвичей в этом году и затем открыть свое комсомольское собрание. Поговорить с ними не удается, так как мы не знаем языка. Удается лишь установить, что все они учатся.

Пожилой сван нагоняет нас и вступает в разговор. Он служил в царской армии и говорит по-русски.

— Много у вас тут коммунистов?

— Где? В Жабеше?

— Да. В Жабеше.

— Много. Очень много. Весь Жабеш.

Он не шутит. Но не может же быть, чтобы он не знал, что̀ такое коммунист.

— Как так — весь Жабеш? Ты, наверно, ошибаешься, товарищ. Мы спрашиваем, сколько коммунистов, ком-му-ни-стов?

— Я и говорю: весь Жабеш! Мы все за советскую власть, все. У нас в Жабеше нет, который против советской власти. Когда в Сванетии меньшевики были, некоторые строили башни. Знаешь, сколько башням лет?

Он растопыривает пальцы на обеих руках (два из них отрублены).

— Вот сколько сотен башням. А в Жабеше никто не строил. Почему? Потому что коммунисты. Мы новые дома строили. Вот у Леона новый дом, а вот еще один строится.

Мы действительно приблизились к стройке. Уже воздвигнуты двухэтажные каменные стены, и четыре человека (среди них и женщина) возятся внутри, настилая пол. Окна широки, и даже торчат стропила для балкона.

— У нас все коммунисты, понял?

— Понять-то понял, а членов партии сколько?

— Членов партии человек пять.

Мы улыбаемся и двигаемся дальше.

В узеньких глубоких и стремительных руслах бегут к Мульхре ручьи. Над ними слепые бревенчатые избы, похожие на громадные ульи. Если бы не пробоина в одной из стен, через которую рвется вода, ни за что не понять, что это такое. Глухое урчанье жернова внутри избы говорит о том, что это мельница. В Жабеше их больше десятка. Брат нашего хозяина Леона, опершись на плетень и куря тоненькую трубчонку, набитую самосадом, рассказывает нам историю мельниц.

— Прежде мельницы принадлежали роду. Род их строил и чинил, род ими и пользовался. Род считался человек пятьдесят-шестьдесят. А теперь у

каждого своя семья. Семье строить мельницу не под силу. Вот видите,— брат Леона указывает на три мельницы,— это Леона. Взял, запер их в помол — молоть и негде. И земли он очень, очень много имеет. Когда свое перемелет — соседей пускает. У меня брат умный...

Собеседник затягивается.

— ...Шибко умный.

Так вот какова физиономия «исполком-Леона»... Распадается род, появляется частная собственность и, естественно, частный собственник; в данном случае Леон. Пользуясь не отжившими еще родственными чувствами, он уже жестоко эксплоатирует сосельчан, которые выгораживают его, ибо он все-таки старший в роду.

У Леона несколько мельниц, у Леона надел земли — на него, на сына, работающего в Москве, на не то дочь, не то племянницу, которая учится в Тифлисе, наконец у него просто неучтенная земля, которую сородичи обрабатывают за право пользования мельницей. Земля ведь здесь национализирована только на бумаге; например и по сю пору от кровной мести иногда откупаются и землей. И распадающийся род выделил кулака.

Леон обходит свой новый дом, поправляет ковер, висящий над кроватью, и, опираясь на палку, шествует на кухню. Кухня — отдельно от дома. Она помещается в громадном кубическом каменном здании, пристроенном когда-то к башне. Самой башни давно нет. Над очагом в трехведерном чугуне варится наш обед — баран. Леон не побрезгует поконсультировать варку его, чтобы бесплатно получить за это порцию шурпы «Копеечка рубль бережет». Он сидит в резном деревянном кресле у очага, мешает палкой шурпу и заодно разговаривает с приходящими к нему по делам жабешцами.

Правда, работать сегодня нельзя — воскресенье, но Леон ведь старается для гостей, а не для себя! Даже старики не качают укоризненно головой: для гостей все-таки можно.

Экзотика, говорите вы? Сванетская экзотика?

Ложь, дорогой читатель: буржуазное очковтирательство, которому цена известна наизусть.

Леон работает и в христианское воскресенье и в еврейскую субботу, вне зависимости от того, есть ли гости или нет их. Он все равно отыщет предлог. Все же сваны, кроме коммунистов и немногих других уже, в эти дни не работают.

Демаркационная линия ясна.

Работают коммунисты. Работает Леон. Коммунисты всех остальных работать зовут. Леон — отговаривает. Но трудно, чертовски трудно переделывать старые обычаи, когда сопротивляются устои.

На соседнем дворе свален несложный сельскохозяйственный инвентарь, типичный сванский инвентарь.

Перевернутым носорогом торчит плуг — ханцвиж. Примерно такой же описывал восемь столетий назад Руставели в «Барсовой коже». Это даже не соха: это бревно, в конце которого вбит кол — короткий толстый отточенный обрубок. Железо дорого, и окован лишь небольшой кусок обрубка. За палку, продетую, как через нос верблюда, через корму этого сооружения, держится и изо всех сил нажимает на нее один человек. Другой в поводу ведет вола. Итак, чтобы земля была еле-еле взрыхлена, нужны усилия двух человек.

Боронят способом не менее древним.

Обыкновенное дерево с несрубленными ветвями или даже связка хвороста «исполняют обязанности» бороны. Молотилка лежит здесь же: не-

сколько бревен, сколоченных в плот, в низ которого вбиты одинаковые примерно по величине камни. Весит такая молотилка много пудов. И опять же нужны два человека, чтобы управиться с нею.

После того как зерно обмолочено, его насыпают в долбленные колоды, по которым бежит вода из ручьев. Оседают на низ колоды песок, земля, камни, всплывает наверх и уходит дальше шелуха, зерно же выгребают руками. После этого оно сушится на широченных навесах возле дома. Пыль со двора жадно впитывается мокрым зерном, и тепла оно здесь получает столько же, сколько и грязи.

Примитивная мельница готовит муку, такую же грубую, как и все способы обработки зерна. Замешанное почти без соли, тесто распластывается на ровных шиферных плитах и печется прямо в огне. На зубах все время хрустят камни и песок, оставшиеся от сортировки, пыль, держащаяся с момента сушки зерна, зола и угольки, прилипшие в процессе выпечки. Мы предпочитаем, пока остались запасы, обходиться московскими сухарями.

Движемся в гору, к стоящей отдельно башне. Навстречу плетутся, жестоко выдирая камни из земли, массивные сани. Они едут не с гор, где лежит снег, нет, это вообще единственный известный Сванетии экипаж. Помню: зачитывался я в детском возрасте Станюковичем, зачитывался потому, что сказок не любил, а действительность у него получалась неизмеримо сказочней, чем сами сказки. И верил я его книгам беспрекословно. Но и то, когда наткнулся на описание того, как на острове Мадейра летом на санях ездят,— усомнился. Прямо скажу — решил, что Станюкович врет, хотя вслух это и не произнес: почтение к писателям тогда еще большое испытывал.

А теперь вот сам сани летом вижу. Не подумайте же обо мне того, что я в детстве подумал о Станюковиче.

Дорог в Сванетии почти никаких, передвигаться надо поистине с горы под гору, через пень-колоду. Колесо здесь никуда пока не годится: поедешь вверх — колымаге легче вниз соскользнуть, поедешь вниз — колеса, как бешеная лошадь, начнут задними ногами подбрасывать — того и гляди, как бы вперед дышла не удрали. И сани здесь пользуются законными своими правами. Пользуются настолько, что когда пробовали раз в Местии запрячь лошадей в телегу, кони испугались и понесли. Для того чтобы быть точным до конца, замечу, что зимой здесь сани опять-таки стоят без движения — они чересчур скользят по горам. Зимой ездят только верхом, в наиболее опасных местах слезая с животины и таща ее за хвост, чтобы не упала в пропасть.

Сани протарахтели с грохотом... И скрипом — добавите вы. Нет, без скрипа: железных частей в них нет — железо привозное и потому крайне дорого, деревянные же части пригнаны так плотно, что скрипа нет.

Итак, мы снова движемся вверх, к нашей цели — к сванетской башне, которую решили осмотреть. Как раз чинится одна из ее пристроек. Со дна Мульхры достают ил и мажут им стены. Стены держатся так прочно, будто они цементированы. Местный ил не проходил (насколько мне известно) ни через какие лаборатории, но высокие его качества как скрепляющего состава — вне сомнений.

Самоё башню чинить не приходится,— она стоит нивесть сколько и столько же простоит. Ею, впрочем, теперь и пользуются мало. Башня — не дом; это стержень «дыма». К ней налипло множество всяких пристроек, в которых обитают ее владельцы, сама же она и не приспособлена для жилья. Она — последний оплот, когда наседает враг, она — крепость,

вокруг которой поселок чувствует себя безопасней. Сама архитектура ее говорит об этом.

В башню попадаешь лишь из второго этажа. Узеньким закрытым деревянным балкончиком, лепящимся вокруг ее стены, проникаешь к крохотной толстенной двери с бойницей. На балкончик, между прочим, попасть тоже не так просто. Из пристройки приставлено к нему бревно с зарубками, которое в любой момент можно утащить в башню. В самой башне — три или четыре комнаты (по одной в каждом этаже). В углу комнаты — люк, к которому прислонено такое же бревно. Люки находятся в разных концах помещений, они не сквозные. Сделано это затем, чтобы тот, кто случайно упал в них, не разбился бы на-смерть. В стенах комнат — узкие бойницы. Крыша представляет собой гладкую площадку, защищенную высокими зубцами. Сама архитектура, таким образом, действительно говорит о назначении башни. Об этом же говорит и строительный материал. Несмотря на обилие леса, дерево в постройках употребляется редко — во избежание злонамеренных поджогов, с одной стороны, а с другой — во избежание неумышленных: когда поливаешь противника кипящей смолой, долго ли загореться дереву... Противник-то собственный, конечно, поливать его надо; но и дом собственный — сжигать его ведь не надо. Выход — в камне. Сваны и не знают, как строить деревянные дома.

Теперь башни запущены — в них свалены бараньи рога, вонючие недубленые шкуры и прочее барахло. Жизнь течет не в них. Жизнь — рядом, в пристройках.

Вот типичная — она-то и есть основное сванское жилище. Сквозь кромешную тьму и не менее кромешную грязь проникаем мы в нее. Тьма оттого, что вход — под настилом из дранок и шифера. Зимой здесь часто стоит мелкая скотина. Миновав это чистилище, вы попадаете в огромную — так, метров пятнадцать на пятнадцать — комнату, хлев ли, кухню ли — это мы разберем после. Привыкнув к полумраку,— свет пробивается только через бойницы да щели,— начинаешь различать обстановку. Сплошь вдоль стен тянутся резные, доходящие до потолка, деревянные стойла для всяческой скотины. Вдоль стойл — ясли. Над этим помещением — сеновал, и зимой, когда сюда загоняется скот, открывается люк с сеновала. Тогда сено без траты лишнего времени засыпается прямо в ясли. Животные чуть-чуть обогревают хозяев своим присутствием, да несколько тепла дает очаг. Он такой же, как в балкарской избе,— шиферные плиты, на которых разводится огонь,— но здесь нет даже той примитивной дыры в потолке, которая в Балкарии заменяет трубу. Да и ясно,— поскольку на чердаке сено, постольку нелепо было бы его поджигать. Дым уходит через щели и бойницы. То же неизменное единственное кресло для главы семейства, необ'ятный топорный, хоть и резной, комод, резная люлька для ребенка, несколько корыт, несколько одеял, немного железной и медной и порядочно деревянной посуды,— вот, пожалуй, и все убранство этого дома. В подвешенных на веревках клетках, вроде тех, в которых в России готовят сырную пасху, вялится творог. От дыма он покрывается толстой грязной коркой, несмотря на тряпочку, которой обернут, и прокисает. Приготовляемый на всю зиму, в начале ее он относительно мягок, но к лету превращается в опасные для жизни осколки гранитных пород. Вместе с кукурузными и пшеничными лепешками он составляет основную пищу свана. Хотя сейчас лето и в помещении скота нет, но настойчивая вонь так пропитала его, а сажа, покрывшая черным лаком стены, в таком черном свете демонстрировала нам все убранство, что нам поскорее захотелось выбраться на волю — к белизне Тетнульда, к пенистой Мульхре, к зелени трав и альпийских лугов.

Наш проводник (тот, который уверял, что в Жабеше все коммунисты) предлагает осмотреть еще одну пристройку к этой же башне.

— Но здесь,— говорит он,— живут по-новому. Это сын хозяев с женою. Вам, наверно, не так интересно.

Хозяин не понимает русского, но по переводе нашим «коммунистом» разговора на сванский гордо блеснул глазами и повел к сыну.

Вот это уж другое! Одной стеной послужила еще башня, другой — отцовское и скотское помещение, зато остальные две — из тесаных бревен. Просторное окно застеклено, на аккуратном деревянном столе (с ящиком,— это вам не обрубок стола!) сложены несколько книжек на грузинском языке, маленькая керосиновая лампа висит на специально вбитом для нее гвоздике, стол покрыт вышитой скатертью, а пол — чистыми половичками. Пока еще нет шкафа: пиджак, косоворотка и галифэ висят прямо над кроватью.

— Где сын учился? — спрашиваем мы хозяина.

Хозяин выставляет вперед ногу и подымает голову, скашивая на нас глаза сверху:

— В Кутаис!

Сейчас сын в горах — он выгнал стадо. Жену его — чисто одетую, широко улыбающуюся молодку — встретили мы на собрании ячейки комсомола. Она открывала собрание, когда мы уходили оттуда.

Мы интересуемся, чье стадо выгнал сын — собственное или общее.

— Общее,— об'ясняет проводник.— Они только живут отдельно, а хозяйство у них одно. Но нелады заели: отец хочет, чтобы сын обрабатывал землю, а сын все к скотине тянется.

Не так ли и вся Сванетия?

Отрезанная от всего, лежащего за ее пределами,— отрезанная настолько, что Бороздин мог написать (правда, ссылаясь на то, что ему-де «говорили»), будто «одно из обществ не имело с остальным миром иного способа сообщения, как по веревке, на конец которой привязывалась корзина, и в ней спускался человек на блоке»,— теснимая мингрельскими и нижнесванетскими феодалами, Сванетия неминуемо должна была заботиться о собственном хлебе. Вот почему с таким упорством расчищались наклонные полянки, на них чуть ли не со дна рек натаскивалась плодородная почва, и здесь, в ни к чорту не годных климатических условиях культивировались хлебные злаки. Поле с собою во время набега не угонишь, стадо угнать — много легче. И Сванетия до сих пор остается в основном страной земледельческой. Но Сванетия молодая, Сванетия не башен, а деревянных построек у башен, уже не боится перерезанных в революцию раз и навсегда Гардапхадзе и Дадешкелиани. Эта Сванетия — за использование альпийских лугов, за животноводство, за культивирование фруктовых деревьев. Короче — за доклад Яковлева на XVI партс'езде. Но взамен всего этого нужен хлеб. И эта Сванетия — за широкую колесную дорогу, которая удешевит провоз хлеба и даст возможность выдержать конкуренцию с молочными и животноводческими продуктами других областей, когда Сванетия сумеет столкнуться с ними на рынках сбыта. «Колесо истории» — не красное словцо. Наступление истории на Сванетию ведется колесом. И, конечно же, дедовские сани должны будут уступить, рассохнуться, рассыпаться, чтобы в последний раз полететь по склонам ветхими обломками в пропасть.

Тарахтящие сани с грохотом и старческим скрипом в'езжают во двор. Нам пора домой.

ЛИТЕРАТУРНЫЕ КРАЯ

Два романа о комсомоле

С. Канатчиков

Почти одновременно во второй половине тридцатого года в издательствах «ЗИФ» и «Молодая гвардия» появились два романа: М. Карпова — «Непокорный» и И. Наумова — «Первые комсомольцы».

С формальной стороны обе книжки страдают рядом существенных недостатков, особенно роман И. Наумова. Но последний и сам, повидимому, не претендует на высокую художественность своего произведения. Это явствует из того, что его книга так и названа «Роман-хроника». Но зато обе книги насыщены богатейшим бытовым материалом, пронизаны драматизмом, борьбой, движением. Это тоже, пожалуй, «бытовизм», «бытовизм» особого рода, в лучшем понимании этого слова. Это не бытовизм самодовольных мещан и брюзжащих обывателей, навевающий на читателя зеленую скуку, а «бытовизм» активистов, революционеров, борцов за дело освобождения трудящихся, их рост, борьба, страдания, их поражения и успехи в борьбе с окружающей средой.

Оба автора показывают нам комсомол, или, вернее, его передовую часть, авангард, в процессе его развития. Но один показывает городскую руководящую пролетарскую часть комсомола, а другой — деревенский комсомол.

Последнему посвящен роман Мих. Карпова «Непокорный». С него мы и начнем.

Автор переносит нас в глухую деревню, далеко отстоящую и от города и от станции железной дороги. Герой романа Степан Северцев, или Стенька, по школьному прозвищу — «Непокорный», года рождения 1905, с группой сверстников односельчан проводится автором через Февральскую, Октябрьскую революции, гражданскую войну, нэп и вплоть до наших дней. Своевольный, упрямый, выросший без присмотра, в горе и нужде, Стенька рано лишился отца, а затем матери, после того как она перенесла издевательства и зверские побои белогвардейцев. Наблюдательный, сметливый, он, как губка, с жадностью впитывает в себя явления окружающей жизни и со свойственной детскому возрасту непосредственностью по-своему бурно реагирует.

Втянутая в водоворот революции и гражданской войны, стонавшая под игом помещиков и кулаков деревня раскачивается, и в ней разгорается жестокая классовая война, которая на разных этапах революции принимает различные формы. А надо сознаться, Мих. Карпов хорошо знает быт деревни и умеет иногда показать ярко, образно различные ее слои.

С фронта «солдаты начали приходить»... «Сразу весело стало у Северцевых»... Миколька по избе ходит с выправкой, прищелкивая каблуками и явно хвастаясь офицерской шашкой и новеньким обмундированием. Мать не налюбуется на сына... «А дядя Михей пришел оборванным и едва не замерз. Ему оттирали снегом уши, руки и ноги. Как еще голову не простудил, — ведь в железной каске пришел! Но у дяди Михея вся грудь

в крестах и медалях. Дедушка Дементий долго удивлялся геройству своего сына и на радостях заставил баб самогонку гнать».

«Вздохнула деревня легко и радостно: война кончилась, работники пришли, весной земли барской прирежут. У кого были ссоры — примирились, и вся деревня, вплоть до масленицы, жила одной дружной семьей. Но в первые же дни великого поста солдаты стряхнули хмель». Стали они собираться «и что-то обсуждать».

«Отсюда и пошло несчастье, как говорили старики»...

Так рисует настроение деревни Мих. Карпов после Брестского мира, как бы лишний раз иллюстрируя, насколько глубоко знал и понимал деревню Ленин, когда вел ожесточенную борьбу за мир.

Партия большевиков в этот период, благодаря умелому руководству, завоевала наиболее передовую, энергичную часть деревни.

«Почти все солдаты об'явили себя большевиками, записались в партию и взяли деревню в оборот: хлеб лишний выгребли без стеснения, украденный барский лес отняли, контрибуцию содрали с богатых»... «Самогонку гнать запретили. Председатель Егор Дубяков, Марк Силищев, Степан Бойцов, Миколька Северцев, Лука Рогатов — и в других деревнях советы устанавливали и в волость своих большевиков выбрали, а для своего штаба отобрали у кулака Ваняши Шершенева лишний дом»...

А дальше пошло всё так же, как происходило в то время во всей нашей необ'ятной стране,— пришли сначала чехи, эсеры, потом белогвардейцы, ограбили, избили, перестреляли сначала большевиков и их семьи, а затем стали грабить и избивать, на кого доносили кулаки.

Вместе с политическими и хозяйственными устоями деревни в ней трещали и ниспровергались старые боги и колебалась стародедовская, крепостническая, патриархальная, моральная и религиозная надстройка. И этот процесс высвобождения от старых предрассудков, многие века затемнявших сознание многомиллионного крестьянства, неплохо сумел показать Мих. Карпов.

Поэтому мы не можем себе отказать в удовольствии привести здесь одну из очень живых сцен:

«...Приход фронтовика Назара Курбатова всполошил всю деревню. На сходке об'явил Назар выборы комитета. Его послушались, выбрали комитет.

— Эй, Назар, а ты какой партии?

— Я — большевистской партии. Я — супротив войны, а вы голосовали за социал-революционеров! Промахнулись, товарищи!

Стенька сидел в сторонке и не спускал глаз с Назара. У Назара — большие усы, и говорит он, как снопы накладывает,— плотно!

— Назар Егорыч, а бог у твоей партии есть? Скажи, родимый...— спросил бывший староста Гаврила Вершинин.

— Никакого бога нет,— все от природы, дядя Гаврила!

— А это что, родимый? — Гаврила указал на иконы.

— А это владимирская мазня, дядя Гаврила, доски!..»

Старый уклад деревни, ее некультурность, отсталость, неорганизованность, долгое время задерживавшие развитие ее, с исчезновением власти помещиков оказался беззащитным. Старая, патриархальная деревня оказалась бессильной сопротивляться напору новых идей, новых форм организации.

Дети, подрастающее поколение, ничем не отделенные, с младенческих лет не защищенные, при скученности и бедности, от всех пороков, всей грязи, матерщины и предрассудков старших, при напоре новых веяний жадно впитывали в себя все то новое, что приносили с собой с фронтов им-

периалистической войны, из плена, из промышленных городских центров солдаты.

Повидимому, этих последних имел в виду тов. Ленин, когда, вернувшись из эмиграции, в одной из своих речей, возражая социал-предателям, говорил:

«И вы думаете, что поднятые империалистической войной, пережившие ужасы войны многомиллионные массы вернувшихся домой все оставят по-старому и удовольствуются одной буржуазной республикой? Нет,— этому не бывать».

Вернувшись в свои разоренные гнезда, солдаты, естественно, не имели никакой склонности все оставить по-старому. В деревне закипела классовая борьба.

Само собой понятно, это еще Чернышевскому было известно, что революция — это не прогулка по Невскому проспекту. Наряду с освободительными идеями она, подобно взбушевавшемуся во время половодья потоку, много подымает со дна накопившейся за века угнетения всякой грязи и мути.

Поэтому нет ничего удивительного, когда благоразумный, степенный глубокий старик, дедушка Дементий Северцев, на радостях по случаю возвращения внука, произносит следующую тираду:

«— Вот, ребята, до чего дожили: сами винокурить научились! А я, лом те в спину, жил сто годов и не умел,— прямо страсть, как жалко!..

Стенька тоже по-своему воспринял свободу:

— Учись! — говорит он своему товарищу Митьке, подавая цыгарку.— Я теперича давно курю. Сперва греха боялся, а сейчас понял: греха нет и слобода. И отца у меня нет, прямо — любо-дорого, ей-богу...

Подражая взрослым, Стенька говорил с ленцой. Митька затянулся и задохнулся дымом, закашлялся.

— Эх, ты... Ну ничего, выучишься — не будешь кашлять. Сразу помногу не кури, а то сблюешь. Я тоже не сразу привыкал...

Интимная беседа двух юных друзей вскоре перешла на актуальную тему.

— А вот гармонь надо достать, а то ведь не маленькие уж, мне скоро тринадцать годов.

— А где достать ее? Денег надо много...

— Достанем! Контрибуцию соберем вот! Теперича власть на местах. Понял?»

Карпов мало уделяет внимания описанию внешности своих героев. Вы часто не знаете, какого цвета у них волосы, глаза и т. д. Но зато он мастерски умеет рисовать героев их собственной речью (речевые портреты).

Свидетели, современники Февральской и Октябрьской революций помнят, в какой священный ужас приходили социал-предатели и буржуазия от того, что большевики «развязали» крестьянскую стихию, которая, мол, затопит пьяными погромами Россию, разрушит все культурные ценности. Поэтому эти «высоконравственные» и «высококультурные» люди, «болевшие» за русский народ, считали вполне допустимым для введения в берега «разбушевавшейся стихии» — революции — призвать чехо-словаков, японцев, французов и даже чернокожие колониальные войска.

Мих. Карпов не вздыхает безнадежно и не сюсюкает лицемерно по поводу разбушевавшейся крестьянской «стихии», а безбоязненно, здраво, реалистически, с большой любовью и теплотой к угнетенным показывает протекавшие в то время процессы революции и классовой борьбы в деревне. Не теряясь в хаосе и в поднявшейся мути, он умело показывает чита-

телю все то новое, передовое, здоровое, что несла с собой революция деревне.

Так же ярко рисует Карпов в огне ожесточенной классовой борьбы все мытарства, страдания и медленный, но неуклонный рост главного героя романа — Стеньки Северцева, его первые попытки, окончившиеся неудачно, организовать комсомол в деревне, всю окружающую бытовую косность, предрассудки и т. д.

Но значительно хуже то место романа, где автор пытается показать падение своего героя, повидимому — под влиянием нэпа, которого засасывает и заедает окружающая самогонно-пьяная, картежная, разгульная среда, едва не приведшая его к смычке с кулачеством.

Вообще вскрытие психологических процессов и особенно повороты их удаются автору плохо: он или кратко их констатирует, не мотивируя художественным показом, или же длинно и публицистически начинает их об'яснять. Мы уже приводили в начале статьи описание возвращения солдат с фронта.

Деревня «зажила одной дружной семьей». Это вполне возможно, ибо в первый период революции крестьянство выступало против помещиков в борьбе за землю, как единый класс. «Но в первые же дни великого поста солдаты стряхнули хмель» и «взяли деревню в оборот», или, говоря иначе, повели борьбу с кулачеством. Почему? Непонятно!

Не может же, в самом деле, думать читатель, что этот столь резкий поворот в настроении передовой части деревни, солдат, последовал в результате их тяжелого похмелья.

Неуместны и нехудожественны, на наш взгляд, «дневники» и «письма» главного героя — Стеньки, при помощи которых автор пытается часто об'яснить читателю тот или иной психологический поворот, резкий, немотивированный скачок в переживаниях или настроениях героя. Кроме того, качество этих писем и дневников оставляет желать много лучшего. Они, правда, содержательны, но непомерны растянуты, однообразны и скучны. Есть, например, письма, занимающие около десяти страниц. Это уже совсем мало правдоподобно, ибо деревенский парень, едва обучившийся грамоте, не может писать таких длинных писем...

Кстати, уж если зашла речь о формальной стороне вопроса, то мы позволим себе на этом вопросе остановиться несколько подробнее. Дело в том, что молодым писателям необходимо внимательнее вдумываться в то обстоятельство, какая форма речи или письма всего лучше подходит к данному типу, ибо каждая профессия, группа и даже возраст и, в особенности, класс неизбежно накладывают свой отпечаток.

В проклятое царское время, когда все живое было задушено, придавлено, когда всякое свободное слово преследовалось и изгонялось, старая либеральная русская интеллигенция, дряблая, недейственная, любила изливать свою душу дневниками и письмами. Они имели досуг и неспособны были к живой, действенной борьбе и потому жаловались на свою судьбу и плакали о бесплодно утраченных годах и т. п. Форма дневника и писем вполне подходила тогда. И писатель, изображая образы-типы этой интеллигенции, совершенно свободно и законно пользовался формой дневников и писем,— это вполне соответствовало содержанию и не резало слух.

Иное дело — рабочий или крестьянин, да еще комсомолец; в массе своей,— а мы в праве требовать, чтобы автор показывал типичное, а не индивидуальное,— это живой, деятельный, непосредственно и быстро реагирующий на всякое явление жизни народ. Вместо того чтобы изливать свою душу в никому ненужных дневниках и письмах, современный совет-

ский рабочий или крестьянин предпочитает писать корреспонденции, статьи и даже стишки на злобу дня в стенную газету.

В другом месте этой же книги Мих. Карпов великолепно показывает, как его герой Стенька, укрывшись под псевдонимом «Девятерика», издает сатирическую газету «Сквозь решето», в которое просеивает «дураков и пьяниц». И вдруг этого самого живого, способного, жизнедеятельного Стеньку Мих. Карпов заставляет писать скучнейшие и длиннейшие «дневники» и «письма». Нехорошо!

Интересно, ярко вскрывает автор роль кулачества в деревне в различные фазы революции, образно показывает его хищную природу и в то же время его удивительную гибкость и умение приспособляться ко всяким обстоятельствам. Вот, например, как кулак Никита Толстоносов убеждает некоторых разложившихся коммунистов приструнить комсомольцев за критику кулаков и примиренчески настроенных к кулачеству коммунистов:

«За озорство, знамо, не хвалят, да с кем не бывает в молодости? Ну, а Стенька?.. Его, чорта непокорного, учить надо,— вздумал восемнадцатый год! Хватит резни, и по горло сыты резней; только очухались при новой нэпе, а он... Теперь надо всем сообща жить, дружнее, да советскую власть уважать, а их, сопляков, к власти ставят! Такой домина им под свинячий хлев отдали! Клуб... Одно слово — притон живорезов! И чего только коммунисты глядят? Над ними смеются, в рожу им плюют, а они и утереть плевки боятся...»

Недаром Ленин говорил, что кулак — самый сильный, опасный и свирепый наш враг. Он тесно связан с рядовым крестьянством тысячами нитей и умело держит его от себя в зависимости,— умеет эксплоатировать темноту, невежество и нужду крестьянина.

Роман Мих. Карпова убеждает читателя в том, что с кулаком не может быть никакого соглашения, и ликвидация кулачества как класса на основе сплошной коллективизации — не теоретическое измышление, а насущная хозяйственная и политическая необходимость, продиктованная логикой и практикой классовой борьбы за преобразование деревни на социалистических началах.

Слабым местом романа является то, что автор чрезмерно выпятил роль и значение комсомола в деревне. Комсомол в романе заслонил собою ячейку. Получается впечатление, что всю революционную воспитательную коммунистическую работу в деревне ведет комсомол не только без руководства ячейки, а часто и вопреки ей.

Может быть, в описываемой автором конкретно деревне было и в самом деле так, как он описывает. Но ведь это все же не является типичным признаком взаимоотношений между комячейкой и ячейкой комсомола. Да и читатель привык видеть в творимых автором образах не его только, автора, суб'ективное переживание, а наиболее характерное, типическое.

Нельзя не отметить в заключение недочетов в языке. Автор слишком злоупотребляет провинциализмами. Можно и даже нужно показать, как говорят крестьяне той или иной местности, но совершенно недопустимо, целые десятки страниц заполнять местным крестьянским наречием-языком. Это скучно и затрудняет чтение романа. Ведь наша задача заключается в том, чтобы, поняв психологию крестьянина, поднять его культурно до себя. Проведение сплошной коллективизации деревни ускорит процесс исчезновение местных наречий и поднимет колхозную массу до уровня усвоения культуры и языка передового класса, строящего ныне социализм.

Роман Мих. Карпова в общем имеет большие достоинства и принесет большую пользу читателю рабочему и крестьянину.

***

В романе И. Наумова «Первые комсомольцы» показана группа ребят, по большей части детей рабочих, выросших и воспитавшихся в рабочих районах, поблизости от фабрик и заводов, в бедности и грязи, на вонючих дворах и черных от угольной пыли и копоти фабричных труб мостовых. Город, завод и беззастенчивая, наглая эксплоатация капиталом значительно скорее, чем деревня, еще в дореволюционное время, почти в полудетском возрасте, разрушили еще не успевшие сложиться старые предрассудки героев романа И. Наумова.

Они были свидетелями об'явления войны, попыток протеста рабочих против нее и видели патриотическую демонстрацию «чистой публики» с пением «Боже, царя храни».

Видели, как царское правительство жестоко расправлялось с демонстрантами-рабочими, и были свидетелями последовавших ужасов империалистической войны.

Автор проводит своих героев-комсомольцев через Февральскую революцию, когда они еще были подростками, Октябрьскую революцию, гражданскую войну и нэп.

Все они, каждый своим путем, пришли к большевикам, приняли участие под их руководством во всех их перипетиях, в их поражениях и победах, в тылу и на фронте, вместе с ними росли, крепли и воспитывались. Чувствуется, что автор хорошо знает быт рабочих районов, знает фабрику, завод, мастерскую, знает историю зарождения и формирования комсомола и его отдельных, наиболее типичных для первого периода активистов. Но, к сожалению, этот богатейший материал весьма неумело использован автором.

Вот, например, как он описывает октябрьские бои в одном из районов:

«Володя с патрулем по темному двору шел в квартиру какого-то военного. Винтовка ему казалась легкой и слякотный снег падающим где-то далеко, мимо его неприкрытой шеи.

Степка темные улицы менял на мрачные переулки. Он бежал в другой конец города, в Центральный революционный комитет.

Вернулся Степка под утро. Володя спал на полу. Сережа с красными от бессонницы глазами писал, не замечая, как строчки лезли одна на другую.

Степка передал поручение о мобилизации и вооружении рабочих, о захвате вокзала, почты, банка, прекращении работ. Он рассказал об улице, о других районах...»

Это плохая газетная хроника. Но приведем еще один отрывок, рисующий работу штаба:

«Город проснулся уже в руках большевиков. Ночных сил оказалось недостаточно, с заводов и казарм бежали тысячи на подмогу. Штаб ходил ходуном.

— Отряд гранатчиков, какого чорта мешкаетесь?

— За каким чортом ждете без оружия? Идите в Центральный ревком Куда девать арестованных?

— Захватите любой трактир и питайтесь. Сказал вам — без бумажки заберете»... и т. д.

И подобного рода описаниями и диалогами пестрит вся книга... У читателя не запечатлеваются действующие лица, не создается ярких картин событий. Даже последовательность действия, развертывание событий сплошь и рядом непонятны вследствие этих недостатков описания. И, однако, несмотря на все эти огромные недостатки, роман-хроника дает интересный материал. Нужно пожелать И. Наумову больше работать над формой.

Очерки современной поэзии

2. Николай Ушаков

Ф. Раскольников

В предисловии к «Весне республики» Н. Ушакова поэт старшего поколения Н. Асеев отзывается об Ушакове, что «этот настоящий поэт ведет и продолжает дело живой, революционной поэзии».

Автор «Стального соловья» не ошибается. В лице Ушакова в советскую поэзию пришел свежий, бодрый и оригинальный талант, по-новому продолжающий традиции революционной литературы.

Основная тема поэзии Ушакова — строительство социализма в нашей стране. На языке художественных образов он воспевает весну Союза советских республик. Герои его стихов — машины, турбины, доменные печи, паровозы.

Само по себе это не ново. Не касаясь западно-европейской урбанистической поэзии, в эпоху военного коммунизма у нас сформировалась целая плеяда молодых пролетарских поэтов, одно время даже претендовавших на монополию полномочного представительства пролетариата в художественной литературе, которые на разные лады воспевали заводы, машины и даже отдельные части машин.

Но в стихах этой поэтической школы чувствовались надуманность, ходульность, рассудочность. Стихи Николая Ушакова выгодно отличаются от его предшественников не только диапазоном поэтического дарования, но также искренностью и органичностью всего его творчества.

К своим героям — машинам, турбинам и паровозам — Ушаков подходит с каким-то человеческим участием. Вот, например, стихотворение «Лазарет». С этим словом невольно ассоциируется представление о белых больничных палатах, о длинных рядах однообразных коек, о сдержанных докторах, о заботливых сестрах и сиделках. Лазарет Ушакова совершенно иной. В обычном лазарете царят покой и тишина, изредка прерываемые стонами страдающих. Лазарет Николая Ушакова пыхтит и попыхивает. Дело об'ясняется тем, что его лазарет — это паровозное депо, где, совсем как люди, лечатся больные паровозы. И с какой любовью описывает наш поэт этих безмолвных пациентов!

Пыхтел и попыхивал лазарет,
Сестры по лестницам лазали.
Приполз паровоз,
И духу нет,
И пел, задыхаясь, лазаря.
Его подергивало и трясло
На костылях с Поволжья.

Но инвалид —
нельзя на слом,—
Он жить и работать должен.

Столпились хирурги вокруг стола,
А жалобная машина,
Свои шатуны поджав,
    легла,
И маяли без кокаина.

Долбило, обделывало долото,
Металлы с клещей стекали,
Его обмотали большим бинтом
Из гаек,
    винтов
        и стали.

Любопытны сравнения и образы Николая Ушакова. Железнодорожные мастерские у него ассоциируются с лазаретом, рабочие — с хирургами; машина, словно живой человек, поджав шатуны, как ноги, ложится на операционный стол и подвергается операции без кокаина. Гайки, винты и стальные листы облекают машину, как бинты. Эти смелые метафоры в стихах Ушакова, однако, оправданы. Он знает, что эти паровозы принадлежат пролетарскому государству, и, в качестве сознательного гражданина, поэт, как рачительный хозяин, заботливо относится к каждому винтику.

Стихотворение заканчивается характерным для Ушакова жизнерадостным аккордом:

И ждала сухая трескучая степь,
И ждали друзья на вокзале.
Его с больничных ведомостей
На третьи сутки списали.

Поэт приветствует возвращение в строй отремонтированного паровоза, подобно тому как родные и близкие радуются выздоровлению больного.

В буржуазно-капиталистическом обществе хозяева глядят на рабочих, как на придаточные части машин. Поэтическое мышление образами, глубоко свойственное Ушакову, напротив, очеловечивает машины.

Даже смерть т. Ленина Ушаков изображает через призму траура машин. В день похорон т. Ленина момент его погребения был повсеместно ознаменован кратковременным прекращением работ. Ушаков описывает эти величественные минуты всеобщего пролетарского горя следующими словами:

И лязг,
    и грохоты,
        и свисты,
И стон колес,
    и звон зубил
    какой-то вихрь
    на целых триста
    больших секунд
    остановил.
Турбины,
доменные печи
и паровозы,
как в строю,
    смахнули лапой человечьей
    слезу
    гремучую свою.

В образном восприятии нашего поэта очеловеченные машины, как люди реагируют на смерть гениального идеолога и вождя рабочего класса.

В эпоху сентиментализма поэты отживших классов — дворянства и буржуазии — любили уныло слоняться по кладбищам и воспевать свои одинокие прогулки в особом жанре упадочно-религиозной поэзии, так называемых элегиях. В элегиях, форма которых была заимствована у древних героев, поэт отводил свою душу в философских излияниях о тщет

всего земного и исступленно славословил величие несуществующего творца. Николаю Ушакову, как нельзя более, чужда сентиментально-жалобная и религиозно-мистическая поэзия прошлого века. Его не вдохновляет элегическая муза В. А. Жуковского. Ему несвойственны кладбищенские настроения этого дворянского барда.

Жалобным строфам старомодной элегии Ушаков предпочитает поэтическое описание кладбища паровозов:

Не в честь любимой строю мавзолей.
Когда закат торжественен
и розов,
мне всех кладбищ
печальней и милей
забытое кладбище паровозов.

На этом своеобразном кладбище наш поэт предается не религиозному созерцанию, а воспоминаниям о былой деятельности стальных мертвецов.

Неистово ликуя и свища,
окутываясь паром светлосерым,
они летели,
эти «С»
и «Щ»,
к незабываемым дебаркадерам.

Стихотворение заканчивается оригинальной эпитафией, словно предназначенной для гравирования на могильной плите паровозного кладбища:

В них золотые бились пламена,
Но сердце стало.

Подойди, прохожий.
Такой погост
людских погостов строже.
Благослови
стальные имена.

Когда же Ушаков посещает кладбище людей, то там он прежде всего замечает могилы героев гражданской войны.

Здесь летчик похоронен.
Он умел
узнать просторы ястребиной воли.
Над польскими штабами он летел,
и бомбы вздрагивали на гондоле.
И, перегнувшись за высокий край,
он созерцал,
как вдалеке пылали,
занятней чем дровяной сарай,
товарные составы на вокзале.

И летчик гнал домой,
но аппарат
вдруг разучился облаками реять.
И летчик гнал домой,
и был он рад,
что падает за наши батареи.

Героическая смерть летчика, погибшего за мировую революцию, навевает автору не грустную меланхолию, а уважение к памяти покойного, самоотверженная жизнь которого должна служить примером для других.

Кто смеет говорить о смерти,
Когда в Республике весна! —

жизнерадостно восклицает в другом стихотворении Ушаков.

Созвучное нашей эпохе миросозерцание поэта проникнуто пафосом социалистического строительства, которое в его глазах олицетворяется в поэтическом образе радостной и многообещающей весны Республики.

Бурная индустриализация нашей страны встречает восторженный отклик в мыслях и чувствах поэта:

И пусть в гречихах сотни пасек
Медок лелеют молодой,—
И пусть
товарные в Донбассе
углем тучнеют и рудой.
Цеха котельные!
Не дрефьте,—
есть дело наливным баржам,—
летит фонтаном жирной нефти
из бурых скал Азербайджан.
И все моторы ходят громом,
И, отделяясь от земли,
уже плывут к аэродромам
воздушных рейсов корабли.
Пускай еще деревни хмуры—
течет в ночные облака
от Волховстроя
и Шатуры
голубоватая река.

Сейчас уже дышит явным анахронизмом выражение: «Пускай еще деревни хмуры», противопоставляющее быстро индустриализирующийся город стоящей на месте деревне. С тех пор как было написано это стихотворение, деревня тоже тронулась с места и, вступив на путь сплошной коллективизации, далеко подвинулась в направлении к социализму.

В отличие от целого ряда писателей-попутчиков, которые за лесами повседневного строительства не замечают воздвигающегося здания социализма, Ушаков предвидит конечную цель нашего строительства:

Так пусть,
дома и домны видя
и синее сиянье то,
в рабочем фартуке Овидий
о веке мыслит золотом.

В поэтическом образе золотого века, о котором не мечтает, а именно мыслит пролетарский Овидий, предвидя его историческую неизбежность, разумеется, не трудно угадать социализм.

Наряду с современностью Ушаков воспевает героическое прошлое нашего вчерашнего дня.

Если для сегодняшней эпохи строительства социализма герои Ушакова — машины, турбины и паровозы, то в стихотворениях, посвященных гражданской войне, его герои — самолеты, прожектора, бронепоезда и конные корпуса.

В каждом подлинно художественном произведении форма органически и монолитно спаяна с содержанием. Как настоящий поэт Ушаков для каждой темы умеет находить соответственные ритмы. Форсированные темпы планомерного социалистического строительства находят у него внешнее выражение в форме торжественного, пафосного стиха. Напротив, нервная, лихорадочная атмосфера гражданской войны передается Ушаковым короткими строками, динамическим ритмом.

В этом отношении характерно его стихотворение «Неистовый бронепоезд»:

Черный уголь—
Корм его,
а у печек грейся.
Выскочил из Сормова
и пошел по рельсам.
Номерный,
без имени.
И крутою силой
по фронтам и мимо них
весь состав носило.
Водокачки хлюпали,
и рожки играли.
Утром —
в Мариуполе,
Ночью —
на Урале.

Здесь необычайно хорошо переданы: боевой дух эпохи гражданской войны, ее раздольная удаль, судорожная спешка, постоянные переброски с одного фронта на другой, ничтожество расстояний.

Кавалерийская лихость красноармейских конных корпусов, быстрота форсированных переходов выражены в следующих строках:

Конное это веселье
Катится по пути,
Пикой —
стальной каруселью
над головой крути.
Лошади в мыльной исто:
пар от бараньих папах,—
в нежных черешнях Житомир
потом попон пропах.
Если ладонь шершава —
шашка в шершавой страшней.
Конники под Варшавой
Кормят овсом коней.

Ушаков с упоением воспевает скорость движения бронепоездов, самолетов, мотоциклетов.

В XVIII веке дворянские поэты во главе с Державиным посвящали велеречивые оды монархам и богам. Ложноклассический стиль этих од изобиловал злоупотреблением высокопарного обращения, состоявшего из буквы «О» в соединении с запятой или восклицательным знаком:

О, ты, пространством бесконечный...
О, ты, державная царица,
Киргиз-Кайсацкия орды...

заливался Державин, получая за раболепное пресмыкательство перед царями червонцы и табакерки, осыпанные бриллиантами.

Мы уже видели, как далеко отошел Ушаков от жанра старой элегии, введенной в поэтический обиход литературными представителями других классов. Точно так же Ушаков до неузнаваемости трансформировал оду. Если его элегия воспевает кладбище паровозов, то свою оду он посвящает... мотоциклету:

Крутовороты
и виражи—
певучие стволы руля.
Я не прислушиваюсь даже
тебе, звенящая земля.

Иная музыка — услада
(а не виола
и кларнет).
О, жесткокрылая цикада,
стрекочущий мотоциклет!

«Какой русский не любит быстрой езды!»— восклицал некогда Гоголь, не знавший более быстрого способа езды, чем тройка запряженных в коляску лошадей.

Николай Ушаков, с восторгом отзывающийся о прелести быстрой езды на мотоциклете, которому он посвятил целую оду, еще более упоен полетом на аэроплане:

Скольжение,
вираж,
излом
и пересвист дорожный ветра,
а после —
под прямым углом —
в пространства,
в тучи,
в километры.
Дана такая быстрота,
и плоскости даны такие,
чтобы вращением винта
пронзить водоворот стихии.

Наконец с большим под'емом Ушаков описывает Октябрьскую революцию:

А в депо шел крик
и гам,—
там —
в стеклянном вале
растревоженным цехам
ружья раздавали.
Шли цеха на город
в бой,
разливаясь наспех,
как прорвавшийся прибой,
захлестнувший насыпь.

Вооружение рабочих, боевой энтузиазм пролетарской массы, ее победоносная сила нашли здесь достойное поэтическое выражение.

В творчестве Ушакова, поскольку оно выявилось до сих пор, любовь занимает второстепенное, подчиненное место. Мы уже слышали его гордое заявление:

Не в честь любимой строю мавзолей.

В другом стихотворении он изображает любовь на фоне гражданской войны:

Здесь собирали мы вдвоем
плоды, упавшие по склонам,
ты в милом фартуке своем,
несла и фрукты и патроны.
И мы бродили по горам,
и мы глядели в эти дали,
где траллеры еще с утра
на крепких якорях стояли.

Николай Ушаков — культурный поэт. Он не хочет быть «Иваном, не помнящим родства». Он сумел овладеть культурным наследием классической поэзии других классов. Наибольшее влияние на него оказали Тютчев и Блок.

Возьмем, например, только что приведенное четверостишие:

И мы бродили по горам,
и мы глядели в эти дали,
где траллеры еще с утра
на крепких якорях стояли.

Здесь все, начиная от ритма и кончая словарем, носит на себе отчетливые следы влияния Блока.

В цитированных уже строках, посвященных аэроплану, ясно чувствуется влияние Тютчева:

Дана такая быстрота
и плоскости даны такие,
чтобы вращением винта
пронзить водоворот стихии.

«Водоворот стихии» — это уже от Тютчева.

В некоторых стихотворениях можно проследить не только влияния, но даже прямые заимствования одновременно из обоих поэтов.

Приведем пример:

В России плакали и пели
в те баснословные года,
и снова, мир, твои недели
пришли в поля
и города.

Первая строка этого стихотворения невольно напоминает известное стихотворение Блока «На железной дороге», где имеется такая строфа:

Вагоны шли привычной линией,
подрагивали и скрипели;
молчали желтые и синие,
в зеленых плакали и пели.

Выражение «плакали и пели» несомненно заимствовано у Блока; вторая строка — «В те баснословные года» дословно взята из стихотворения Тютчева.

В определениях России также не трудно распознать хорошо знакомые образы автора «Скифов».

Россия—смуглая татарка—
Кумысом молодым пьяна!

восклицает в одном стихотворении Ушаков.

Другое стихотворение, посвященное мещанской России, в не меньшей степени выдает близость образов Ушакова к поэзии Блока:

Россия—трудная страна:
цыганкой,
тройками
и щами
она попрежнему страшна;
и бродят тучные мещане.
Ты слышишь треньканье гитар,
и ты на месте сразу замер,—
когда в глаза твои базар
взглянул
заплывшими глазами.

Однако в отличие, например, от Марка Тарловского, который не преодолел Гумилева и продолжает раболепно перепевать мотивы своего учителя, Николаю Ушакову удалось преодолеть и Блока и Тютчева.

Царский дипломат Тютчев был типичным поэтом дворянства. Блок отражал в поэзии настроения радикальной мелкобуржуазной интеллиген-

ции. Оба поэта были идеологически чужды пролетариату. Они оба находились под влиянием идеалистической философии. Обоим поэтам были в высокой степени свойственны мистические настроения.

Ушакову, сумевшему использовать и по-своему претворить поэтические достижения обоих мастеров, в то же время удалось освободиться от их идейного влияния. Тем не менее поэзия Ушакова — недостаточно насыщена коммунистическим содержанием. По его стихам можно заметить, что он не пролетарский поэт, а попутчик, хотя и близко примыкающий к рабочему классу. Николай Ушаков — левый попутчик; его отношение к строительству социализма, к событиям гражданской войны, к Октябрьской революции, наконец, к проблемам любви и смерти приближается к идеологии пролетариата.

Дальнейшее развитие творчества Ушакова должно показать, останется ли он левым попутчиком рабочего класса или со своим незаурядным поэтическим дарованием он вольется в широкое русло пролетарской литературы, которой принадлежит будущее.

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Сергей Спасский — «Особые приметы», стихи, издательство писателей в Ленинграде. Л. 1930. Тир. 2 000. Стр. 78. Цена 1 р. 25 к. (в переплете).

Сергей Спасский — не новичок в поэзии, за его плечами солидный поэтический стаж. Совокупность стилевой системы поэзии Спасского позволяет определить его, как представителя группы интеллигентного мещанства. В поэме С. Спасского «Неудачники», выпущенной в 1929 году «Никитинскими субботниками», социальное лицо тоскующего, не находящего себе места в мире интеллигента индивидуалиста-одиночки, занимало внимание поэта целиком. Судьба социальных отщепенцев-«неудачников» была тем основным вопросом, над разрешением которого бился поэт. Интересно, что «Неудачники» даже не имели четкой сюжетной развязки, настолько перспективы путей своей социальной группы не были ясны поэту.

Книжка стихов Спасского «Особые приметы» знаменует какой-то слабый сдвиг, какое-то едва, правда, намечающееся передвижение центра тяжести поэтического сознания Спасского.

Ряд стихов этой книги «роковым образом» замкнут в эстетическом ряду. Спасский пишет стихи о стихах, стихи о процессе творчества.

Ни доблестей, ни подвигов, ни славы.
Поворошим растрепанную кладь.
У нас досуг. Мы можем для забавы
Потрогать пепел, угли перебрать.

Так определяется поэтом сущность его творческой работы (интересно, что в «Неудачниках» Спасский прямо заявлял о том, что он, дескать, «не идеолог»). Подобное пассивное созерцательное отношение к действительности неоднократно декларируется Спасским как один из основных принципов метода. «Крепче зрение» — то есть побольше внимания к деталям видимого мира, побольше спокойного невозмутимого об'ективизма — вот существо отношения Спасского к изображаемой им действительности. «Каждую каплю в стих опусти», — говорит Спасский, — наслаждайся своим высоким уделом бесстрастного наблюдателя, фиксатора событий. Отсюда вырастает точно сгармонированный, сбалансированный иллюзорный мир Спасского, где сам поэт «полон странного покоя», где его охватывает бесконечная радость и самоудовлетворение от одного факта, что «я вот — иду, дышу — живу».

... Стремительно и сладко
Ветвится мир по сторонам.

В стихотворении «Украина» (1928 г.) ощущение этой сбалансированности мира достигает своего предела. Вещи здесь окончательно заэстетизированы, окончательно погружены в абсолютную статику покоя:

Давно ль позатухли бои,
Давно ли тут смерть кочевала,
Но дымчаты степи твои,
Но светится трав покрывало.
И, огненный воздух деля,
Откинув ленивые станы,
Кудряво дрожат тополя,
Как вытянутые фонтаны.
... Украина — луг заливной,
Простор тополевый, сосновый...

«Грубая» действительность противоречий и борьбы вытеснена из сознания Спасского декоративной иллюзией, в которой все так хорошо пригнано друг к другу и взаимно уравновешено. «Не горя, не торжествуя», Спасский эмпирически фиксирует, но... не подлинную действительность, а действительность — извращенную, выхолощенную, глазированную.

В некоторых стихах сборника Спасского намечается то неуверенное движение от старых позиций, о котором шел разговор в начале рецензии. В цикле стихотворений «Разговор с пригородом» Спасский даже декларирует свое восхищение перед процессом заводского труда и, правда, невнятно, пытается даже говорить о социализме:

И труд да будет дверью,
Лишь пропуск, лишь условье
Проезда в те края,
Где вымирает злоба
И место есть доверью,
И стройною любовью
Прямится жизнь твоя.

Но опять-таки социализм (впрочем, даже не названный по имени) здесь лишь особая *р а з н о в и д н о с т ь* той же иллюзорной гармонии и уравновешенности, к которой устремлено со-

знание Спасского. Рафинированный индивидуалист-одиночка, не находящий возможности для активной социальной практики своей общественной группы, Спасский недвусмысленно застраховывает себя от вторжения подлинной действительности в свой узкий, эстетский, созерцательный мирок, создавая искусственный мир гармонии и покоя.

Поэтому отдельные заявления Спасского о том, что, мол, и он «времени чувствовал сердцебиение», в счет итти не могут; они не оправданы всей предыдущей и последующей поэтической практикой.

Формальная сторона поэзии Спасского,— самый разнузданный эклектизм, соединенный, правда, с незаурядным талантом версификаторства. Социально бездейственная и безыдейная группа интеллигентного мещанства, выразителем который является поэт, не может создать в наше время своего стиля. Отсюда — Пастернак, перемешанный с Блоком, Ходасевич, Пушкин (в «Неудачниках»), «незримо» присутствующие в творчестве Спасского, создают художественную бесхребетность его поэзии. «Особые приметы» лишены «особых примет»,— они безлики и бесцветны, ибо светят холодным, негреющим светом многократных отражений.

Ан. Тарасенк

Ал. Черненко — «Расстрелянные годы». Современная пролетарская литература. ЛАПП. «Прибой». Л. 1930. Тир. 5 000. Ц. 2 р. 20 к.

Напрасно будет читатель искать в этой книге обычных впечатлений «золотого детства». Он не найдет здесь ни трогательных похорон птичек, ни великодушного вскармливания собачек, ни гуманности к рождественским мальчикам и девочкам

А вместе с тем книга эта о том, «как я был маленьким», книга эта о «невозвратной поре детства».

Отличной от образцов подобного же рода делает ее то, что она говорит о «невозвратимой поре детства» пролетарского ребенка и говорит об этой поре пролетарский писатель.

Отсюда все качества, все особенности этой книги.

Детские повести Желиховской, «Детство, отрочество и юность» Толстого, «Детство», «В людях» Горького и книга Черненко—все это, так или иначе, говорит о развитии не только отдельного ребенка, но и целой классовой группы, потому что «отдельное есть (так или иначе) общее», потому что это «отдельное неполно входит в общее».

Но важна и степень этой «неполноты», с какой отдельное входит в общее. И тут предпочтение придется отдать пролетарскому художнику.

Обильное привнесение индивидуального, особенного, тяготение именно к этому особенному — характерны для пролетарских художников. У пролетарского же писателя индивидуальное не уничтожено, но дается в единстве с общим, причем ведущий момент в этом единстве — общее, классовое.

«Расстрелянные годы» говорят не только о развитии индивидуального ребенка, но и о развитии класса. Особенности творческого метода пролетарского писателя делают то, что развитие это и те условия, в которых оно происходило, могут быть познаны наиболее адэкватно реально существовавшей действительности, так как последняя взята автором в ее общем, характерном, в ее закономерностях, а не случайных явлениях. Эта разница в подходе к бытию непролетарского и пролетарского писателей вскрывается на примере отношения к этому бытию Николеньки из «Детства» Толстого и Саши из «Расстрелянных годов» Черненко.

Николенька не столько познает мир в его явлениях, сколько по тем процессам, какие вызывают явления этого мира в его душе. Стремление постигнуть многообразие собственных ощущений, перманентная интроспекция — вот что характерно для Николеньки. Поэтому духовный облик его выражается в том, что в сферу самоанализа попадают все более и более «взрослые» вопросы. И в этом непрерывном ряду анализов трудно отыскать черту, отграничивающую один этап жизни ребенка от другого. Трудно отыскать эту черту потому, что стерты грани качественного различия в содержании жизненных фаз. Ведь какою бы ни была действительность в детстве, отрочестве, юности, познание ее идет одним и тем же путем,— через себя. Вот почему детство Николеньки отделяется от последующих периодов его жизни чисто внешней причиной: смертью матери. Внешней потому, что она ничего не меняет в отношениях Николеньки ко всему существующему вне его.

Совсем не то у Сашки. Он участвует в жизни практически. Ведь ему даже материал для игры нужно достать самому. (Папиросные коробки.) Это активное отношение к действительности выражается не только в том, что Сашка практический участник многих ее сторон, но и в том, что каждое явление, попадающее в поле его зрения, осмысливается им, ставится в связь с другими. Так, при виде хозяина, раздающего «золоторотцам» деньги, Саша вспоминает, что этот хозяин тетке Варваре отказал в пособии. Такого же

осмысливающего характера замечания о гуляющих рыбаках, о дерущемся мастере.

Растет Сашка — растет его сознание. От детской ненависти к Вавочке и Кольке, к барыне и ее мопсу — он приходит к классово-осознанному пониманию противоположности интересов хозяев и рабочих.

Детство Сашки и заканчивается этой ступенью. Последняя страница повести говорит, что дальнейший, жизненный порядок не будет прежним. Саша нашел тот критерий, с помощью которого целесообразней всего производить оценку явлений — путь классовой борьбы.

> «Г-гады,— трясусь я,— грехи замаливают... Нам, Козлихе, детям кирпичника Григория и другим из-за них жрать нечего, а они богу деньги несут... Погодите же, вот вырасту я большой, как батя или дядя Федор,— попомните вы меня...»

Повесть Черненко удивительно богата эпизодами и деталями, художественным «фактическим материалом» о жизни дореволюционной России. Но это — не густо засиженное деталью, словно мухами, произведение, а вещь, организованная пролетарским творческим методом. Эмпирия отдельных эпизодов не берет верх; деталей, «как таковых», нет; все они существуют в единстве с идеей повести.

Эпизоды, каждый в отдельности представляющие одну из сторон дореволюционной жизни рабочего, в своей совокупности образуют целостную и полную картину всей этой жизни. Перед читателем возникает и эксплоатация рабочих (специфированная в нескольких областях труда), и отсталый быт рабочих (рабочая казарма), и революционное сознание пролетариата (забастовка), и порабощенные инородцы (расчет на бойне). Даже наиболее «детские» эпизоды: набег на Кобринку за яблоками, купанья — какой-нибудь стороной включаются в классовую борьбу, осмысливаются в ее аспекте.

Несмотря на то, что по своей тематике книга Черненко представляет возврат к прошлому, к истории,— она ни в коей мере не является «отставанием» от тематических требований реконструктивного периода. Не является потому, что в ней мы имеем не созерцание «счастливой, счастливой, невозвратимой поры детства», а воспроизведение этой поры на идейном уровне настоящего.

Возрастные особенности рассказчика обусловили то, что некоторые моменты революционной борьбы (главным образом — подпольные) вскрыты не в должной полноте. Но это вызвано необходимостью сохранить художественную правду и достаточно всегда мотивировано.

Есть уверенность, что Сашка и впредь будет расти вместе со своим классом и дальнейший ход событий будет вскрывать во всей глубине и «взрослости».

«Расстрелянные годы» — интересная, нужная и стоящая на хорошем художественном уровне книга. Она найдет широкого читателя не только среди взрослых, но и среди подростков-школьников. Но это — при условии большей доступности ее цены.

Г. Мар

Сергей Тртетьяков Вызов. (Колхозные очерки.) Изд. «Федерация», М., 1930 г., стр. 324, тир. 10 000 экз., ц. 2 р. 20 к. в папке.

Именем «Вызов» обозначается колхозный комбинат, выросший из первоначальной коммуны «Коммаяк» Терского округа, где автору пришлось поработать в течение 3 лет. Приехав туда, сперва, с литературными целями, он так «вработался» в колхозное строительство, что под конец уже оказался членом совета в комбинате. Ясно, что им пройден самый верный путь для действительного знакомства с поразительными фактами коллективизации деревни за последние 2—3 года, притом в районе почти сплошного, в конце концов, перехода на коллективы (74% на 1 мая 1930 г.).

Правда, что автор, по собственному признанию, явился на место действия недостаточно осведомленным. И любопытно следить, как постепенно сама жизнь с ее мощными «мужицкими» проявлениями захватывает и перемалывает искренно желающего у нее учиться пролетарского литератора. Даже слог его становится к концу заметок все проще. Вот, например, глава «Баба пошла». Что тут «технически» литературного, изысканно «производственного» и в факте (массовый прилив женщин в колхозы) и в его выражении? Последнее целиком — от той же деревни. Но лишь в последнем, 3-м, отделе («1930 г., январь») нам дается вполне законченное освещение происходящего, грандиозного процесса. Только здесь, в 3-й части, вскрываются вполне ярко и наглядно глубинные процессы классовой борьбы — настоящая окопная война местного кулачества против колхозов и внутри колхозов. Тут мы узнаем, например, что осенью 1929 года целых 24% пахоты района остались незапаханными благодаря кулаку, и «перекрыт» общий посев лишь геройскими усилиями колхозников.

Тут также, в яркой главе «Бабий бунт», мы видим истинные, далеко не шуточные (еще только вчера) размеры подпольной гегемонии кулачья над середнячеством, частью и над беднотой. Впрочем, и в двух первых отделах найдем немало интересного, хотя и освещенного неполно, главным образом под углом зрения лишь колхозного производства и техники. Особо интересна здесь глава «Верхом на курице», где открывается перспектива на хозяйственную специализацию местных колхозов по тем или другим путям ввиду крайней заслушливости данного района и невозможности, следовательно, жить одним хлебопашеством. Цифры, действительно «говорящие»: закладка инкубаторов для искусственного высиживания цыплят на 10 000 яиц; размер «птичьего двора» в 300 000 кур, как цель в плане комбината, и проч.

Не менее интересны данные автора о теперешнем переходном положении быта коммуны, с ее «потребительской» стороной — жильем, банями, гигиеной вообще, яслями, столовой, культработой и т. д. Ясно показывает автор, как необходимость толкать вперед п р о и з в о д с т в о в первую голову отражается на б ы т е нередко лозунгом: «обойдемся!» «Обходиться» бывает неизбежно-таки без многого. Но этим самым автор показывает недалекие уже просветы на завоевания и в «потребительской» стороне колхоза.

Словом, бодрая, хорошая книга. И то, что автор сам как бы на наших глазах развился до ясной, верной в общем точки зрения дельного работника колхозного строительства, еще повышает ценность книги. Ибо читатель как бы восходит наглядным образом сквозь нетикие все еще трудности и борьбу к правильному взгляду на общий процесс коллективизации деревни.

А. Дивильковский

И. Гриневский. «Железо и хлеб». (Очерки.) Московское товарищество писателей. 1931 г. Стр. 200. Ц. 1 р. 60 к.

В советской литературе сейчас наблюдается расцвет очеркизма. Все стороны нашей действительно «бурно несущейся жизни» горят и светятся под лучами сотен больших и малых прожекторов общественного внимания. Это явление совсем неслучайного порядка. В процессе быстро перестраивающейся жизни, в котором принимают участие миллионные массы трудящихся, нельзя ждать, когда наша эпоха найдет яркое, в стороннее художественное отражение в ново , тоже быстро растущей, но не вполне еще успевающей за темпами социалистического роста пролетарской литературе. Очерк — самая удобная, самая подвижная и легкая форма зарисовки жизни. Благодаря очерку процессы социалистической стройки будут записаны и освещены с тою предельной полнотой, которая необходима для полного представления нашей действительности не только нам, современникам, но и тем, кто придет после и будет изучать нашу неповторимую эпоху.

Литература (в частности — очерк) и кино позволяют сконструировать и показать работу, происходящую в разных уголках нашей страны. С этим «показом» нельзя медлить. Этот показ необходим, потому что он дает эмоциональную зарядку, он помогает перекличке строителей, он укрепляет энергию масс и направляет ее на новые строительные подвиги.

Под таким углом зрения мы рассматриваем и новую, только что вышедшую из печати, книгу очерков И. Гриневского «Железо и хлеб», книгу интересную и нужную; автор пишет в ней о строительстве нового Краматорского завода, о Сельмашстрое, о совхозе «Гигант» и о «мастерах земли».

В очерке о Краматорском заводе автор знакомит читателя с историей старого завода, показывает переход к новому строительству и дает портреты краматорцев строителей новой жизни, героику и пафос труда, рассказывая, как, например, краматорцы отстраивали сгоревшую на заводе электростанцию. История нашего строительства знает только два случая такой гигантской, чудовищно быстрой, действительно большевистской работы: это — на Краматорке и еще на Риддерских рудниках, где рабочие в о д и н м е с я ц только своими силами восстановили сгоревшую в сентябре 1929 года обогатительную фабрику и тем самым спасли производство свинца в СССР. Особенно хорошо Гриневскому удалось дать портреты живых людей Краматорского завода. Образ Гордиенко, старого рабочего Краматорки, надолго остается в памяти.

Весь очерк о Сельмашстрое проникнут сознанием того, что «догнать и перегнать передовые страны капиталистического мира можно только на плечах машины, мобилизуя волю и средства Советской страны». В этом очерке автору удалось показать уменье строителей маневрировать, приспособляя строящийся завод к новым растущим требованиям жизни, показать способы марксистского решения сложнейших задач на практике колоссального строительства нового завода, «когда колхозная волна, вызвав подвижку векового льда единоличных гнездовий, сломав этот лед, крепко ударила по цехам новой стройки». «Сколько потребовалось уменья, энергии, чтобы

Сельмаш не был затерт колхозным ледоходом 1929/30 года, не устарел, не потребовал бы новых перестроек, достроек — затяжных и дорогих! Несмотря на все трудности такой задачи, она была блестяще разрешена на Сельмашстрое. На этом заводе «сведена вся широкая техника, но мы не повторили ее слепо, а переработали, применили везде свои собственные компоновки». Автор живо рассказывает, какое впечатление произвел этот гигант на немецкого ученого, осматривавшего завод. Немец был подавлен виденным, и у него невольно вырвалось одно только слово: «Колоссально!» Гриневскому удалось с достаточной силой и убедительностью рассказать об этом заводе-гиганте, что удивило немецкого ученого.

Хорошо сделан у Гриневского очерк о рождении «Гиганта». Чрезвычайно ценно то, что автору удалось наблюдать совхоз в разные моменты развития — от приезда тракториста до полной тракторной палатки. «Незабываемы картины весеннего сева в ночную пору. Раскинутые на десятки километров тракторные колонны как бы несливные, но затем перекликались между собой, ударив в небо снопами прожекторного света».

На 65 страницах подробно показана история возникновения «Гиганта», его рост, героическая работа и борьба создавших его людей, результаты работы, колоссальные перспективы дальнейшего развития.

Вывод, сделанный автором в последнем очерке: «Большевики могут и умеют работать на полях так же успешно, как на заводах и фабриках, которые создали большевиков», — крепко остается в памяти читателя, дочитавшего книжку до конца.

Очерки Гриневского написаны увлекательно и просто. Большая и добросовестная работа над материалом, убедительные цифры, уложенные в легко воспринимаемую форму живого рассказа, обилие иллюстраций, правильная трактовка вопросов социалистической стройки, вполне отвечающая верной политической ориентировке, — делают книжку Гриневского вполне своевременным вкладом в нашу очерковую литературу.

Н. Феоктистов

Лайош Киш. «Героический район». Роман. Перевод с венгерского. Гиз. 2 книги. 1930. 1-я — Стр. 240. Ц. 1 р. 50 к. 2-я — Стр. 237. Ц. 2 р. 25 к.

Рассматриваемые нами книги принадлежат венгерскому писателю, одаренность которого могла проявиться только в условиях, окружающих писателей в нашем Советском Союзе. Появление этих книг на литературном рынке в разгаре развернутой кампании по вовлечению рабочих в литературу явилось очень кстати.

Автор книги «Героический район» — венгерский рабочий-наборщик, член коммунистической партии со дня ее организации. Лайош Киш вместе с другими рабочими вел активную борьбу с венгерскими капиталистами, вооружал рабочие дружинные команды и организовал группы «Летучей агитации», которые занимались распространением идей коммунизма не только перед фабричными воротами, но также и на улицах, вокзалах, площадях.

После падения диктатуры пролетариата Лайош Киш попадает в тюрьму, где подвергается пыткам венгерских палачей, вспомнивших для борьбы с рабочими забытые культурным миром методы средневековой инквизиции. Но благодаря Советскому союзу и Международной организации помощи борцам революции автору удалось выбраться из тюрьмы и переправиться в пролетарское отечество, где он становится активным строителем бесклассового общества. «Героический район» правдиво рассказывает советскому читателю о событиях, развертывающихся на фоне пролетарской революции в Венгрии. «Героический район» — это район Вышеградской улицы, той улицы, где помещался центральный комитет венгерской компартии и редакция коммунистической газеты «Вереш уйшаг» («Красная газета»). В революционных событиях венгерской действительности эта улица играла огромную роль.

Книги широко охватывают весь период существования пролетарской диктатуры — с момента ее возникновения и до самого затухания ее революционной деятельности под инквизиторским натиском одержавшей верх венгерской буржуазии. Этот небольшой сравнительно период времени — четыре с половиной месяца — существования диктатуры пролетариата в Венгрии все-таки представляет собой богатый и своеобразный материал. Он в достаточной мере отображен в «Героическом районе».

Перед автором стояла задача — показать всю революционную деятельность венгерского пролетариата в дни захвата политической власти. Эта проблема автором решена в достаточной мере правильно. Его подход к художественному показу исторических событий, так трудно поддающихся воплощению в образах, показал в нем достаточную самостоятельность и знание трактовки историко-революционного материала.

Роман лишен трафаретного показа пролетарской революции. В нем все страницы пропитаны уверенностью, что в недалеком будущем в Венгрии снова

восторжествует диктатура пролетариата. В «Героическом районе» выведен целый ряд революционных деятелей Венгрии, образы которых надолго остаются в памяти.

Например: одно из действующих лиц романа—Патаки, необычайно находчивый, умеющий быстро ориентироваться, оставляет в памяти след своей жизнерадостностью, верой в будущее и успешный конец сегодняшней борьбы. Вот кусочек, характеризующий Патаки, как смелого и находчивого человека, уверенного в своих правах.

«Несколько дней тому назад он в окружении ста пятидесяти голов своей свиты безработных, состоящей главным образом из пролетарских жен и детей, отправился в один из роскошнейших особняков, где миллионер собирался справлять свадьбу своей дочери. Патаки предложил обществу, наряженному в роскошные платья и фраки, покинуть помещение, усадил безработных за столы, и они с'ели все, приготовленное для брачного пира».

Патаки, сидя здесь же, за столом с безработными, стал рассказывать детям о том, что собой представляет коммунизм.

«Коммунизм — вроде кушанья из ветчины с клецками. Когда-то в детстве моя мать приготовила такое блюдо, и я ужасно много его с'ел. По сей день я не забываю его обворожительного вкуса и ощущаю его даже сейчас во рту. Мне хочется еще. Так вот, коммунизм подобен этому блюду: им никогда не насытишься».

Лайош Киш сумел с большим под'емом нарисовать напряженность борьбы венгерского пролетариата и попутно с этим не забыл дать яркие портреты выдающихся участников венгерской революции. Но эти портреты, как можно было опасаться, не получились выпирающими из общего фона, а растушевываются на фоне непрерывной борьбы за диктатуру пролетариата.

К достоинствам романа можно отнести также и то, что автор в тщательной обработке деталей, подчеркивающих революционный под'ем настроения венгерских рабочих, не упустил и бытовой стороны повседневной жизни тех же рабочих в период напряженной борьбы за власть.

Хорошо показаны картины серенькой жизни жен рабочих, утомленных бесконечными поисками пропитания для своих мужей, занятых в это время энергичной борьбой за сохранение позиций, уже отвоеванных у венгерской буржуазии.

Единственно, что можно поставить в вину автору,—это то, что он ограничился одним «героическим районом» (хотя и самым главным), не показав всей массово-стихийной борьбы венгерского пролетариата.

Стиль романа местами отделан не совсем хорошо, но это вина не автора, а переводчика.

В общем же книги производят отрадное впечатление. Они хорошо знакомят наших рабочих-читателей с героической борьбой своих западных товарищей за пролетарскую революцию.

В. Борахвостов

СОДЕРЖАНИЕ

Редакц. коллегия: **И. Беспалов**
Вл. Васильевский
Вс. Иванов
С. Канатчиков

Ответственный редактор: **И. Беспалов**

Издатель: **Государственное издательство Художественной Литературы**

Адрес редакции: Москва, Ильинка, Старопанский пер., 7, тел. 5-63-12

ОГИЗ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Продолжается подписка на 1931 год

НА ЖУРНАЛ

ПРОЛЕТАРСКИЙ АВАНГАРД

Ежемесячный иллюстрированный орган Московск. группы РАПП „Кузница“

ЗАДАЧИ ЖУРНАЛА: Весь материал журнала в 1931 г. (романы, повести, рассказы, стихотворения, статьи и обзоры) строится под знаком политических, хозяйственных и культурных задач третьего решающего года пятилетки. Особое внимание журнал будет уделять движению рабочих-ударников и соцсоревнованию во всех областях хозяйственной и культурной жизни СССР.

ОТДЕЛЫ ЖУРНАЛА:

1. Литературно-художественный (романы, повести) и др.
2. Очерки труда и быта.
3. По заводам и фабрикам.
4. На колхозных полях.
5. Культурный фронт.
6. Новый быт.
7. Удар за ударом (по оппортунизму, хвостизму) и т. д.
8. Наука и техника.
9. Внутренний обзор.
10. Международный обзор.
11. Литература и искусство.
12. Библиография.

ЖУРНАЛ РАССЧИТАН: на передовые силы рабочих масс, на колхозное крестьянство, трудовую интеллигенцию, служащих и молодежь.

В 1931 году центральная редакция будет практиковать выезд в центры соцстроительства для его активного освещения, с участием широких кадров читателей. В 1931 году об'ем журнала увеличивается. Организуется соревнование среди рабочих-ударников на лучшее произведение (о премиях и подробностях соревнования смотри журнал).

Подписная цена: на год—5 руб., на 6 мес.—2 руб. 50 к., на 3 мес.—1 р. 25 к. Цена отдельного номера—50 коп.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ в Периодсекторе Книгоцентра Огиз, Москва, Центр, Ильинка, 3, во всех отделениях, магазинах и киосках Книгоцентра и на почте.

Цена 1 р. 10 к.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА на 1931 г. на литературно-художественный и научно-публицистический журнал

КРАСНАЯ НОВЬ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Выходит ежемесячно под ред. И. М. БЕСПАЛОВА (отв. ред.), Вл. ВАСИЛЬЕВСКОГО, Вс. ИВАНОВА, С. И. КАНАТЧИКОВА.

КРАСНАЯ НОВЬ печатает лучшие романы, повести, рассказы, очерки и стихотворения пролетарских и советских писателей.

В 1931 году в журнале „КРАСНАЯ НОВЬ“ будут печататься новые произведения

РОМАНЫ Вл. Вахметьева — Наступление. З. Дмитриева и Я. Новака — Вход с Арбата. Вс. Иванова — Бен Али-Бея, знаменитого факира и дервиша, неодобрительной жизни — девять тетрадей. В. Кушнера — Арматурщики. Юрия Олеша — Список благодеяний — пьеса. Льва Славина — Французы и русские.

ПОВЕСТИ К. Большакова — Маршал сто пятого дня. Всев. Вишневского — Матросы. Всев. Иванова — Аму-дарьинский апрель. В. Каверина — Новая повесть. А. Караваевой — Мальчик. В. Кина — Новая повесть. Н. Ляшко — Новая повесть. Мате Залка — Ударники. Н. Никитина — Лагерь энергии. Л. Овалова — Третий год. Юрия Олеша — Нищий. П. Павленко — Пустыня. М. Светлова — Одна комната. Л. Славина — Происхождение нефти. В. Ставского — Некрасовские казаки. К. Федина — Новая повесть. Ольга Форш — Птичий мост.

ПОЭМЫ А. Безыменского — Новая поэма. Г. Санникова — Хлопок. И. Сельвинского — Электрозавод.

ОЧЕРКИ Федора Гладкова, К. Зелинского, С. Канатчикова, М. Кольцова, В. Кушнера, Кина, В. Лапина, Д. Лаврухина, Я. Новака, Л. Никулина, Андрея Новикова, Ф. Панферова, Ф. Раскольникова, Г. Санникова, Г. Серебряковой, Л. Славина, Н. Тихонова, С. Третьякова, Дм. Урина, Я. Черняка, М. Шкапской, И. Эренбурга и др.

РАССКАЗЫ М. Алексеева, Ник. Анова, Вл. Вахметьева, А. Бибика, С. Буданцева, В. Вересаева, Артема Веселого, Вс. Вишневского, Ив. Вольнова, М. Габриловича, Б. Горбатова, М. Громова, А. Демидова, А. Долгих, И. Евдокимова, Вс. Иванова, Бела Иллеш, М. Карпова, В. Катаева, В. Кина, М. Казакова, Дм. Лаврухина, П. Кофанова, Л. Леонова, Ю. Либединского, Н. Ляшко, С. Малашкина, И. Малышкина, И. Микитенко, Х. М. Мугуева, П. Низового, Г. Никифорова, А. Новикова-Прибоя, И. Новикова, Н. Огнева, Ю. Ю. Олеши, Острова, П. Павленко, Ан. Платонова, С. Подъячева, Я. Рыкачева, В. Савранского, Дм. Сверчкова, С. Семенова, А. Серафимовича, Л. Сейфуллиной, Л. Славина, М. Слонимского, А. Соболева, Н. Тарасова-Родионова, Ю. Тынянова, А. Фадеева, К. Федина, М. Шагинян, Я. Шведова, М. Шолохова, Р. Эйдеман, Бруно Ясенского, А. Яковлева и др.

СТИХОТВОРЕНИЯ Н. Асеева, П. Антокольского, Э. Багрицкого, Д. Бедного, А. Безыменского, И. Бехера, Н. Брауна, М. Герасимова, А. Гидаш, А. Жарова, В. Ильиной, В. Казина, В. Кириллова, С. Кирсанова, В. Луговского, С. Обрадовича, П. Орешина, Б. Пастернака, Н. Полетаева, А. Подчерткова, А. Решетова, И. Садофьева, Г. Санникова, В. Саянова, М. Светлова, И. Сельвинского, Н. Сурнова, Н. Тихонова, И. Уткина, Н. Ушакова, С. Щипачева, М. Юрина и др.

НА 1931 Г. ПОДПИСНАЯ ЦЕНА ЗНАЧИТЕЛЬНО СНИЖЕНА.

В 1931 году журнал КРАСНАЯ НОВЬ будет давать наиболее современный материал и привлекать к участию художественно выявившихся пролетарских писателей.

Журнал рассчитан на партийный, комсомольский, профсоюзный и колхозный актив и советскую интеллигенцию.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА:

на год (12 номеров) .	12 руб.	на 3 мес. (3 номера)	3 руб.
на 6 мес. (6 номеров)	6 »	Отдельный номер .	1 » 10 к.

Ввиду того, что настоящий журнал печатается в строго ограниченном тираже, аккуратное получение журнала гарантируется исключительно подписчикам, своевременно внесшим полностью подписную плату.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ Периодсектором Книгоцентра ОГИЗ'а: Москва, центр, Ильинка, 3; во всех отделениях, магазинах, киосках Книгоцентра и на почте.